

Литературно-художественное издание

Иные берега

Vieraat Rannat

1 (20) 2016

Журнал Объединения русскоязычных
литераторов Финляндии

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden lenti

Хельсинки 2016
Helsinki 2016

Главный редактор — **Ольга Пуссинен**
Päätoimittaja — **Olga Pussinen**

Редакционная коллегия — **Л. Корниенко, М. Крошнева**
Toimitusneuvosto — **L. Kornienko, M. Kroschneva**

Корректура — **О. Пуссинен**
Korrehtuuri — **O. Pussinen**

Компьютерная верстка — **Дарья Зуева**
Tietokoneenmuotoilu — **Darja Zueva**

Журнал выходит два раза в год, весной и осенью.
Aikakauslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Подписка на журнал принимается по электронной почте:
Lehti tilaus e-mail:
inyeberega@gmail.com

Информация о журнале расположена на сайте:
Tiedonanto lehdestä:
<http://inyeberega.org> · <http://finlito.tk>

Тексты для публикации принимаются по электронной почте:
Julkaistavia kirjoituksia otetaan vastaan osoitteessa:
inyeberega@gmail.com

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Присланные материалы не рецензируются.
Издатель: Объединение русскоязычных литераторов Финляндии.

Lähde mainittava kirjoituksia lainattaessa.
Lehden kanta ei välttämättä ole sama kuin kirjoittajan kanta.
Lähetettyjä aineistoja ei arvioida.
Lukaisija: Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry.

Издание осуществляется при финансовой помощи
Министерства образования Финляндии.
Julkaiseminen tapahtuu Suomen opetusministeriön rahallisella tuella.

© **Иные Берега Vieraat Rannat 1 (20) / 2016**
© Inye Berega Vieraat Rannat, 1 (20) / 2016

Содержание · Sisältö

Проза и поэзия

Proosaa ja runoja

Ольга Пуссинен. *Седьмые небеса. Роман. Окончание*

Olga Pussinen. Seitsemät taivaat. Romaani. Loppu-osa 6

Александр Петрушкин. *Стихотворения*

Aleksandr Petrushkin. Runoja	56
Лазарь Lasarus	58
Посвящение Челябинску Chelyabinskillle omistaminen	57
«Гудит овечий красный рот...» "Vonkuu lampaan punasuu..."	59
«Так свет обречен проливаться...» "Näin valo kaatua tuohon tuomittu..."	56
Кувшин брадобрея. Parturin kannu	58
1. «небо, что шумит в кувшине...» "taivas, joka humisee kannussa..."	58
2. «так ли пыжик успокоен?..» "näinkö pyzhik on rauhoitu?.."	58
3. «Воздух порист и высок...» "Ilma on huokoinen ja korkea..."	58
4. «если мы разучимся плакать...» "jos me unohdamme itkemistaitoa..."	58
«Вот радость слепнувших детей...» "Tässä on sokeutuvien lapsien ilo..."	56
Asphyxia	57
«...или Воронеж, или алфавит...» "Voronezh tai aakkoset..."	56
«Над преисподней — лед, бумажный лед...»	
"Helvetin yllä on jäätä, paperijäätä..."	59

Ирина Глебова. *Первый снег. Повесть.*

Irina Glebova. Ensimmäinen lumi. Pienoisromaani 60

Алексей Борычев. *Стихотворения. Aleksey Borychyov. Runoja* ... 80

И был этот день... Olikin tämä päivä...	83
Вода этой полночи... Tämän keskiyön vesi...	82
Звезда и тайна Tähti ja salaisuus	80
Главное слово Pääsana	83
Осенний яд Syysmyrkky	80
Не было нас! Ei meitä ollut!	81
Пустоты Tyhjyydet	83
В мае на болоте Toukokuussa suolla	81
Кремовые дни Kermapäivät	82
Строкою севера написаны леса... Metsät ovat kirjoitettu pohjoisen rivillä...	83
Стрекошет день... Päivä sirkuttaa...	82
Фиалковая высота Orvokinkorkeus	83
Триолеты Trioletit	83
1. Ах, лучше б ты не прилетал... Oi, parempi jos et sinä olisi saapunt...	83
2. И рыба-ночь, и суслик-утро... Ja kalayö, ja siiseliaamu...	83

Александр Пахомов. Рассказы. Aleksandr Pahomov. Kertomuksia	84
Задача. Tehtävä	84
Фасады Fasadeja	86
Уходим и остаемся. Lähdetään ja jäädään	88
У кого галоперидол? Kenellä on galoperidol?	92
Гимн Человека. Ihmisen hymni	95

Алексей Ланцов. Из-за баррикад. Стихотворный цикл	
Aleksey Lantsov. Barrikaadien takana. Runosarja	96

Сергей Криворотов. Восьмое марта очень близко. Рассказ	
Sergey Krivorotov. Kahdeksas maaliskuuta on tosi lähellä. Kertomus	98

Людмила Яковлева. Стихотворения Ludmila Jakovleva. Runoja	103
Тяжелая на ногу соседка Kovajaloinen naisnaapuri	104
«Моя корреспондентка написала мне...»	
"Minun kirjeenvaihtotoverini kirjoitti minulle..."	103

Наталья Мери. Будапешт. Стихотворение	
Natalia Meri. Budapest. Runo	105

Критика и публицистика

Kritiikkiä ja lehtikirjoituksia

4

Нина Гейде. Надземный лабиринт	
Nina Gade. Maanyläinen labyrintti	106

Наталья Редозубова. Постижение сути	
Natalia Redozubova. Ytimen tajuaminen	109

Юрий Линник. Кавказ надо мною	
Juri Linnik. Kaukasia minun yllä	112

«...и век минувший»

"...vuosisata mennytkin"

Валерий Скобло. «Мне снится Париж...» Стихотворения.	
Valeri Skoblo. «Näen unta Pariisista...» Runoja	122
«Небесный кашевар...» "Taivaankokki..."	124
«Приходит утро...» "Aamu astuu..."	124
«Был ветер...» "Tuuli..."	124
«День был кончен...» "Päivä oli päätetty..."	124
«Тем временем, пока рассвет застрял...»	
"Sillä aikaa kun aamukoitto on jumiutunut..."	124
«Такие холодные ночи...» "Niin kylmiä öitä..."	124
«И дом, и сад, и платье среди веток...»	

"Ja talo, ja tarha, ja mekko oksien seassa..."	125
«Шагну — и мне станет тревожно...» "Astun — ja tulen levottomaksi..."	125
«Но все — и сверкающий лучик...» "Mutta kaikki — ja loistava säde..."	125
Зимнее утро Talviaamu	125
«Ночь задыхается во сне...» "Yö on tukehtumaisillaan unessa..."	126
«Весь вечер и ночь напролет...» "Koko ilta ja yö yhteen menoon..."	126
«Что успел ты заметить: прохожих и парк...»	
"Mitä sinä ehdit huomata: ohikulkijoita ja puistoa..."	127
«В смятении осень встречая...» "Hämmennyksessä ottamalla syksyä vastaan..."	126
«Пусть вера и долготерпенье...» "Olkoon niin, että usko ja pitkämielisyys..."	126
1 января 1972 года 1 tammikuuta 1972	127
«Эта ночь светла от снега...» "Nämä yö on valoisa lumesta..."	126
Полигон Polygoni	127
«Хлеба и родины мало. Любви...» "Leipää ja kotimaata on vähän. Rakkautta..."	127

«С Севера на Восток» — 2016

"Pohjoisesta Itään" — 2016

Päivi Nenonen. Pietari. Runosarja.

Пяйви Ненонен. Петербург. Стихотворный цикл.	128
I. "Jostakin kumman syystä mä en ole yksin täällä..."	129
II. "Petrogradin puolen keltaiset pihat..."	129
III. "Tämän kaupungin nimi on Kaipaus..."	129

Максим Шеин. Петербург Maksim Shein. Pietari.

I. «Чувствовать, будто бы я не одна, непривычно пока мне...»	130
II. «Петроградский двор — по-осеннему желтый...»	130
III. «Он — Тоска, этот город, обманчиво...»	130

Алексей Круглов. Петербург. Aleksey Kruglov. Pietari.

I. «Кажется, будто бы я не одна, отчего-то всегда мне...»	131
II. «Ранний холод в желтых дворах Петроградки...»	132
III. «Этот город Тоскою зовется...»	132

Вера Соломахина. Петербург Vera Solomahina. Pietari.

I. «Что за причина, не знаю сама, но сейчас не одна я...»	133
II. «Желтизна дворов стороны Петроградской...»	133
III. «Этот город Тоской назвала бы я...»	133

Книги наших авторов

Meidän jäsenien kirjoja

Людмила Яковлева. Странствий ветер

Ludmila Jakovleva. Matkustelujen tuuli	134
---	-----

Проза и поэзия · Proosa ja runoja



Ольга Пуссинен

Olga Pussinen

СЕДЬМЫЕ НЕБЕСА

(Окончание. Начало в №№ 15-18.)

Они поженились через месяц, в конце ноября, и за время предсвадебных хлопот Валентина так и не спросила своего жениха, где же, где и какие черти носили его четыре с лишним месяца?! И с чего это он вообразил себе, что она, словно Сольвейг, добросовестно ждала его все это время?.. И вообще, не пошел ли бы он со своей грамотой о разводе куда подальше, — осчастливив другую невесту! Не спросила, не сказала и не крикнула, поскольку назрела жизненная необходимость перестать обольщаться снами, —

(ночь нежна),

избавиться от этой иссушающей лихорадки

(ночей невнятица нужна), —

из-за которой мир стал дробным, швы на цветной картинке разошлись, и научиться обнимать в ночи нелюбимых своих, не вспоминая при этом любимых, поскольку и те, и другие суть братья по обману, — милые лжецы и ласковые предатели. После свадьбы, правда, выяснилось, что три месяца из четырех Юкка провел в больницах, поликлиниках,

обследованиях, анализах и прочих хождениях по лечебным мукам, по окончании курса которых винские врачи настойчиво рекомендовали пациенту исключить крепкий алкоголь из перечня употребляемых жидкостей. В тот раз, его, видимо, потряхнуло довольно сильно, если он так решительно потащил Валентину в загс, — впрочем, не настолько сильно, чтобы внять советам медицины раз и навсегда.

Она вообще прожила весь свой первый замужний год как бы тщательно заперев на замок собственную душу, не разрешая ни себе, ни тем более другим заходить за эту запечатанную стену, мертвый материк, где в черном колодце любви скрывалась правда, гласившая: «Он забыл тебя, он забыл. Словно нет тебя на земле». Правда была сумрачна, неказиста, дурна, крива, неопрытна и похожа на заросли репейника или молочая, покрывающие помойку на заброшенном пустыре, — ее следовало прятать от мира, чем Валентина и занималась. На постоянную слезку за собой уходили все силы, так что происходившие вокруг нее и с ней самой события казались словно бы ненастоящими, в которых участвовала не она, а ее двойник, — двойняшка-близняшка, сначала самозванкой сидевшая на свадебном пиру, а после стоявшая за кафедрой, слушая отзывы оппонентов на диссертацию В.Н. Бадыевой. Хотя, к тому времени она уже стала Куусинен. Год прошел, как сон пустой. Валентина очнулась, лишь когда забеременела.

Очнулась не сразу, поначалу вообще не соотнося две полоски на палочке теста с какой-то новой посторонней жизнью, которой она должна была предоставить свое чрево на целых девять месяцев, почти что на год, — мысль об этом вообще казалась естественно применимой к другим женщинам, но не к ее собственному телу. Тело, действительно, поначалу никак не выдавало присутствие кого-то постороннего: казалось, что менялась не Валентина, а мир вокруг нее, — запахи стали острее и резче, звуки усилились, а краски так били в глаза, что на них наворачивались колющие слезы от бешеной смеси киновари, кармина, малахита, ализарина и индиго. Поначалу жить в таких мультипликационных рисунках было даже забавно, не до шуток стало через три месяца, когда тело пошло (кинулось!) в активное наступление, словно решив наглядно показать и доказать Валентине, что она ему больше не хозяйка. Грудь принялись надуваться, словно воздушные шары, набухая синими жилами, узлами, стягивающимися к соскам, до которых теперь дотрагиваться было неприятно и больно; живот, поначалу незаметный, вдруг горой полез вперед, а бока начали расползаться в стороны, словно соревнуясь с животом, кто кого быстрее перерастет; черты лица стали грубее и резче, а на левой скуле расползлось пигментное пятно размером с крупную горошину. Каждое утро Валентина с отчаянием смотрела в зеркало, замечая все новые и новые штришки и черточки, превращавшие ее в уродливую карикатуру на саму себя. С четвертого месяца Юкка перестал к ней притрагиваться, и это было самым бесспорным доказательством нарастающего уродства, — она стала противна собственному мужу! В поликлинике ее начинал разбирать истерический смех, когда гинеколог Ирина Анатольевна, с горящими глазами перебирая листочки анализов, восторженно приговаривала: «Прекрасная беременность, сейчас такую редко встретишь, — ни токсикоза, ни тонуса, ни отеков, — почки просто, как часы, работают! А вес после родов года за два-три придет в норму. С мальчишками вес сильнее набирается». За три года?! Этот неведомый мальчик, словно злой волшебник, на три года превратил ее в неповоротливую громоздкую бегемотицу, уже сейчас ставшую объектом тайных насмешек всех мало-мальски знакомых стройных филфаковских девиц, растекавшихся в лицемерных поздравлениях, от которых Валентину охватывало непреодолимое желание сказать подзвавительнице что-нибудь грубое, грязно выругаться, закричать, толкнуть, ударить. Так что она несказанно обрадовалась, когда Юкка сообщил, что знакомый подруги его школьного приятеля (кто-кто?..) женится и освобождает свою холостяцкую квартиру, а значит, надо срочно и быстро переезжать. Она несказанно обрадовалась возможности очутиться в чужих местах, где ее никто не знает и не может злорадно сравнить прежний и нынешний облик, между которыми лежало всего-то лишь семь месяцев. Валентина раздала вещи, в которые уже не помещалась, соседкам, сложила в коробки книжки, они сели в старенький Фиат, купленный Юккой за какие-то смешные деньги, и через шесть часов на третий день второго тысячелетия оказались в новой жизни. Дашка опять выбила себе стажировку в Гамбурге, так что даже обнять на прощание было некого.

В Винляндии, среди незнакомых людей, говорящих на неведомом языке и оттого казавшихся слегка инопланетянами, Валентина действительно успокоилась. К тому же, выяснилось, что столичные винки по своему натуралистичному хабитусу не отличались от сельчанок: они не пользовались косметикой, не носили обувь на каблуках, не боролись с лишним весом и, как порой казалось Валентине, даже расчесывались-то не всякий день, забирая тонкие светлые волосики в разлохмаченные гульки, — на затылке, макушке, а то и вовсе прямо надо лбом. Под воздействием феминизма винские мужчины были обязаны их любить за просто так, без всяких



ненужных прикрас, — в чем-то это выходило даже честнее. Соответствовать было нечему и тянуться не за кем, так что Валентина, с облегчением засунув в кладовку черные лаковые сапоги на десятиметровых каблуках, переобулась в старые Юнкины кроссовки и надела спортивные штаны и куртку. Неподалеку от нового жилья раскинулся то ли парк, то ли лесок, — для парка он был слишком большим, а для леса слишком ухоженным. Она бродила по аккуратно расчищенным белым дорожкам, разглядывая, как в свете фонарей переливается снег на твердых алебастровых ветках, и представляла, как однажды (*а возможно, даже сегодня вечером!*), из-за окружающих незамерзший прудик сосен выйдет лось, бережно неся на голове запутавшуюся в рогах луну. Посветит влажным глазом, потрется плюшевым боком о шершавый сосновый ствол, фыркнет, хлебнет студеной, ртутно-вязкой январской воды, выпустит из ноздрей струю горячего пара и, повернувшись, пойдет обратно, с треском ломая попавшие под копыта сучья. Конечно же, лоси в городе не водились, и ветви не начинали шевелиться, превращаясь в рога, но по деревьям скакали, размахивая пушистыми хвостами, шустрые смелые белки, в прудике плавали упитанные и сытые, несмотря на вьюжную зиму, утицы, а один раз она увидела на дорожке одинокую собаку, рыжую, худую и растрепанную, — сделав несколько шагов ей навстречу, Валентина поняла, что это лиса. Лица осмотрела ее равнодушным желтым взглядом и свернула на боковую дорожку. Бездомных собак в Финляндии просто не было.

Не было и той нервозности, которая накапливалась в больших российских городах, — сосулек, тонкой взрывной струйкой разбивающихся перед носом и под ногами прохожих, скользящих на обледенелом асфальте; усталых, замученных жизнью продавщиц, завистливо смотрящих на покупателей, заранее ошетиливающихся в предчувствии скорой стычки; водителей, ненавидящих пешеходов, и пешеходов, проклинающих водителей, давки в общественном транспорте и бесконечных очередей, пожирающих человеческие души. Вернее, очереди, разумеется, были, но винны умело регламентировали их номерочками, так что никакой нахальный посетитель не мог пролезть перед твоим носом с вечной отмазкой «Я только спросить». А в поликлиниках принимали исключительно по предварительной записи, что полностью исключало столкновения и битвы больных индивидов. Винская жизнь была устроена так, чтобы люди как можно меньше сталкивались друг с другом, не доводя один другого до греха.

«Poika? No sitä nähdään pian»¹, — радостно, как будто ждала только ее, сказала Валентине крупная коренастая акушерка, которая, несмотря на далеко недевичий возраст, не оставила увлечений панк-роком — на голове ее торчал ежик багряных волос, мощную шею украшала красно-синяя татуха, изображавшая лежащий на розах череп, а в носу было продето маленькое, но довольно толстое серебряное кольцо. Такой мощной субкультуры в медицинских учреждениях Валентине встречать еще не доводилось, но она не успела удивиться, поскольку началась очередная схватка, — от низа живота боль растекалась вниз и вверх, так что поджимались пальцы на ногах, а затылок начинал как будто сморщиваться. «Пойка, да», — утвердительно просипела Валентина, уже узнававшая это слово. Не обращая внимания на ее искривленную физиономию, акушерка бодро пожала ей руку, — Hanna Lehtimäki, — и гостеприимно указала на обширную кровать-каталку. Валентина вскарабкалась и вновь скрючилась от боли, раздвигая ноги. Точно ты превратилась в звук, ничего вокруг, в сжатый беззвучный крик, укрошенный миг.

«Hengitä, hengitä»², — приговаривала Ханна, деловито накладывая Валентине на лицо кислородную маску. — Kaikki yhdeksän kuukautta kun lapsi kasvaa äidin kohdussa, hänen henki takoo kehoansa»³. Юкка ошалело посмотрел на нее, но все-таки перевел. Валентина вдохнула раз, другой, третий, — быстрее, глубже, сильнее. Боль не отступила, но теперь можно было думать не только о боли. Боль теперь представлялась ей рекой, в которую она упала, словно сломанная ветка с дерева, и боль несла ее куда-то вперед, наверное, к дальнему морю, холодному морю, — неостановимо и властно. Темен омут ненужных страстей, глубока преисподняя мук.

«Lumimyrskyssä syntyneet lapset pidetään rohkeina ja itsenäisinä, heidän kohtalonsa on viedä toisia perässään»⁴ — не унималась Ханна. — Hengitä!»⁵ Вьюга, действительно, швыряла горстями

1. Мальчик? Ну, скоро видно будет (винск.).

2. Дыши, дыши (винск.).

3. Все девять месяцев, пока ребенок растет во чреве матери, дух его куёт себе тело (винск.).

4. Дети, рожденные в снежную бурю, считаются смелыми и независимыми, их судьба — вести других за собой (винск.).

5. Дыши (винск.).

снега в темные окна. Деревья дрожали под ударами ветра. Шел второй час ночи. Валентина текла вместе со своей рекой, став частицей неуправляемой вечной силы, — не остановишь движение вод, вспять никогда оно не возвратится. Река струилась плавно и мощно, равнодушная к Валентиной жизни и смерти; судьбу ее берегло лишь течением, — куда кривая вывезет. Показалась стремнина.

«Työnnä,⁶ — внезапно сменила приказ Ханна, — työnnä! Poikasi on odottanut jo, työnnä!»⁷ Она положила одну руку под голову Валентине, другой захватила под коленом ее правую ногу и, побавровев, стиснула с такой силой, что Валентина охнула, натужившись до предела, — казалось, что глаза просто выкатятся глазниц, а прямая кишка уже вывалилась и валяется на полу, рядом с кроватью. Река сердито забурилась, словно решая, что делать, — то ли проглотить Валентину, то ли вытолкнуть ее из круговорота своих черных вод. Ханна опять стиснула ее пополам, почти оторвав от кровати, подымая и вынося куда-то вперед, в высоту, на муку и счастье, раз, другой, третий Työnnä, työnnä, työnnä!⁸ Не выдержав, Валентина заревела, как медведица. Перепуганный Юкка кинулся помогать акушерке, и они начали складывать Валентину вместе, хотя силы были неравны, и наблюдался явный перекос в правую Ханнину сторону. Раз, другой, третий!. Наконец ее прибило к берегу, и Валентина обессиленно легла на влажный ивняк, защекотавший ей промежность своими жесткими листьями. «Tulee!»⁹ — торжествуя воскликнула Ханна. — Kyllä, poika hän on!¹⁰ Она вытащила ребенка полностью и сунула Юкке ножницы. Дрожащими руками тот перерезал пуповину. Пробуя легкие, их сын издал первый, слабый, мяукающий звук, а потом обиженно и властно закричал, заорал, завопил, утверждая свое появление на свет Божий. Ханна шмякнула его Валентине на грудь прямо в крови и слизи, — в чем мать родила.

Валентина осторожно дотронулась до длинных темных густых волос, сосульками облепивших голову ее сына, который за девять месяцев у нее во чреве успел отрастить пышную шевелюру, и внутри нее вдруг полыхнул неожиданный и непонятный огонь. Любовь охватила Валентину всю целиком, окатила такой мощной щедрой волной, что она беззвучно заплакала от счастья, физически ощущая, как оно стекает вниз, по груди, через солнечное сплетение в живот, уже легкий и пустой, к натруженному порванному лону. «Пока я жива — ему должно быть хорошо, ему будет хорошо», — подумала она, осторожно поглаживая крошечные пятки, которые теперь возили по ее животу снаружи, а не изнутри. Ханна профессионально колдовала над последом, упрятывая его в какой-то мешочек-горшочек-коробочку. Юкка смущенно топтался около кровати, не зная, что делать. Мальчишка все также гневно кричал, стискивая красные морщинистые кулачки, царапая ее грудь ногтями, уверенный в силах природы, заколотившей во всех самок, звериных и человеческих, инстинкт любви, неделимый и нерасщепимый, как атом, вбитый в их мозжечки для того, чтобы они не загрызли дитя свое, обезумев от перенесенных в родах муках, но вылизывали бы его до кончиков ногтей, и охраняли бы его, и жили бы для него, и, если понадобится, без малейшего сомнения отдали бы свою жизнь ради него.

«Hänellä on jo nälkä!»¹¹, — определила Ханна, поправляя кольцо в носу. Валентина сунула грудь в разинутый беззубый красный ротик. Младенец яростно вцепился в сосок, зачмокал, повозил его туда-сюда, приноравливаясь, и начал жадно сосать. Валентина вновь почувствовала прилив сладкой физической любви. За окном по-прежнему плакала пурга, так и не утешившаяся за ночь. В ударах безумного ветра, терзающего измученные снежные тучи, рождалось новое утро. «Не бойся, — прошептала Валентина сыну, — это просто февральский ветер. Ветер над нами гуляет накатный. Не бойся, спи».

Оказалось, что спать ее сын, которого они с Юккой, после трехнедельных переканий, в конце концов назвали Элиасом, или, по-русски говоря, Елисеом, желает спать только с ней. Ему не нужны были кроватка, коляска, переносная люлька, лежа в которых, он заливался яростным плачем, — он хотел только свою мать, ему нужны были Валентиныны руки и грудь, Валентино тело. Никто из мужчин не любил ее столь свирепой безраздельной любовью, как

6. Тужься (винск.).

7. Толкай! Сын твой заждался, толкай (винск.).

8. Тужься, тужься, толкай (винск.).

9. Есть (винск.).

10. Точно, мальчишка (винск.).

11. Да он уже голодный (винск.).

этот крошечный человечек, с первых недель своей жизни показавший всем домочадцам, — матери, отцу, и привезенному из России коту, полусиамцу Степану, — что воспитывать его бесполезно. Валентина пыталась согреть кроватку грелкой, но хитрый мальчишка прекрасно отличал живое человеческое тепло от искусственного и принимался тут же плакать, орать, вопить, словно его резали на части. От недосыпа Валентину пошатывало. Юкка бросал на сына злобные взгляды. Степану недовольно пригибал уши. Когда Елисей наорал себе пупочную грыжу, Валентина плюнула на все умные педиатрические книжки и начала укладывать его рядом с собой, проваливаясь в промежутки сна, как в слепое черное болото. Юкка соперничества не выдержал и сначала перебрался на кухонный диван, а потом, когда уважающий молодые семьи винский муниципалитет выделил им трехкомнатную квартиру, отгородился от остальных домочадцев за белой дверью своего «кабинета», не пуская за порог ни Валентину, пару раз пытавшуюся прибраться в этом логове, ни сына, ни кота. К следующему февралю, когда Елисею исполнился год, Валентина уже четко понимала, что муж ее, разумеется, любит и жену свою, и сына своего, и кота своего любит тоже, но себя и свой покой он любит больше в три, тридцать три, сто тридцать три раза. Попав на родную почву, Юкка наконец с облегчением решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился, хотя и без русской поэзии, на которую он потратил три с половиной филфаковских курса, растянутые на десять лет питерской жизни. Внутренне он, пожалуй, даже торжествовал, что ушел от докучливых, мучительных требований и гроз российской действительности, из-под того горизонта, под которым блещут молнии великих радостей и раздаются внезапные удары великих скорбей, где играют ложные надежды и великолепные призраки счастья, где глохнет и сдает человека собственная мысль и убивает страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в непрестанной битве человек и уходит с поля битвы истерзанный и все недовольный, и ненасытимый. В Финляндии можно было спокойно выкинуть всю эту поэтическую муть к едрене-фене, и, получая пособие по безработице, спокойно лежать на диване под неутомимую болтовню телевизора, благо подобный вариант жизни был заложен в систему социального страхования государства. Русские наслаждения, добываемые в постоянной борьбе, были для Валентиного мужа слишком рискованны, винские заслуги, вознаграждаемые упорным трудом, слишком энергозатратны, так что он мысленно отказался от тех и других, ощущая душевный покой только в своей норе, куда забился, словно крот, в своем уголке, чуждом движения, борьбы и жизни.

После трех лет такой жизни Валентину начали посещать приступы тоскливого страха. К тому времени они с Юккой почти перестали разговаривать; супружеская жизнь их тоже прекратилась, закончившись несколькими неудачными попытками сблизиться, о которых Валентина вспоминала с обжигающим стыдом, настолько неловко и искусственно они оба себя вели, — словно плохие актеры, старательно снимающиеся в постельной сцене. «Что ж это? — с ужасом думала Валентина бессонными ночами, лежа на просторном двуспальном супружеском ложе (Елисей к тому времени все-таки научился спать самостоятельно почти до рассвета). — Куда же идти? Некуда! Дальше нет дороги... Ужели нет, ужели я совершила круг жизни? Ужели тут все?... все?... Что ж, душа, ты так мало вкусила, что еще ты желала б вкусить? Ты б чего-то еще попросила, да не знаешь, чего попросить... Так и пройдет жизнь. Так и проживу, — как поляна в бору или как муравейник в овраге, как печальная рябина, бессильно и упрямо размахивающая кистями, полными ягод, перед дубом, что растет через дорогу. Елисей вырастет и уйдет, а мы вдвоем останемся здесь зимовать и молчать из глубин ледников. К потолку наш треножник примерз, эта лампа не греет меня... Как же я вынесу такую жизнь? Сначала буду биться, отыскивая и угадывая тайну жизни, плакать, мучиться, потом привыкну, опять растолстею, уже не от беременности, а от скуки, буду есть, спать, тупеть... Господи, да как же это все случилось? Ведь он не глупее других, и душа его чиста и ясна, как стекло, и был же он когда-то и нежен, и благороден, — куда все девалось? Что сгубило его? Русское зло или винское?..»

Через два-три-четыре часа бесполезных размышлений и попыток заснуть ей начинало казаться, что она лежит в белом, занесенном снегом поле, накрытая стеклянной крышей, ледяным колпаком, — пальцы на руках и ногах холодели, она переставала слышать звуки, темнота пеленала ее в свой саван, просторный и широкий гроб существования. Она вздрагивала от холода, в паническом страхе принималась ощупывать свое тело, за три года, действительно, полностью сжегшее все избыточные жировые запасы, — мягкие груди вразлет, крепкий округлый живот, сильные бедра, — и заставляла себя думать о чем-то живом: например, о том лесочке, где она за год обошла все тропинки и дорожки. По лесу плавает тихая голубая ночь, с кротким сиянием, с теплом и ароматом. Но лес не спит, в нем качаются деревья, дышит трава, шелестят ветви и трепещут листья, и один листочек ласкает другой. В бессонном лесу и там, и тут, гонимы страстью, зверь и птица

подругу ищут и зовут, стремясь в любви соединиться... Лес моя колыбель и могила лес. Нашей так называемой «любви» не хватило содержания; она дальше пойти не могла. Мы еще до свадьбы разошлись и были верны не любви, а призраку ее, который сами выдумали, — вот и вся тайна. Во чужи-то меня, во чужи люди сватали, во чужи люди сватали, не отвертелась я...

На исходе стремительно догоравшей белой ночи, сонно шлепая босыми ножонками, к ней перебирался Элиас-Елисей, дитя ее, Руси не видывавшее, обнимал теплыми ручками, сопел как медвежонок, возился, укладываясь досматривать свои трехлетние сны. Прижимая к себе детское тельце, Валентина окончательно оставляла надежду заснуть и, стараясь не обращать внимания на доносившийся из-за стены Юккин храп, вслушивалась в счастливые голоса разнообразных пичужек, приветствующих утро. Птичка выпорхнула в зенит и, не зная зачем, звенит. Что ты, птичка, вьешься надо мною? Что жалеешь обо мне, ракита? Рано заглядывать в черные воды. Есть еще время, настанет когда-то срок, где не буду я так одинока. Русское солнце восходит с заката и обещает вернуться с востока. Но еще шаги ее были нерешительны, воля шатка; она только что вглядывалась и вдумывалась в жизнь, только приводила в сознание стихии своего ума и характера и собирала материалы; дело создания еще не начиналось, пути жизни угаданы не были.

Скуку и однообразие диванного жития Юкка разбавлял алкоголем: разноцветные банки из-под пива сменялись опустошенными бутылками вина, а их разбавляли пластиковые фляжки дешевой водки, — всю эту тару Юкка сначала стыдливо прятал по шкафчикам, а потом уже смело складировал в пакеты и выставлял к порогу, собираясь навестить «Алко»¹². О том, какую выпивку ее муж употребляет сегодня, Валентина догадывалась по звуку телевизора, — пиво сопровождал тихий монотонный бубнеж новостей, вино распивалось под оживленные диалоги винских политиков о судьбах страны, а под водку друг и собеседник человека начинал гроыхать басами рок-концертов. Беспутный и безвольный, Юкка был поистине какой-то паршивой овцой в стаде своих сородичей, смысл жизни которых был заключен в двух постулатах: трудись и соблюдай правила. Работай прилежно, плати налоги и встреть достойную старость в доме престарелых, под присмотром коряво говорящих по-вински сиделок-эмигранток.

Прилежности виннам было не занимать, и она, действительно, приносила свои плоды: все было опрятно и аккуратненько убрано и прибрано, вычищено и начищено, подметено и размечено, разложено, расставлено и развешено, — без лишних претензий на дорогой эстетизм и роскошь, но с безупречными туалетами, сияющими белизной фирменной сантехники, известной в мире куда более, чем фарфор. Винны оказались до мозга костей утилитарной нацией, которой, на самом-то деле, был абсолютно противопоказан Достоевский или Чехов, несмотря на то, что они упорно читали «Преступление и наказание» и ставили «Вишневый сад»: это было своеобразным показателем принадлежности к культурной элите. Тем не менее, положила руку на сердце, Достоевский с Чеховым виннам были нужны, как корове седло и рыбке зонтик. Даже искусство этой нации лучше всего давалось прикладное: посуда, текстиль, постельное белье, чтобы было приятно выпить кофе, стряхнуть со скатерти крошки, поправить занавеску, за которой хмурится низкое небо, снова обещающее скорый неизбежный дождь, и отправиться в спальню, к подушкам, обернутым в крепкие наволочки мягких теплых тонов, с точно продуманными несимметричными полосками, — розовый Маунтбеттена, глициниевый, сомон, терракотовый, умбре. Как в рекламе, на которую винны тоже были большие мастера: если русская реклама суетилась и ерзала перед клиентом, как неумелая шлюшка, пытающаяся и так и сяк, не задом, так передом, обратить внимание на свои подозрительные гламурные прелести, то винские ролики завораживали и чаровали простотой и цельностью крестьянской натуры, которая хороша без всякой мишуры, — зернистые круглые ржаные лепешки, сочно-желтое масло с едва заметной глазу прозрачной слезой, упругий ноздреватый сыр, тонким ломтиком, словно лепесток, отделяющийся от куска под острым лезвием ножа... Какой вообще Достоевский в этом мире телесности, здоровой и сытной еды, порядка и размеренного удобства, мирной, безмятежной жизни, спокойных флегматичных лиц, расслабленных тел, забывших под благами цивилизации и технического прогресса про чувство опасности

Валентине, впрочем, порой казалось, что прилежный винский труд частенько был избыточно-ненужным, а правила несколько необоснованными (чтобы не сказать глупыми), но, видимо, два этих устремления были заложены в винской нации генетически, на уровне врожденных инстинктов. Как коровы неумоимо пережевывают свою жвачку, так неумоимо трудились винны, — постригали траву на лужайках, не давая ей вырасти на лишней миллиметр, снимали крепкий асфальт,

12. Alko — сеть государственных магазинов Финляндии, торгующих винно-водочной продукцией.

положенный в прошлом году, выращивали винскую клубнику и малину и торговали ею на рынках по бешеной цене. Солнца ягодам не хватало, — клубника была кислой, а малина на вкус напоминала бумажную салфетку, но такие мелочи для национального сознания были второстепенны. Дикая винская малина была хоть и мельче, но слаще, но дикую малину собирать не полагалось: «Это нельзя есть! — накинута на стоящую в кустах с наполненной наполовину баночкой Валентину незнакомая винская бабушка, выгуливающая рыжего шпица. Шпиц одобритительно твякнул, подтверждая незыблемость винского правила. «Почему нельзя?» — искренне желая проникнуть в суть табу, поинтересовалась Валентина. «Сюда писают собаки», — торжественно возгласила впитавшая мудрость народа старушка. «Но они же писают вниз... — попыталась возразить Валентина. — Под куст, а не на ягоды... И собак же не так много... Зайцы тоже писают, а зайцев, может, еще больше... И дожди же идут... очищают...» Винка с нескрываемым презрением выслушала ее нескладную эмигрантскую речь и еще раз четко и торжественно повторила: «Ei saa»¹³. Шпиц вновь одобритительно твякнул, реагируя на хорошо знакомое слово. Валентина поняла, что спорить бесполезно: правила не обсуждаются — их просто соблюдают. Вероятно, поэтому в винском языке и не было деления на *Почему* и *Зачем*, было лишь одно общее вопросительное слово на все случаи жизни, — *зачемпочему*. Нет разницы в том, почему ты напился и зачем ты напился в вечер понедельника. Главное, что по винским правилам пить можно по средам и пятницам. Деление одного вопроса на два, видимо, и и сгубило Юкку, который в последний год их совместной жизни квасил уже шесть дней из семи. Где русскому хорошо, там винну темный лес, сырой бор. Винская доля — правила соблюдать, русская — обходить и нарушать. А те, кто путает понятия, болтаются потом, как известное вещество в проруби. Протусовавшись после развода года полтора в компании опухших от пьянства винских маргиналов, рожи которых наглядно демонстрировали окружающим несчастный пример дурно прожитой жизни, склонности к фантазиям, бредовым планам и подверженности слабостям и порокам, Юкка все-таки спохватился и спешно выписал себе откуда-то из Подмоскovie третью русскую жену. Она продержалась полтора года, каждые выходные названивая Валентине с жалобами на то, какой скотиной оказался ее бывший муж, а потом сбежала к другому, более устойчивому перед зеленым змием винну.

Стоически выслушивая эти истерические претензии совершенно незнакомой женщины, Валентина каждый раз думала о необъяснимом тяготении прямой и простой винской натуры к запутанной и кривой русской душе, — настолько разными были два этих характера, хитрой волей великого переселения народов разделявшие Северную Европу на Запад и Восток. На фоне винской благоразумности, добронравности, бережливости, терпеливости и сдержанности русские выглядели экспрессивными и безапелляционными, горделивыми и амбициозными, преисполненными уверенности в своем превосходстве над остальными племенами, дерзкими и надменными, лишенными и признака благовоспитанности! Но тогда зачем нужны были разумным винским мужьям непостоянные русские жены, любящие наряжаться и жаждущие вызывать восхищение всех мужчин на свете, импульсивные, тяготеющие к резким сменам настроений, нетерпеливые, склонные воспринимать жизнь драматически и даже трагически? Почему, зачем, *зачемпочему* ради русского кокетства, жеманства, легкомыслия, тщеславия, суетливости, неистребимой тяги к нарядам и побрякушкам эти голубоглазые северные блондины оставляли своих соплеменниц, — рассудительных, бережливых, обходительных, скромных, тактичных, не склонных к печальным размышлениям, обладающих твердым представлением о чести и достоинстве и с раннего детства наставляющих своих отпрысков, насколько приятно жить в довольстве и внушать почтение соседям. Не могли же все эти добродетели быть лишь лицемерием и ханжеством, из-за которого пару раз в год в стране случались совершенно необъяснимые случаи дикой расправы отцов семейств над своими винскими семьями, всегда происходившие по одному и тому же сценарию: сначала винны расстреливали из охотничьих винтовок своих женушек, потом детишек (от двух до двенадцати лет), а последнюю пулю пускали в собственный открытый рот, нажав на курок большим пальцем правой ноги. Причем, картина жизни у таких семейств была поразительно схожа: достаток, порядок и финансовая стабильность, — собственный дом в какой-нибудь милой винской деревушке, одна-две-три машины, катер. Исходные данные супругов тоже не были запятнаны какими-то порочными склонностями: жена-домохозяйка и работающий муж, незамеченный ни в алкоголизме, ни в депрессии, — они даже не ругались, разводили руками соседи. Дела тихо закрывались по причине смерти всех участников трагедии, репортажем было не о чем писать, кроме сухих полицейских сводок, даже захудалую мелодраматическую историю невозможно было высосать из пальца, — жанр «журналистское

13. Нельзя (винск.).

расследование» в культуре страны просто отсутствовал! Можно было лишь строить догадки о том, что же за червоточина разъедала эту нацию, и что за черти мучили тихий винский омут. Кто его знает, возможно винские мужчины столь упорно лезли в русский омут безнадежного мучительного чувства именно затем, чтобы ослабить пути рассудительности, чтобы, подсолнив свою размеренную пресную жизнь страстью, ревностью, припадками нежности, досадой, ссорами, скандалами и вспышками ярости, развеять природную меланхолию, которая так незаметно перерастает в мизантропическую угрюмость, что становится все равно, в кого стрелять, — в оленей или родных детей. Истина, как водится, витала где-то рядом, не давая ухватить себя за хвост.

Откровение пришло из уст ее ученика Йооны, взявшегося за тяжкий труд изучения русского языка ради того, чтобы понимать, о чем болтает по телефону его русская подружка Кристина. Кристина была уже третьей русской подружкой Йооны, он отыскал ее на родной винской земле, а с двумя предыдущими мучил в Питере, где проработал пять лет, продвигая известную винскую косметику, — вински косметик продакт, как он выражался. «Etkö hän puhu suomea?»¹⁴ — удивилась Валентина на первом занятии. «Kyllä hän puhuu, aika sujuvasti. Minä haluan tietää mistä hän höpöttää iltaisin ja kenen kanssa. Haluan olla varma»¹⁵, — он кинул на Валентину многозначительный взгляд, наклонив крутой винский лоб с полевой сорокалетней лысины. Валентина выдавила дипломатичную учительскую улыбочку.

На третьем занятии ученика прорвало окончательно. «Вински сенсины слишком сильны, русски сенчины — слапы, вински сенчины — как мусина, русски сенсина — как репионик, — разоткровенничался Йоона, которому, видимо, очень хотелось обсудить с кем-нибудь свои взаимоотношения с Кристиной. — Она насилала просит, потом сертит, потом крисит, потом пласиет, потом смеется, eiks niin?»¹⁶ — вопросительно прищурился он. Валентина, собиравшаяся перейти к повторению глаголов движения, растерянно развела руками, — Юкка никогда не делился с ней своими наблюдениями над особенностями эмоционального поведения русских и винских женщин. Повисла пауза. Досчитав до десяти, Валентина решительно вытащила из папки листочек с упражнениями на различение глаголов *идти* и *ехать*, но Йоона ее опередил. «Tiedät sä, oli mullahan suomalainen vaimo!»¹⁷ — воскликнул он, переходя на родной язык. — Seitsemän vuotta kyllä, ho-hoh... Tuntui siltä että hänen aivonsa ja sydämensä oli sitoneet kiinni kengännauhalla. Venäläiset ovat odottamattomiin toimiin ja päättäväisiin tekoihin kykeneviä, fiksuija, teräväkielisiä, itserakkaita, kiivasluontoisia ja nopeasti lauhtuvia, harkitsemattomia, mutta juuri siksi miellyttäviä. Teidän vilpittömyytenne sovittaa kaikki viat ja erheet, venäläiset ovat kuin lapsia, teissä on jotain erittäin liikuttavaa».¹⁸ «Чего это он кинулся мне исповедоваться? — думала Валентина, глядя на разволновавшегося ученика. — Типа русский разговор по душам? Может, надо было истерить каждый день, — вдруг Юкка бы зашевелился, встал с дивана? Ни хрена бы не встал, мы бы тогда просто раньше развелись». Йоона наконец кончил свой спич и облегченно замолк. «Разбегутся они с этой Кристиной», — глядя на капелки пота, выступившие на порозовевшей от напряжения винской лысины, решила Валентина.

Через полгода Йоона действительно сообщил ей, что руководство решило раздвигать рынки сбыта косметического продукта, так что он отправляется работать в Москву. «Ты мне осиеи помогала, ты квалитетный профешнл, пасипа большой». — «А Кристина? — бескультурно поинтересовалась Валентина. «Она ушел в Англия, — насутился Йоона. — Женилась какой-то афроамериканец». «За негра?..» — ахнула от изумления Валентина, забыв по-учительски объяснить, что афроамериканцы обитают лишь в Америке. Йоона с откровенной завистью посмотрел на нее, — видно было, что ему до чертиков хочется отбросить мультикультурализм и политкорректность к свиньям собачьим и обозвать удачливого соперника грязным нигером. Валентина попрощалась с ним с грустью, сожалея не только о деньгах, но и о том, что теряетмышленого ученика, — работать с живым умом, на лету схватывающим новую информацию,

14. Неужели она не говорит по-вински (винск.).

15. Конечно, говорит, весьма бойко. Я хочу знать, о чем она треплется вечерами и с кем. Хочу быть уверен (винск.).

16. Не так ли (винск.).

17. Ты знаешь, у меня ведь была винская жена (винск.).

18. Семь лет, да, о-хо-хо... Каазалось, что мозг у нее был зашнурован, а сердце в корсете. Русские способны на неожиданные поступки и решительные действия, умны, остры на язык, самолюбивы, вспыльчивы и отходчивы, опрочетчивы, но именно этим и привлекательны. Искренность ваша искупает все недостатки и прегрешения, русские — как дети, в вас заложено нечто бесконечно трогательное (винск.).

ей доставляло истинное удовольствие. Второй ученик, Рейо, был безнадежен: на уроки с ним Валентина шла, как будто направлялась в хоспис навестить смертельно больного, — сжав зубы, готовясь к христианскому всепрощению и напоминая себе, что раздражение есть ни что иное, как мелкая производная гнева, а гнев — один из главных человеческих грехов. Стоически, тоскливо и смиренно. Хотя, если смотреть со стороны, то сам по себе Рейо был весьма примечательной фигурой, — мало кто, выйдя на пенсию, решит заняться не здоровьем, не дачей, не путешествиями, не, наконец, внуками, а изучением исторически родного языка.

— Historisallisesti äidinkielenä?..¹⁹ — недоверчиво переспросила Валентина.

— Мои предки были русскими, — важно качнул головой Рейо. — Они переехали сюда почти сто пятьдесят лет назад, к сожалению, неизвестно откуда. Но фамилию мы не меняли даже во время Зимней войны.

Валентина тупо смотрела на врученную визитку, не понимая, что же русского в имени Reijo Karskoff. Лишь ночью, без сна глядя в сентябрьскую мягкую темноту окна, за которым осторожно и вкрадчиво шевелили лапами сосны, ее вдруг осенило, что винский Карскофф есть никто иной как русский Горшков! Горшков, ядрена вошь! Она даже села на кровати, не понимая собственного возмущения, — ну занесло какого-то Матвея Горшкова на винскую землю, ну превратился он в Матти Карскоффа, ну женился на винке, ну наплодил винских ребят, — чего так волноваться-то? Мало ли где проливались русские кровь и семья?..

Впрочем, судя по Рейо, по прошествии ста пятидесяти лет от русской крови в нем осталась одна лишь изувеченная фамилия. Рейо был законченным образцом винской медлительной тщательности и упорного усердия, которые, возможно, принесли бы свои плоды в какой-то иной сфере деятельности, — выращивании гладиолусов или настурций, приготовлении блюд французской кухни, разведении редких тропических пауков, — но не в изучении иностранных языков, в особенности, русского! Русский язык Рейо не давался совершенно, несмотря на предков Горшковых, — то ли в силу возраста, то ли в силу отсутствия языковых способностей, то ли просто от того, что говорить по-русски Рейо было, увы, не с кем. За три года их встреч Рейо научился довольно внятно говорить *Привет, Хорошая погода и Наконец-то выходные*. Если Валентина пыталась выйти за рамки вопроса *Как дела?* и спросить его о чем-то другом, он хлопал пепельного цвета ресницами, приближал к ней свое тщательно выбритое, дряблое сероватое лицо и вежливо спрашивал: «Прости?» Возможно, другой человек пришел бы в отчаяние от столь медленного прогресса, но только не Рейо. Учить язык для него значило следовать указаниям учебника: прочтите диалог, подберите правильные варианты ответов, вставьте существительные в нужном падеже. С падежами у Рейо были особые отношения: русские падежи нагло лезли на него, как гвардейцы кардинала на мушкетеров короля, а Рейо отражал их нападения, как благородный Атос, — холодно, спокойно и методично, замечая малейшую подленькую увертку и уловку, нарушающую правила честного боя.

«Вот здесь, — говорил он, тыча в книжку пухлый палец с неровно обкусанным ногтем. — Здесь. Генитив множественного числа. Рублей, товарищей. Почему (*почемузачем?*) тут окончание инструментала? Это же окончание инструментала существительных женского рода?»

В глазах Рейо светилась голубая винская печаль. Валентина, успевавшая испугаться уже на слове *почему (почемузачем?)*, лихорадочно вспоминала окончания творительного падежа в женском роде — творить кем-чем? — козой-доской. «А Россией, Винляндией?» — ставил ей подножку Рейо. Ежкий кот, точно! Эти чертовы существительные на *-уя*, — она всегда про них забывала! Рейо терпеливо ждал. «В русском языке — запинаясь, мямлила Валентина, — всего шесть падежей Этого мало, поэтому окончания могут дублироваться». Неизвестно, устраивал ли Рейо такой вариант, но он терпеливо кивал головой, а затем перебирался на другую страницу, где красовалась следующая нелепость русского языка, за которую Валентина должна была краснеть, как мать краснеет за сына, — отпетого хулигана и разгильдяя, через день вызываемого в кабинет директора за очередную выходку.

На каждый урок Валентина приходила, как на последний, ожидая, когда же Рейо осточертеют эти безобразия. Такой исход был бы вполне логичен, — невозможно выучить язык, в котором черт ногу сломит! Валентина сама это прекрасно понимала, штудиря учебник вместе с учеником.

19. Исторически родного (винск.).

Если в винском языке все было аккуратно и красиво разложено по шкафчикам, полочкам, ящичкам и коробочкам, то в русском царили кавардак, бардак и хаос: в шкафу лежала соль, в туалете хранились спички, а на балконе стояли мешки с гречкой, складированной дедом так, на всякий пожарный случай. Чего можно требовать от страны, если в языке такая неразбериха? Если существительные мужского рода воруют окончания у рода женского? И вам не стыдно, товарищи? Откуда вообще взялись эти **рублей, падежей, друзей-товарищей**, если стандарт прописывает окончания **-ов** и **-ев**. Рублев, падежов, товарищов и друзей — вот как должно быть! Или друзов? Нет, так уж слишком похоже на трусов, а там недалеко и до трусов, а друзья трусами быть не могут, не должны, во всяком случае, — друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг! Друг — он как круг, прямая линия в нем отсутствует.

А превосходная степень приглательных? Почему можно сказать красивейший и прекраснейший, но нельзя большейший?.. А числительные? Десять, двадцать, тридцать, дальше вдруг невесть откуда свалившееся сорок, потом шестьдесят, семьдесят, восемьдесят и на закуску девяносто?! Откуда и для чего эти круги в нумерологии, где, казалось бы, все должно быть четко, строго и последовательно, как в том же винском: десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, — не язык, а загляденье! Порядок есть порядок, и закон есть закон, писанный равно дуракам и умникам, богатым и бедным, старшим и младшим, красавцам и уродам, своим и чужим. Рациональность, умеренность и сдержанность от рождения до смерти. Женщинам не надо наряжаться и прихорашиваться, а мужчинам нет нужды класть свои жизни на то, чтобы добыть этим женщинам сумки от Луи Бетона, норковые шубы и изящные дамские автомобили. Аккуратно подстриженные лужайки, автобусы по расписанию, скромные маленькие квадратики на посыпанных песочком протестантских кладбищах, где невозможно представить себе мраморно-гранитные махины, вроде той, что возвышалась на могиле Бантюкана Кудеярова.

Могила, по зарайским меркам, была настоящим шедевром некропольного искусства. Справа стоял памятник Бантюкана в полный рост, высеченный из серого гранита, — Бантик величественно и спокойно стоял на небольшом пьедестале, левая рука непринужденно и даже слегка небрежно засунута в карман брюк, правая чуть отведена в сторону. Камень усиливал загадочную восточность его азиатского лица: он был похож на индийского падишаха, устремившего царственный взгляд над вазой с тюльпанами, склонившими нежные похолодевшие лепестки у его ног, в никуда, в синюю нирвану, в вечный покой, в полное, абсолютное освобождение от желаний и страстей, в свободу смерти, — ей лучше не существовать, и вот она не существует. Справа, в метрах в полутора, располагалась фигура женщины из белого мрамора: опустившись на колено, она молитвенно тянула обе руки к деснице каменного гостя, указывавшей как раз на нее. Белое платье спускается на гранитное подножие мягкими складками, белый шарф обвивает шею, белые волосы рассыпаются по плечам, доходя до колен, белое лицо застыло в прекрасной скорби. Позади скульптур стояла красная гранитная плита, посередине которой сусальным золотом сияли буквы и цифры:

КУДЕЯРОВ
БАНТЮКАН АНАТОЛЬЕВИЧ
31-V-1972–1-IX-2005

Слева от даты был изображен автомобиль с открытой водительской дверью, справа — луковки церкви, тянувшиеся вверх тоненькими крестиками, словно побегами. Вся композиция была огорожена невысокой чугунной оградкой, по бокам которой были щедро навалены погребальные венки с неизбежными бело-фиолетовыми лилеями, уже покрывшимися скорбным желтоватым налетом. Сжимая в руках мышку, Валентина несколько минут рассматривала фотографию, размещенную на сайте bratva.ru, не веря тому, что центром всей этой художественной петрушки, ничтоже сумняшеся объединившей столь разные направления искусств, от микеланджеловского возрождения до сталинского ренессанса, был именно Бантик. И неужели это правда, что он умер, — и уже почти два года назад, а она не знала об этом ни сном, ни духом, и земля слухами не наполнилась, и сорока весточку на хвосте не принесла первого сентября позапрошлого года, а если и приносила, то не услышала бы Валентина ту весточку, поскольку как раз первого сентября именно данного года стояла над гробом своего родного отца, изверга и мучителя своей единственной жены, с которой он верно прожил тридцать лет и три года, в одночасье оставив ее на кого-то, невесть на кого.

Именно этот вопрос мать с нескрываемым упреком, захлебываясь в рыданиях, повторяла и повторяла в своих причитаниях, — на кого ж ты меня оста-авил, Ко-оля?.. На кого ж ты деток

своих поки-инул?..Ох, дорогие мои детушки-и-и, ох, давайте не пустимте своего папеньку-у-у, ох, давайте срубимте а белую бере-озу, перегородим мы ему путинушку-у-у. Да что же ты молчишь, не говоришь со мно-ою?.. Возвиваешься ты от нас ясным соколо-о-ом, улетаешь ты от нас сизым голубе-е-ем Уж восстаньте вы, ветры буйные, набушуйте вы тучу грозную! Уж ударь-ка ты, сильный дожидчик, уж и вскройся ты, матушка полá вода, затопи-ка ты путь-дороженьку, да ты мужу моему любимому, чтоб нельзя было ему пройти-проехати-и-и!.. Не взворотится ли он у нас домой назад, уж ко мне-то он, ко горькой вдовушке, ко своим-то к милым детушкам, во свою-то нову горенку?.. Да что ж ты молчишь, не говоришь со мно-ою?.. Ой, как мне больна-а, ой, Коленька, как мне больна-та-а-а...

Но отца уже не могла разжалобить нежданная нежность: глаза его были крепко закрыты, словно заперты, а лицо под белым бумажным венчиком наполнено странной неподвижной важностью, искажавшей привычные черты почти до неузнаваемости, так что Валентина, глядя на покойника, начинала сомневаться, — да полно, он ли это, точно ли он?.. Буйны ветры остались к вдовим призывам глухи: день выдался невероятно жарким, — двадцать три градуса было явно много даже для теплого сентября, и школьницы маялись в черных шерстяных платыхах, обмахиваясь подолами белых фартуков. Мальчишкам было проще, они просто сняли пиджаки. Бабушки в зелено-красных, прошитых люреком платках, упорно сидели над нераспроданными букетами астр и гладиолусов. Валентина с острой, прорезающей сердце тоской рассматривала неизменные урюзевские пейзажи, подставляя лицо под струи теплого ветра, вместе с бурой пылью летевшего в открытые окна похоронного пазика. На подбородок отцу постоянно садилась назойливая муха, доехавшая с ним из дома до самого кладбища, — исследуя трупное пространство, она переползала губы, нос, щеку и добиралась до левой скулы, где кончался синюшный багрянец, удержать который в такую теплынь не могла даже тройная доза формалина, и виднелся четкий круглый отпечаток кружки, на которую отец упал лицом и умер, пролежав в такой позе часов шесть, пока мать не пришла домой с ночного дежурства. У ног покойника валялась опорожненная поллитровая бутылка водки «Земля дыбом». Через неделю по району было зафиксировано еще три смерти от острого алкогольного отравления новым напитком, выпущенным «Зарайскспиртом». Возбудили уголовное дело, поэтому следующие полтора года мать разговаривала с дочерью либо о продажных милиционерах-следователях-адвокатах-прокурорах-судьях, так и не посадивших никого из продажных технологов на скамью подсудимых, либо о разводе, на который Валентина подала сразу же, вернувшись с похорон. Этими событиями мать была поглощена настолько, что остальной внешний мир, от телевизионных новостей до соседских сплетен, для нее практически перестал существовать. Неудивительно, что смерть Бантика прошла для них незамеченной. А он, оказывается, уже прочно вмурован в Интернет-пространство, выкинувшее сотни страниц на ее запрос в поисковике. И надо же ей было заняться этой забавой, — ворошить прошлое, из которого, как из копны сена сразу же полезли пригревшиеся гадюки. Вот до чего доводят томительные одинокие вечера, — до того, о чем мать ей повторяла через, раз, отводя взгляд с экрана Скайпа в сторону и поджимая губы: «Вот погоди, поживешь одна-то, узнаешь»

В гостиную завизжал и захрюкал телевизор, транслирующий какой-то из диснеевских мультфильмов, и засмеялся Елисей, — счастливым, звонким, непроданным смехом, по-детски полноценно отдаваясь незамысловатому веселью. Вздвогнув, Валентина наконец оторвалась от картинки и лихорадочно скользнула вверх, в начало текста, чтобы узнать о том, что уже знает весь белый свет, — как закончил свой жизненный путь известный зарайский криминал Кудеяр, впрочем, так и не дотянувший до страницы в Википедии. Летописец братвы.ру, однако, был немногословен, предпочитая обходиться сухими фактами: «После нескольких неудачных покушений на Кудеяра было совершено нападение в его загородном доме, когда он находился там с двумя девушками легкого поведения. В результате нападения одна из девушек была застрелена, другая тяжело ранена и скончалась через два дня в реанимации. Раненый Кудеяр сумел ускользнуть от киллеров, которых, по словам запертого в сторожевом домике охранника, было двое, и скрылся в лесу. Негласного хозяина Зарайска нашли через два дня мертвым на пороге своего охотничьего домика, по данным судмедэкспертизы, он истек кровью, кроме того, на шее умершего были обнаружены следы посмертных укусов, нанесенных, по видимости, собакой крупной породы. Поскольку все сферы влияния между зарайскими ОПГ (западной, южной и химмашевской) были давно уже поделены, и с конца 90-х Кудеяр был признанным лидером среди местных авторитетов, следствие под руководством полковника П.А. Кочергина начало разрабатывать версию личной мести. В результате розыскной работы были получены доказательства того, что заказчиком

убийства Кудеяра стала его собственная жена, Д. Кудеярова, которой к тому моменту удалось выехать в Испанию, где она, по всей видимости, не только сменила фамилию, но и сделала несколько пластических операций, что сильно осложняет международный розыск. Бантюкану Кудеярову, помимо офшорных счетов, принадлежал не только завод «Зарайскспирт», но и 41% акций зарайского лампового завода и 30% акций завода «Химмаш», а также коммерческий банк «Универсум». Сестра убитого, монахиня Епифания, отказалась вступать в наследство, так что все имущество покойного авторитета перешло государству». На этом сухом итоге житие Бантика заканчивалось, и повествование переходило к могиле оренбургского авторитета Петрухи Черного, убитого в перестрелке на десять лет раньше и в силу этого не успевшего насладиться плодами цивилизованного бизнеса, захлебнувшись в дикой свободе, умеющей лишь убивать и не приученной работать.

Под Валентинин локоть просунулась белокурая голова Елисея, — диснеевские приключения закончились, и в нем с удвоенной силой проснулась любовь к матери. «Кто это?» — забравшись к ней на колени, спросил Елисей, тыча пальцем в фигуру Петрухи, который на могильном памятнике добродушно попивал коньячок, сидя за ломившимся яствами столом и, вероятно, поминая трех соперников, тела которых по его приказанию были закатаны под асфальт трассы Уфа — Челябинск. «Никто, — прижимаясь носом к затылку сына и вдыхая еще детский, ромашковый запах его головы, ответила Валентина. — Никто. Пошли-ка погуляем».

К Бантику ей удалось вернуться лишь поздним вечером, после того как Елисей наконец-то смирился с фактом того, что завтра опять придется идти в садик, и опустил голову на подушку, выпустив руку матери из своей цепкой ладошки. Еле сдерживая шаг, переходящий на бег, Валентина кинулась во всемирную паутину. Однако, к ее великому разочарованию, большинство сайтов лишь перепечатывало отчет братвы-ру, не утруждая читателя подробностями. Вероятно, времени со смерти Бантика прошло слишком мало, чтобы какой-нибудь репортер или писатель заинтересовался его судьбой. Через час безуспешного щелканья по клавише мышки, Валентине все-таки повезло — она наткнулась на статью с почти что туристическим названием «Кладбищенские достопримечательности», выложенную на сайте stolica-z.ru, — оказалось, что газета ее молодости уже, как и положено солидным изданиям, имела свой виртуальный дубликат. «Мы решили посетить самое старое и престижное кладбище в городе, Трехсвятское, на котором похоронено множество интереснейших людей. Уверен, что читатели с удовольствием прогуляются с нами», — заявлял бойкий журналист Ц. Чуваткин. Подивившись на букву, под которой скрывалось неведомое имя служителя второй древнейшей профессии —

(И как же его зовут?.. Цезарь, что ли? Или Цинциннат?..) — Валентина нетерпеливо проскочила могилы статского советника Ивана Иововича Хомякова (1836–1898), комиссара Ипполита Поликарповича Пажинского 1882–1919), певицы оперетты Инессы Буряковой (1910–1995), героя Советского Союза артиллериста Никифора Иракина (1925–1998), споткнулась на последнем пристанище поэта Аркадия Пояркина (1946–2000) —

(И этот помер, что ж такое?..) — и наконец дошла до того места, к которому стремилась.

«Могила криминального авторитета Бантюкана Кудеярова поражает воображение, — небезосновательно заявлял Цезарь-Цинциннат, демонстрируя уже виденную Валентиной картинку. — Фигуры мемориала были выполнены известным юрюзанским скульптором Андронимом Шибеевым, который родился в деревне Шибеевка Урузьевского района, так что его с полным правом можно называть нашим земляком. Кстати, именно показания Шибеева подтолкнули полковника Кочергина к мысли о том, что Бантюкан был убит по заказу своей собственной жены. С просьбой выполнить две фигуры и гранитную памятную доску Джульетта Кудеярова обратилась к скульптору весной, за три с лишним месяца до смерти мужа, сказав, что хочет сделать мужу сюрприз ко дню рождения. Вознаграждение обещало быть более чем щедрым, так что скульптор охотно согласился, хотя, по его словам, эскиз памятной доски изначально вызывал у него ассоциации с могильной плитой. В конце августа работа была выполнена, а гонорар честно выплачен. Обрадованный Шибеев уже купил было путевку в Турцию, как вдруг увидел по зарайскому телевидению репортаж о безжалостном убийстве Бантюкана Кудеярова, в котором без труда узнал героя творения своих рук. Джульетта сделала роковую ошибку: она не учла того, что Шибеев — зараец и что он смотрит национальное зарайское телевидение, программы которого принимают телевизоры в Юрюзани! После недолгих размышлений храбрый труженик резца и молотка преодолел сомнения и страх, позвонил по телефону, указанному в передаче, и высказал полковнику Кочергину свои сомнения.

Надо сказать, что Павел Александрович Кочергин знал Бантюкана с детства и, можно сказать, сначала заменил ему родного отца, трагически погибшего в Афганистане, —

(Где-где?..) — а потом стал другом, наставником и даже помощником в вопросах охраны порядка, — (Неужели крышевать помогал? Ловко же Бантик его прикупил...) — так что гибель Бантюкана стала для него страшным ударом и потерей. Кроме того, нелады Бантюкана с женой уже ни для кого не были секретом: Джульетта ревновала мужа к многочисленным интрижкам на стороне, супруги часто ссорились и даже дрались, необузданный цыганский характер Джульетты усугублялся проблемами с зачатием (детей у Кудеяровых за почти десять лет совместной жизни так и не появилось). Нестабильные семейные отношения доводили Бантюкана до злоупотребления алкогольными напитками, в которых он глушил —

(Может быть, все-таки топил?..) —

стресс. Как рассказал нам полковник Кочергин, он уже давненько ожидал от Джульетты «чего-нибудь эдакого», но не думал, что она решится на убийство, пусть и не своими руками. Однако прямых доказательств у полковника не было, и, боясь спугнуть, он не торопился вызывать Джульетту на допрос.

Через четыре месяца следствие вышло на одного из киллеров, но буквально на следующий же день после того, как он был арестован, Кочергин получил сведения о том, что Джульетта Кудеярова спешно вылетела в Испанию! «Видно, был у нее свой человечек в УВД, — горько вздыхает Кочергин, — который сразу известил «веселую вдову». Самая моя большая ошибка, — что я не взял у нее подписку о невыезде. Хотя думаю, что ее никакая подписка не удержала бы. Радует то, что эта мерзавка не успела прибрать к рукам наследство Бантюкана. Вот вы все долдоните, — авторитет-авторитет! А ведь он, можно сказать, промышленность в оласти поднял, рабочим зарплату платить начал, соцобеспечение на ноги поставил, — поликлиники, садики, путевки в санатории. Вы в курсе, что при нем ввели десятипроцентное увеличение зарплаты всем, кто бросил курить? Вот вам и авторитет. Мало ли в России авторитетов? Полно, да только кто из них про народ вспоминает? Может и были за Бантюканом грехи, о которых мы не знаем, но он их честно замолил. Кто еще такой собор поставит, какой он в Урузье отгрохал? Это ж... произведение искусства! Какого человека потеряли, эх... Да и вообще я вам скажу, — России нужны твердая рука, а не эти ваши либералы, которые, прикрываясь своей дерьмократией, разбазарили все, по копейке иностранцам распродали. Вы, я надеюсь, там были, — в соборе-то?»

Да, Валентина там была. Заходила на следующий день после похорон, перед отъездом. Тогда уже весь город говорил о том, что какой-то бизнесмен, поднявшийся на северáх, — то есть кто-то из урузьевских, уехавших на заработки на Север, обычно в Норильск или в Мурманск, — ни с того ни с сего, но уж ясно, что не просто так, пожертвовал кучу бабла на строительство храма. Имени спонсора, впрочем, никто не знал, так же, как и имени архитектора, хотя тот оказался, действительно, талантлив.

Собор стоял прямо на въезде в Урузье, — на первой, самой высокой горе. Дорога, ведущая в город, в этом месте разделялась надвое, и храм как бы попадал в основание этой вилки. Валентина долго стояла, пытаясь вспомнить, что же было раньше на этом месте, но так и не вспомнила, настолько сильно перекрыла воспоминания эта церковь, — объемная, но стройная, рвущаяся к небу, как заряд из нескольких связанных воедино белых свечей. Зайдя внутрь, она прошлась по белой, совсем свежей, казавшейся даже чуть влажноватой внутренности церкви, еще не отошедшей полностью от ремонта. Внутри суетился батюшка, — молодой, лет тридцати, маленький, рыжий, со смешной курчавой бородой, жесткими пружинами торчащей в разные стороны. Кинув на Валентину несколько острых любопытных взглядов и, видимо, сразу отличив ее от местных, он не выдержал и прибежал знакомиться. «Откуда? Из Винля-андии... Надо же, чудесно-то как. А у меня одноклассница, знаете ли, в Австралию уехала, вот, — извещает теперь, что там и как... Занятен ныне мир Божий. А мы вот только-только обжились, на Преображение первая служба была. Отец скончался? На все воля Божья, что же. Быстро умер? Ну так чего же еще и желать-то, — легкую смерть еще заслужить нужно, и не всяк заслужит. Свечку, свечку поставьте новопреставленному рабу Божию... как?.. Николаю».

— Помяни, Господи, раба своего Бантюкана, прости его грехи его, смилуйся и пусти в рай, — прошептала Валентина, поставив свечу у пробитых ног Иисуса, и перекрестилась, набираясь решимости не пускаться в дальнейшие разговоры с бабушкой-зайцем, а наконец уже уйти отсюда.

Но бабушки-зайца за ее спиной уже не было, — вместо ее круглого мягкого лица на Валентину с иконы на противоположной стене смотрели святые равноапостольные угодники Петр и Павел, разделенные трещиной. Трещина проходила ровно посередине старой темной доски, и создавалось впечатление, что апостолы на днях поссорились и не желают разговаривать друг с другом, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Петр, впрочем, глядел более миролюбиво и, казалось, был не прочь пойти на мировую, но Павел, как истинный неопит, прожигал паству обличающим взглядом, и его сухое лицо с резкими, острыми морщинами было так же непримиримо, как и у Кочергина, на фотографии, приложенной к статье Цезаря-Цинцинната Чуваткина.

— Я, между прочим, здесь вообще ни при чем, — не выдержав пронизывающего Павловского взгляда, сказала Валентина апостолу. — И вообще, он меня бросил, — уплыл, улетел, ушел. И берег, и растил, и верил — учил всему, а потом ничтоже сумняшес бросил. В три дня сотворил и от-правил в века. Что я должна была делать, — заклинаниями его призывать? Возвратись со мной раскатывать суховей, из лесных камней вытачивать снегирей, уходить под воду смотреть на могучих рыб или в прятки играть среди ледниковых глыб, возвратись со мной воспитывать сыновей, возвратись поджигать планеты, — так что ли?!.. Если б на них это действовало!

В ответ раздался треск, который в пустом пространстве церкви показался Валентине оглушительным грохотом. Чуть не подпрыгнув на месте от неожиданности, она развернулась на звук и увидела медленно поднимающуюся из-за прилавка матушку Илиодору, которая двумя руками прижимала к груди свой гротеск, видимо, свалившийся на пол. Вперив в Валентину изумленный и робкий взгляд, монахиня несколько раз подряд облизнула тонкие бесцветные губы, словно ее мучила жажда. До Валентины вдруг дошло, что все мысли, предназначенные апостольским ушам, были высказаны ею вслух, и от ужаса она, невольно копируя монахиню, также несколько раз облизнула губы, почувствовав во рту апельсиновый привкус помады.

— Извините, пожалуйста, — пятась к дверям, забормотала Валентина. — Я не сумасшедшая. Честное слово, нет. Я просто задумалась, простите...

Споткнувшись на пороге, она зажмурилась, чтобы не смотреть в эти испуганные и какие-то трепетные глаза, и, повернувшись, пулей вылетела из храма.

Она пробежала без остановки всю улицу, опомнившись лишь на перекрестке, — заставив себя сначала замедлить шаг, а потом и вовсе остановиться, глядя на бегущую вниз улицу Бульварного кольца, стремительным махом, как горная река, вливавшуюся в огромную Трубную площадь. Проходившие мимо двое мужчин, один постарше, лет сорока, а другой помоложе, не больше двадцати пяти, по виду прибывшие в столицу из солнечного Таджикистана, тоже притормозили, мимоходом оглянувшись назад, словно любопытствуя, что же такого интересного там смогла отыскать Валентина.

— Девушка, — внезапно обратился к ней молодой. — Девушка!.. Десять рублей добавьте, пожалуйста, девушка. Валентина остановилась, сама не зная, для чего, хотя понимая, что делать этого не следовало. Она уже не первый раз попадалась на этот крючок личного обращения, — персонализированного российского попрошайничества, от которого отвыкла в Европе, где нищие, конечно же, присутствовали и виде курдских беженцев, но стояли или сидели скромно, опустив глаза в свои пустые кофейные стаканчики, где на дне плескались унылые центы с редкими монетками в один-два евро. Незнание языка новой родины, а также скандинавский социализм и невозможность помереть с голоду под забором, которую осознавали и они сами, и проходившие мимо европейцы, притеснял этих бойких восточных людей, не давая развернуться таланту жалостливого вымогательства во всю ширь. Валентина привыкла к этим стеснительным угрюмым фигурам как к неизбежному декору столичного города, а потому активность российских побирушек ее смущала, смущала тем более, что по внешнему виду нищими их назвать было никак нельзя, — перегаром, выдававшим злоупотребление спиртными напитками, они не воняли, смотрели на окружающих не грустно, а спокойным, а иные даже жизнерадостным трезвым взглядом, и озвучивали свои тексты, если таковые у них имелись, в целом бодро, а некоторые даже с залихватской русской задорностью: «Два дня Вас буду вспоминать, красавица!» — весело сказал Валентине в городе Т. веселый безногий старик, бодро сидевший на своей дощечке с колесиками, не обращая внимания на мелкий октябрьский дождичек. «Вспоминайте три,

дедушка», — попросила Валентина. «Договорились, красавица!» — тут же по-мужски игриво подмигнул ей в ответ калека и махнул на прощанье плиткой гематогена, зажатой в крепкой, волосато-седой лапе. Именно это несоответствие каноническому образу русского нищего, концентрирующего в себе вековую тоску неудач и лишений, вводило Валентину в растерянность: практически все как столичные, так и провинциальные попрошайки выглядели опрятно, одежда их была незаносена и лишена явных дыр и прорех, сквозь которые виднелось бы изможденное невзгодами и страданиями тело, а на ногах присутствовали крепкие башмаки, — на одной Санкт-петербургской барышне, курсирующей по вагонам метро, Валентина как-то летом с изумлением узрела новенькие, кокетливые, ядовито-розовые кроксы. По виду она напоминала студентку педфака и свой слезливый репертуар повторяла невыразительно и однотонно, механически-заученно, словно рассказывала на экзамене надоевшему препода выдолбленную до последней запятой главу из учебника по истории педагогики. Ее речи не произвели на сидевших и стоявших в вагоне пассажиров вообще никакого действия, — казалось, никто, кроме Валентины тогда и не заметил эту фигуристую, крепкую, чуть меланхоличную девицу с приятной глазу, уверенно возвышавшейся грудью и толстой тургеневской темно-русой косой за спиной.

Вот и этот остановивший Валентину таджик явно принадлежал к числу новых российских просителей подаяния.

— Десять рублей, девушка, — с хорошим русским произношением без акцента повторил он деловито и рассудительно, глядя на замешкавшуюся Валентину, словно кассир в магазине, терпеливо ждущий от бестолкового покупателя недостающие деньги. Валентина задумчиво рассматривала его жесткие, черные, как вороньи перья, волосы и такие же брови, скользя взглядом вниз по узким, непроницаемо-темным, глубоко посаженным восточным глазам и резким каменным скулам, стремительно спускающимся к узкому подбородку, подчеркивая красивые, крупные, чуть вывернутые губы. Интересно, — он уже пьет или еще нет? На вид совершенно трезвый. Но не на пряники же он деньги собирает. Или по десятке можно за день и на косячок насшибать? Но кто им вообще подает, кто реагирует на эту кукольную искусственность, кто соглашается играть в этом спектакле?.. Думаешь много, — тут же раздраженно выскочил из-за угла Шурик. — Кандидат в доктора, блин! Я, между прочим, тоже член Союза архитекторов Исроила, а туда с улицы не берут. Классиков иди почитай!

Валентина вздрогнула, напряженно уставившись таджику в глаза. От неожиданности тот тоже дернулся, начиная понемногу смущаться из-за непривычного развития обыденной сцены.

— Десять рублей... — уже тише и слегка застенчиво напомнил он, покрутив головой на короткой жилистой шее и непроизвольно сжав запястье своей правой руки ладонью левой, маленькой и аккуратной, на которой странным образом не было заметно ни одной вены или прожилки. Затянувшаяся пауза явно томила его, но он почему-то тоже продолжал стоять, то ли еще лелея надежду на получение запрашиваемой десятки, то ли просто находясь в замешательстве от странной ситуации. Надо было что-то сказать, чтобы разрядить обстановку, в которой они оба зависли, как мухи в паутине.

— Работать... надо... — неуверенно и неожиданно хрипло выдавила из себя через силу Валентина.

— А мы разве не работаем? — тут же радостно и даже счастливо подхватил ее реплику таджик, почувствовавший, наконец, облегчающее возвращение в привычное русло разговора, словно моряк, увидевший родные берега после трехмесячного плавания по морям по волнам необъятных и пугающих водных просторов. — Мы тут одни и работаем, девушка! — Это ты ни одного дня не работала, — добавил Шурик, привычно настраиваясь на любимую песню, которую она знала до последней ноты и могла бы без единой запинки спеть вместо него. — Вышла замуж за своего алкаша и квасила вместе с ним на социале. А я работал всю свою жизнь, понятно? И все зарабатывал своим потом. И меня все уважают, со мной все здороваются, это только по твоему мнению уборщики никому не нужны. Такие поэты, как ты, никому не нужны, понятно? Поэты... Вот Евтушенко — поэт. И Вознесенский — поэт, они этим жили. А тебе надо только звездить и шляться со своими... трам-тара-рам!.. Ты же не можешь жить нормально, не можешь! — распаляясь все больше и больше, он размахивал перед Валентининым носом столовым ножом, взятым, чтобы нарезать любимую сырокопченую колбасу. Нож был фирменный, огромный и блестящий, длиной почти до локтя, вызывавший в памяти бесчисленные голливудские фильмы ужасов, и Валентина зачарованно смотрела на его полеты, не в силах оторвать взгляда, все представляя, как однажды Шурик не выдержит и пустит его в дело: на полтора али на два вершка пройдет под самую

левую грудь а крови всего эдак с пол-ложки столовой на рубашку вытечет. — Денег пожалела, сука?!— переходил на крик Шурик, подступая к ней все ближе, и его светло-карие, близко посаженные глаза начинали от ярости вылезать из орбит, лоб покрывался резкими прорезями морщин, а сросшиеся брови нервно скакали вверх и вниз. — Крестьянкой была, крестьянкой и останешься, только евро и видишь, отношения тебе просто не нужны!..

— Прочь!— резко сказала Валентина, глядя таджику в глаза, сжав губы и чувствуя охватывающую ее привычную волну гнева, неизменно поднимавшуюся в душе в процессе бесконечных Шуриковых речей, на какой бы смиренный лад она себя не настраивала. — Отойди от меня!..

Таджик замер в полном изумлении, глаза его расширились почти до европейских размеров, а рот невольно приоткрылся, обнажив нижний ряд мелких и острых, косо срезанных белых акульих зубов. Его напарник тоже встрепенулся, выйдя из своего безмолвного присутствия, вытянул шею, словно беркут на кургане, и затоптался на месте, решившись даже сделать шаг ближе к товарищу, словно намекая на возможность помощи. Проходившая мимо юная пара лет восемнадцати-двадцати с любопытством повернула головы в их сторону: по лицу мальчика пробежала одобрительная усмешка, но девочка смотрела настороженно и хмуро, сдвинув светлые, выщипанные ниточкой бровки. — Стой!— так же резко продолжила Валентина, сдергивая сумку с плеча и принимаясь копать в ней внезапно задрожавшими руками, с тоской чувствуя, что посещение храма и суровая Богородица с ученым младенцем затягиваются туманом и уходят, уходят, что миг просветления опять засыпается бесконечными мелочами выяснения отношений, в которые Шурик умел втягивать ее незаметно и ловко, что приходится опять разгребать этот хлам. Однажды по ошибке Валентина выкинула в мусор Шуриковы носки, три дня валявшиеся в ванной, и быстро доведя себя до истеричного приступа негодования, Шурик вытряхнул на чистый, свежeweымытый кухонный пол содержимое мусорного мешка, торжествующе забрал свои носки и ушел в спальню, гордо хлопнув дверью, а Валентина долго стояла над разлетевшимися баночками из-под йогуртов, арбузными корками, картофельными очистками, луковой шелухой и глянцево-багровыми шкурками свеклы, смешанными с коричневыми сгустками кофейной массы, желтыми обрубками окурков и сизым сигаретным пеплом. Тогда она тупо смотрела на эти последы и отходы их домашней жизнедеятельности, напоминавшие вывороченные осколком снаряда человеческие внутренности, — кишки и потроха, перемазанные слизью, кровью и дорожной пылью, валяющиеся рядом с солдатским трупом их недавнего обладателя. На созерцание ушло минут десять, после чего Валентина механически подобрала распотрошенный мешок и принялась складывать туда все исторгнутое, испытывая к мешку странную жалость, словно официантка к отравившемуся клиенту, на ее глазах безжалостно проблемавшемуся после сытного ресторанного ужина.

— На, на, — она наконец отыскала сторублевую купюру и торопливо принялась засовывать ее в руку таджика, висевшую безвольной плетью, поскольку тот еще никак не мог выйти из состояния транса, вперившись в Валентину загипнотизированным взглядом. — На, не жалко, видишь?.. Бери, не жалко! Что, мало? Я дам еще, я дам... — она вновь полезла в кошелек. Сторублевка выскользнула из вялой ладони таджика и оранжево-розовым кленовым листочком главно спорхнула вниз, приземлившись в двух шагах от его кроссовок: **ADDIDAS**— бросилась Валентине в глаза немудреная надпись простодушного обмана. Она кинулась поднимать купюру, и таджик, то ли вышедший из гипноза, то ли еще находясь в нем и копируя ее движения, тоже присел одновременно с нею. Потянувшись к бумажке, они крепко стукнулись лбами; Валентине даже показалось, что в голове что-то загудело. «Ты так с катушек скоро съедешь, мать», — подумала она, прикладывая ладонь к ушибленному месту. Таджик тут же повторил ее жест. Теперь они сидели друг перед другом на корточках, держась руками за лбы, — Валентина правой, а таджик левой, отражая один другого, как в зеркале. «Съедешь, съедешь, крыша уже набрекрень», — вновь пронеслось в голове, и внезапно Валентине вдруг стало смешно и стыдно. Она слабо заулыбалась, потому что сил смеяться уже не было, и таджик, неотрывно смотрящий на нее, начал вдруг оживать, дрогнул губами, растянув их в странной, искусственной улыбке, но через секунду-другую она потеплела, перестала дрожать, утвердилась на лице, и он радостно, искренне засмеялся громким фальцетом, сначала отрывисто, а потом все более ровно и гладко, наслаждаясь счастливым весельем: — Ха! Ха! Ха! Ха-ха-ха-ха...

Продолжая облегченно и обессилено улыбаться, Валентина положила левую руку ему на плечо, поднялась и, постояв самую малость, наконец-то пошла вниз по улице, а он все смеялся, словно боясь остановиться. Москва вокруг тоже задвигалась, зашумела, загудела, как будто

радуясь высвобождению из этого странного трехминутного плена; липы зашелестели кистями, облепленными густыми желтыми соцветиями, тополиный пух взметнулся белой пеной, пешеходы активно замахали руками, а машины прибавили скорость, и из открытого окна синего «Фольво» в уши Валентины мощно и стремительно выплеснулся обрывок песни: «Скажи мне, что? Что мне делать сегодня со своею любовью? Скажи мне...»

Она спускалась к Трубной площади, жадно вдыхая теплый, концентрированно-сжатый, чуть влажный от, еще не просохшего до конца, утреннего дождя московский воздух, наполненный неостановимой, кипучей, уже ставшей привычной суетой мегаполиса, слыша вокруг русскую, — надо же! — только русскую речь, вбирая в себя мелькавшие вокруг лица, — молодые, немолодые, оживленные, нахмуренные, деловитые и рассеянно-отвлеченные, русские, полурусские и совсем нерусские. И когда до кольца Цветного бульвара оставалось уже всего метров двести, она внезапно заметила на втором справа переходе, на самом краю автомобильного потока две выделяющиеся из общей массы прохожих фигуры: взрослую и детскую. Женщину и ребенка, державшегося за ее руку. Оба были одеты в странные длинные хламиды неопределенного цвета, вытертого то ли стирками, то ли долгим ношением до темного, изжелта-серого оттенка. Женщина была босой, на ногах мальчика, которому по росту можно было дать лет семь, виднелись плетеные сандалии, обвязанные бечевкой вокруг узких смуглых щиколоток. Голову матери покрывала бледно-синяя шаль, из-под нее вилась прядь темных волос, которую она два раза попыталась заправить, но та вновь выбиралась наружу; сын же был простоволос и его мягкие каштановые кудри почти до плеч переливались в дневном свете густым блеском, бросающимся своим сиянием в глаза. Он что-то оживленно рассказывал матери, время от времени подскакивая от детского волнения на месте и активно кивая головой в подтверждение своих слов, а она смотрела вперед, на красный огонь светофора, порой успевая, не отводя взгляда, повернуть к нему к нему голову, и тогда становилось виднее ее лицо с большими глазами, удлинённым носом и неподвижно-строгим маленьким ртом. Сердце у Валентины внезапно заколотилось до того сильно, что она почувствовала в ушах эхо частых толчков крови. Вдруг стало невыносимо жарко, и, ускоряя шаг, торопясь к переходу и натываясь на идущих ей навстречу людей, она торопливо принялась стаскивать с себя джинсовую курточку, путаясь в рукавах и ручках сумки, — скорее, ну, скорее же!

Но когда, задыхаясь от волнения, щемившего сердце, захватывавшего солнечное сплетение и стекавшего в самый низ живота, она добежала до своего, первого перехода, конечно же, на их, втором, вспыхнул зеленый свет, а на ее загорелся красный, — машины стремительно хлынули вперед, и перебежать дорогу не было никакой, никакой возможности, щели, лазейки, просвета! А они, ускоряя шаг, уверенно шли к столпу, поворачивавшему на своей могучей оси площадь, смешивались с прохожими, удалялись, удалялись неотвратимо и неизбежно, и Валентина даже застонала от отчаяния, так что стоявшая рядом с ней пожилая женщина в ярко-рыжих кудрях и синем платье в кокетливый белый горошек обернулась и озабоченно придвинулась: — Вам плохо, девушка? — Стойте, — не обращая на нее внимания, прошептала Валентина пересохшими твердыми губами. — Постойте же... Погодите... И тогда мальчик вдруг обернулся, взглянув прямо на Валентину, и дернул мать за руку. Та остановилась, тоже повернулась в Валентинину сторону, следуя направлению вытянутой правой руки сына, и посмотрела на нее сквозь поток машин все тем же неподвижно-строгим, темным взглядом, потом кивнула головой, а мальчик заулыбался и радостно замахал свободной рукой, взметнув ее над каштановой шапкой кудрей так, что рукав его хитона сполз вниз, обнажая тонкое детское плечо. Свет, разлетавшийся от его волос, стал еще более ярким, охватив голову плотным мерцающим полукругом. Внезапно из-за статуи Георгия Победоносца вдруг выкатилось солнце, которого не было видно весь день, вспыхнув таким нестерпимо-жгучим огненным блеском, что Валентина зажмурилась, непроизвольно поднеся ладонь левой руки к глазам, и сквозь пальцы увидела, как зашевелился, свиваясь толстыми тугими кольцами, змей на постаменте, а всадник поднял копыте еще выше и в ту же секунду уверенным, точным и сильным движением руки опустил его прямо на основание змеиной головы, так что от камня брызнул в стороны сноп разноцветных искр. — Вам плохо девушка? Что с вами?.. — вновь прозвучал из бокового пространства озабоченный женский голос, и его обладательница тут же загордела своей объемной фигурой половину площади, закрывая и мать с сыном, и столп с воином.

Не отвечая, Валентина кинулась бежать на спасительный зеленый сигнал, лавируя между пешеходами, которых было еще больше машин, но у столпа уже не было ни женщины, ни ребенка, и как Валентина ни озиралась, но не заметила их ни на одной, ни на другой стороне бульвара. Она взглянула вверх, на статую, но Георгий, как всегда, высился в неподвижной истуканности, а змея

униженно жалась к его ногам. Все вернулось на свои места.

— Вы женщину здесь с мальчиком не видели? — тоскливо и безысходно обратилась Валентина к стоящему неподалеку коренастому бородатому мужичку в смешной зеленой кепочке с белым помпоном, махавшему пачкой красно-желтых рекламных листовок.

— В цирк пошли, девушка, в цирк, — тут же отозвался он, как будто ждал ее вопроса. — Вот и вам проспектик, приходите на представление!

Валентина машинально взяла сунутый ей листочек с отпечатанным на красном глянцевом фоне лимонно-желтым львом, свирепо разевавшим мультипликационно-зубастую пасть, и медленно пошла вперед по аллее Цветного бульвара мимо двустороннего ряда лип и скамеек, на которых сидели мамы с колясками, жались к друг другу влюбленные и бурно обсуждали насущные вопросы бытия разогретые теплым днем и различными видами и дозами спиртного выпивохи. Люди занимались друг другом важно и трудолюбиво, не жалея сил на нежность или неприязнь, вкладывая энергию всех джоулей, ватт и ампер в свои симпатии и антипатии, боясь расстаться с ними и оказаться один на один с собственной душой, ибо страшнее этого в жизни ничего не бывает. Не к кому спешить, некого держать, холод мой дрожит, не дрожать не может, мне некуда идти, некого терять, никто мне в этом мире не поможет. Что? Что мне делать сегодня?..

— Девушка! — услышала она за спиной хрипловатый мужской голос. — Девушка, благослови! Благослови, девушка!..

Сказанное звучало настолько невероятно, что Валентина обернулась больше от удивления, никак не применяя слова к себе. Позади нее, метрах в пяти, поднявшись со скамейки, стоял мужчина, — еще довольно молодой, лет тридцати пяти — сорока. В правой руке он держал бутылку темного пива, которую и протягивал к Валентине призывно и моляще. — Благослови, девушка, — опять повторил он, трепетно и проникновенно. На всякий случай Валентина осмотрелась вокруг в поисках какого-либо церковного лица, к которому можно было бы приложить эту непривычную просьбу, но рядом вообще никого не было, так что у нее не осталось никаких сомнений в том, что благословения человек просил именно у нее. Валентина пришла в полное смятение, — происходящее выбивалось из всех рамок упорядоченного жизненного процесса и требовало от нее принятия абсолютно непривычных решений и действий. Особенно смущало то, что по внешнему виду индивид никак не походил на стандартного бухарика, которые зачастую любят впасть в юродство и повыпендриваться на потеху публики, следуя загугулинам расшатанных и осыпанных, словно роца в сентябрь, алкоголем мозгов. Но данный бражник выглядел вполне социально благонадежно и даже укрепленно, отдаленно напоминая довольно известного английского актера, отхвativшего долю всемирной популярности, снявшись в голливудском сериале и сыграв там неврастеничного и загадочного провидца-врача, доктора Фауста. Впридачу к положительной внешности на докторе присутствовала чистая белая рубашка с короткими рукавами в мелкую, едва заметную голубую клеточку, причем воротник ее стоял крепко, был незаношен и свеж. Штаны, надетые им в этот день, были незамаранно-светлыми, без единого грязного пятна и пятнышка, осквернившего бы бежевый цвет, и, судя по качеству их изматости, пошиты они были из чистого, без примесей, натурального льна, материала весьма недешевого, который мог позволить себе далеко не каждый житель Москвы или гость столицы. На большом пальце правой руки, сжимавшей бутылку с пивом, были впритык друг к другу надеты два крупных плоских кольца, не менее чем по сантиметру каждое, и их блеск выдавал не серебро, а настоящее модное белое золото. Он был тщательно подстрижен в хорошей парикмахерской: чистые темно-русые волосы с мелкой проседью на висках лежали волосок к волоску, выдавая опытную руку дорогого мастера; на худой физиономии с острым подбородком не было заметно ни малейших следов щетины; печально-умоляющий взгляд светлых глаз был вполне осмыслен и демонстрировал явные следы работы ума и высокого уровня интеллекта. До Валентинного носа даже донесся смутно-знакомый запах брендовых духов, и, потянув его ноздрями, она с изумлением узнала последнюю серию «Гензо», которые подарила Шурику совсем недавно, в начале весны в очередном порыве расслабляющей нежности и надежды на обретение гармонии. И лишь слабо-коричневатый оттенок лица стоявшего перед ней незнакомца, который неопытный взгляд мог бы принять за мягкий загар, приобретенный под ненавязчивым солнцем курортов Ниццы или Валь Гардена, не мог обмануть Валентину, с детства натасканную на разную степень внешнего проявления отцовских заповей: она могла дать руку на отсечение или же смело поспорить на сто баксов, что просящий ее благословения московский доктор Фауст интенсивно злоупотребляет уже около двух недель с утра до вечера, начиная свой день, по всей вероятности,

с легких, бодрящих, вспотевших в холодильнике в ожидании своего часа алкогольных напитков, а к вечеру опускаясь до тяжелой сорокаградусной артиллерии.

На скамейке, с которой он поднялся, больше никто не сидел, так что Фауст, как видно, квасил в одиночку, а подобное единоличное распитие, как правило, рождает в русском организме вялую тоску, зачастую усиливающуюся до черной меланхолии. Впрочем, на соседней лавочке заседала разбитная компания из трех забулдыг, пересыпавших свои силпы, интонационно-нескоординированные высказывания всплеском матерных речетативов. Но компания не обращала на них внимания, увлеченная собственной захватывающей беседой; лишь разбавлявшая классическую трицу женщина с оранжевой банкой джин-тоника в руке повернула в их сторону отекшее, синюшное от долголетнего пьянства лицо с тяжелыми набрякшими веками, спускавшимися с бровей на глаза почти как у Вия, но тут же вернулась к более интересным собеседникам. Так что, скорее всего, они все-таки не были сотоварищи доктора; возможно, изнывая от густеющей тоски, он и намеревался к ним присоединиться, но то ли робел, то ли стыдился, еще сохраняя в недрах воспоминание о том, что гусь свинье не сотоварищ.

Валентина стояла, в замешательстве глядя на доктора Фауста и не зная, что предпринять и как следует поступить в данной, совершенно невероятной, почти кощунственной ситуации. Доктор же, видя ее нерешительный испуг, заволновался и сделал пару шагов ближе, осторожно и вкрадчиво, словно боясь, чтобы Валентина не испугалась окончательно и не бросилась бы наутек. На его лице отразилось сильное волнение: он пару раз облизал губы и прерывисто вздохнул, как будто собираясь сказать что-то важное, но так и не сообразил, что, — только открыл рот и замотал головой. Глаза его заблестели и заволоклись слезами. — Благослови, девушка! — опять хрипло повторил он и покачнулся. Бутылка выпала из его руки и закрутилась на песчаной дорожке, извергая из своего нутра темную пенную жидкость, но Фауст даже не заметил этого, еще на шаг придвинувшись к Валентине и умоляюще протягивая к ней пустую ладонь. Их разделяли лишь три метра.

«Господи, только бы на колени не стал!» — похолодев, внутренне задрожала она и неожиданно для себя, со странным чувством того, что все это происходит не с ней, подняла правую руку, показавшуюся до невесомости легкой, незнакомой и чужой, сжала три пальца в щепоть и медленно перекрестила незнакомца. Благословение словно растеклось в воздухе кадрами замедленной съемки, — вверх-вниз, налево-направо. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Не печалься, ступай себе с Богом

Незнакомец отклонился назад, вздрогнул и вдруг крупно затрясся всем своим худым телом, ослабевшим от чрезмерных возлияний. Компания на соседней скамейке внезапно загоготала хриплым, рычащим и скрежещущим смехом, причем сильнее всех, визгливым пронзительным хохотом заливалась женщина, а он продолжал трястись, не в состоянии унять эту дрожь, охватывающую его все сильнее и сильнее. Ходуном ходили плечи, дергались руки, плясали пальца, колени под штанами дрожали так сильно, что Валентина уже приготовилась к тому, что сейчас он рухнет прямо на песок и забьется перед ней в эпилептическом припадке. «В рот надо что-то вложить, разжать зубы», — подумала она, лихорадочно вспоминая, что же подходящего есть у нее в сумке. Но доктор не упал, а безумная дрожь постепенно начала отходить, конечности понемногу успокоились и распрямились. Запрокинув шею назад, Фауст еще пару раз дернул острым кадыком, громко глотнул слюну и медленно вернул голову на место. Глаза у него были полузакрыты, и из-под век виднелись одни закаченные до упора вверх белки. Такого Валентина не видела даже, когда ей довелось возиться с Южкой, скрученным от пьянства приступом острого панкреатита и бессильно левашим на кровати, прерывисто дыша и смотря на нее поблекшим и отупевшим от боли взглядом, — не уходи, не бросай, сделай что-нибудь, помоги мне... Но Южка тогда хотя бы смотрел, осознавая и принимая кару за лихое водочное разгуляево, так что там оставалась хоть доля надежды на торжество разума и скорую помощь врачей, а этот безглазый взгляд утягивал Валентину в темную пропасть безумия. «Хватит! — мысленно взмолилась она. — Хватит. Посмотри на меня!» И словно услышав ее, доктор Фауст вздрогнул, поднял руки, прижав их к лицу, и сильно потер ими туда-сюда, вдавливая пальцы в лоб и глазницы, а затем переведя ладони выше, на виски и затылок. Его глаза закрылись, а через мгновение постепенно начали открываться, и он наконец-то посмотрел на Валентину прямым, осмысленным, хотя и мутным взглядом. Оказалось, что глаза у него были ярко-голубого цвета, наполненного чистой апрельской бирюзой. Они смотрели друг на друга еще полминуты, а затем Валентина круто повернулась и решительным шагом двинулась вперед, хотя ноги у нее тоже слегка подрагивали. «Девушка, — прошелестел он за ее спиной

слабым неровным шепотом. — Девушка...» Но она уже не стала оборачиваться, чувствуя, что больше не выдержит подобных спецэффектов.

Не останавливаясь, она почти что бегом дошла до конца Цветного бульвара, уже не разглядывая прохожих, как будто боясь снова прикоснуться к чьей-то судьбе, желая покоя и хоть какого-то уединения. Цветной закончился мощным широким перекрестком, сводящим на своем пересечении две раскидистые улицы, но впереди Валентина увидела довольно большой парк и направилась туда, мимоходом кинув привычный взгляд на указатель, курсорной стрелкой направленный в сторону парка: улица Самотечная. Потечем сюда, — решила Валентина, — куда же еще нам плыть? Времени до вечера предостаточно.

Парк оказался большим и, на удивление, малолюдным, чистым, тихим и спокойным: разросшиеся деревья заглушали городской шум и веяли свежей прохладой, отгоняя от редких гуляющих сгущающееся марево постепенно накалившегося летнего дня. Валентина прошла вперед метров триста, дожидаясь, пока сигналы перекрестка окончательно не стихнут, и, выбрав себе одинокую лавочку, утомленно опустилась на ее дощатое ложе, принявшись неторопливо и бездумно рассматривать кусок антуража видневшейся наискосок улицы. Как и сам парк, располагавшаяся по его правую сторону. Самотечная улица была на удивление тихой и какой-то не по-московски провинциальной, со скромными доходными домами купечества второй гильдии, блеклые фасады которых не были украшены ни яркими вывесками, ни броскими рекламными щитами. Впрочем, на одном из домиков все же отыскалась парочка надписей, размещенных друг над другом. **ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ** — гласило написанное по-солдатски стройными, коричневыми подтянутыми буквами объявление повыше, на втором этаже. **СВЕЖИЕ ФРЕШИ** — сообщала вывеска поменьше, на первом этаже, приглашая истомившегося от жажды прохожего открыть совсем незлитную, уже слегка обшарпанную дверь из прессованных опилок и зайти в скромную закусочную средней руки, что порадует своего гостя истинно демократическими расценками поданных напитков. Валентина с трудом привыкала к новым иностранным словам, прораставшим среди русской речи стремительно, подобно пырею и выюнкам на заброшенном огороде: приезжая на родину, ей каждый раз доводилось поражаться тому, как из уст обычных людей причудливыми мутаборами и мутантами вылетают **бренды** и **тренды**, **тюнинги** и **тюнеры**, **унисексы** и **кэжуалы**,



дайджесты, пул- и прайс-листы — «Павлик на митинге», — сказала как-то про мужа старая знакомая, и Валентина с изумлением представила неуклюжего лысого Павлика, похожего на огромного толстого Знайку ростом в сто девяносто сантиметров, — серьезного и сдержанного бизнесмена Павла Николаича, — размахивающим красочным транспарантом в возмущенной толпе митингующих: Бездушие чиновников не дает нам дышать! Руки прочь от Химкинского леса! — «Где?» — недоверчиво переспросила Валентина. — «На встрече с партнерами», — сочувственно поправились знакомая, вспомнив о Валентиновой языковой отсталости, и Валентина смущенно примолкла, осмысливая факт того, что переговоры, оказывается, отправились в отставку, а им на смену пришли бойкие митинги. Но сейчас она смотрела на вывеску с фрешами почти с умилением, в очередной раз удивляясь тому, как порой настойчиво те или иные слова по несколько дней могут преследовать человека, возникая то тут, то там семиотическими флажками, посланными свыше неведомым знаменем. Ибо не далее как вчера Валентина бурно обсуждала эти самые фреши со своим Спутником в кафе на Поварской, куда он повел ее обедать.

— Соуса! — воскликнула она, открыв меню посередине, на вторых блюдах. — Нет, ты видал такое? Что же это с русским языком творится-то?..

Но он смотрел на нее теплым, тающим от радости миновавшей долгой разлуки взглядом и явно думал совсем не о **соусах**.

— За это надо выпить, — понесло Валентину. — Так сказать, помянуть **соусы**, земля им пухом. Что здесь подают? — Она переместилась к напиткам и вот тут-то и наткнулась на фреши. — Что это такое — фреши?..

— Это свежевыжатые соки. Видишь, — апельсиновый, яблочный, морковный, — объяснил он терпеливо, с легкой ноткой снисхождения, словно отличник троечнице. — Это и понятнее, и короче, чем говорить «принесите мне свежевыжатого сока»...

— Мне не лень разговаривать на родном языке, — не сдавалась Валентина. — А вот вы скоро вообще превратите русский язык в пиндосский волапук и будете весело на нем чирикать... верещать... хрюкотать... Навешали на него цацек, будто на новогоднюю елку, — чем больше, тем круче!

— Русский язык, между прочим, всегда был открыт для заимствований, еще с допетровских времен. А ты просто оторвалась от России: от языка лет на десять, а от литературы — на все тридцать. Твой пуризм скоро доведет тебя до шишковщины, — подковырнул Спутник, поведя плечами от с недавнего его томительного нетерпения.

— Да я вообще осколок советской империи, — беззлобно фыркнула она в ответ, словно не замечая его жеста. — И признаю только словарь Ожегова, который тебе не грех бы почитать, — по три страницы перед сном.

Они уже давно препирались по поводу англицизмов, и вчера опять споткнулись об этот камень преткновения. Таких камней на их общей дорожке было рассыпано немало, поэтому при редких встречах они постоянно зацеплялись языками, хотя вели свои стычки внутренне нежно и любовно, трепетно охраняя ту невидимую постороннему глазу ниточку, тонкую, но крепкую, как вольфрамовый волосок, светившийся устойчивым маячком интеллектуально-духовного единения и вспыхивавший багровыми ожогами физической страсти. Эта лампочка Ильича связывала их через страны, пространства, расстояния и неумолимые события личной жизни каждого, и никто из них обоим никак не решался нажать на выключатель. Возьми меня за ручки, води гулять по травушке, води по шатким мостикам, води меня до моряшка до синего до неба дальнего...

— Это до добра не доведет, — категорически заявила Валентина, чувствуя внутри сладостное томление от его откровенных взглядов и сокровенных желаний, растекавшееся от поясницы вниз и отдававшееся легкой щекоткой под коленками. — Это уже не грамматика и не лексика, это деформация ментальности. Почему ты отказываешься видеть, в какую яму могут завести все эти **соуса и фреши**? — ткнула она пальцем в меню, сурово взглянув на подошедшую пару минут назад молоденькую официантку с округлым, миловидно-кукольным русским личиком, отвлеченно и терпеливо дожидавшуюся конца их диспута. Поймав ее взгляд, девочка встрепенулась:

— У нас апельсиновый хороший, хотите? Принести вам апельсиновый фреш?

— Нет, мне, пожалуйста, кериносный шрек, — незамедлительно отозвалась Валентина, серьезно оглядев свежешекую розовую девицу, которая так же серьезно посмотрела на нее,

ничуть не удивившись и не смутившись заказу: — У нас, к сожалению, кажется, нет такого.

— А вы спросите у бармена, голубушка, — распорядилась Валентина голосом, не допускавшим возражений, и кукольная барышня, сложив пухлые губки бантиком, покорно отправилась исполнять капризы прихотливой клиентки.

Валентинин Спутник на этот эскапад лишь покачал головой, беззвучно смеясь:

— Любишь же ты... трам-пам-пам!..

— Не без этого, милый, — легко согласилась она и специально для него повела левой бровью: раз... раз-два, раз-два-три... — А ты не хочешь керосинового шрека?

— Я же за рулем, я не могу, — сказал он, отводя взгляд в сторону и стараясь не поддаваться на ее пароли в общественных местах.

— Возьмем такси, делов-то

— А, ладно, давай, — внезапно решившись, махнул он рукой и, пересев на стул рядом с Валентиной, принялся жадно и горячо целовать ее, забирая голову в ладони, сжимая в горсти корни волос на затылке и оттягивая, отклоняя назад ее шею. Так что, когда минут через пять подошел высокий, худой и строгий, несмотря на свою южную внешность, бармен, они уже не помнили ни о еде, ни о выпивке, полностью погрузившись в поцелуи и объятия, боясь упустить хоть каплю своего недолгого свидания. Они еле оторвались друг от друга в ответ на смущенное покашливание бармена, смотревшего на них хоть и вежливо, но неодобрительно, — взрослые, мол, люди, а лижетесь, как малолетки. И вообще, у нас тут приличное место, а не проходной двор.

— У нас нет керосина, — по-восточному торжественно огласил он, когда Валентина со Спутником наконец приняли пристойные позы. — Это шутка была, да? Смешно. Так что желаете?

— Шампанское, — наконец смогла выговорить Валентина, чувствуя, как неудержимо начинают гореть губы и кровь приливает к щекам. — Принесите нам, пожалуйста, шампанского. Мы лучше выпьем шампанского, правда, милый? Мы не станем пить фреши и закусывать их соусами, — а он только кивал головой, глядя ее по плечу, все глубже погружаясь в этот очередной крен судьбы, которая настойчиво и упорно сводила их вместе, и соглашаясь на любые Валентинины слова, — да, любимая, да... нет, любимая, нет...

Так что московских фрешей вчера ей так и не удалось попробовать. «Может, сходить в эту забегаловку?» — подумала Валентина, вернувшись из воспоминаний прошедшего дня и снова взглянув на вывеску. Но ленивая истома не давала встать с теплой лавочки; руки и ноги словно налились свинцом, веки отяжелели, а дыхание становилось все тише и медленнее. На небе в плавном вальсе кружили пышные белые облака, отсвечивавшие светлой, сиреневой-серой изнанкой дождливого утра, и солнце падало в их мелкие прорехи и крупные дыры, отчего деревья то наливались ярко-зеленым, виртуально-фотографическим раствором света, то растворялись в матовой дымке. По дорожкам в том же ритме на три четверти бегали неровные резные тени. От одинокого жасмина, цветущего напротив Валентининой скамейки, шел одуряюще-сильный сладкий запах. Прохожих в парке почти не было, — лавочки пустовали, лишь наискосок вдали виднелась фигура молодого человека, который, уставив локти на колени, напряженно вслушивался в свои наушники. Этот Самотечный парк был словно вырван из московской реальности, и не верилось, что всего в трехстах метрах отсюда начинается людный и оживленный Цветной бульвар. И все же он был неотъемлемой частью города: слева, сразу за пешеходной дорожкой, становой жилой пролегалo широкое шумное шоссе, где неслись бесконечные машины, спеша на встречу с инспекторами ГИБДД, которые, почесывая в коротко стриженных затылках и попыхивая сигаретками, стояли на своих постах, дожидаясь двойного обгона, пересечения сплошной линии, превышения скорости, — эх, и какой же русский не любит быстрой езды? — да и просто проверки на трезвый разумный взгляд, смотрящий на расстилающееся впереди дорожное полотно. Машины ехали, текли, летели, водители спешили, торопились и нажимали на педали, ловя минуты, секунды и не думая о мгновеньях свысока, а Москва кипела и булькала огромным котлом, в процессе постоянного насыщения бурля всеми лабиринтами гигантского кишечника, переваривавшего свою добычу из миллионов угодивших в ее Левиафаново чрево людей.

«Фрррррррррр...» — шуршали по асфальту импортные легковушки

«Шшрррррррррр...» — пыхтели, упираясь колесами, отечественные Калины, Лады и раритетные

Жигулята пятой модели

«Фреш-Шрек, фреш-шрек, фрешшрек-кха-кха!..» — яростно рявкали грузовики и фуры, подгоняя свои тяжелые, перегруженные тела к невидимому финишу.

Валентина закрыла глаза, слушая звуки дороги, и, как в теплую летнюю озерную воду, погрузилась в дремоту. Перед глазами на розовом солнечном фоне заколыхались, расплылись в стороны мелкие черные реснички, складываясь и распадаясь причудливыми узорами внутреннего калейдоскопа. Потом они исчезли, как заставочные кадры к фильму, и начался сон.

Валентине приснилось, что она сидит на большом золотом престоле посреди зеленой возвышенности, которая заканчивалась отвесным обрывом, круто спускавшимся к морской косе, двумя концами длинной плавной дуги упиравшейся в голубовато-туманные дали горизонта. Престол был огромный, словно гигантское крыльцо, и сама Валентина во сне ощущала себя великаншей: волосы ее стекали на землю, как реки, глаза круглились озерами, нос возвышался небольшой горой, а щеки — холмами, спускавшимися к ущелью рта. Далекие ступни в блестящих, украшенных янтарем сандалиях, терялись у подножия престола, лежавшие на подлокотниках сильные руки с узорчатыми перстнями на длинных пальцах были видны получше. Солнце плавало по правую сторону от престола, луна плескалась по левую, а под ногами искрились тысячи звезд, мелким бисером рассыпанных в нежной душистой траве. Большие же звезды были собраны в надетом на голову Валентины венце, испускавшем вокруг сияние разных цветов: в середине чистым, бело-голубым алмазным светом переливался Регул, справа темным рубиновым отблеском мерцал Антарес, а слева дрожал желто-оранжевой каплей огонек Арктура, от них с двух сторон сливались в хоровод Альциона, Вега, Капелла, Сириус, приплясывали, взявшись за руки, Кастор и Поллукс, кружились Мицар и Алькор, а их вереницу замыкал сзади глубокий красный глаз Альдебарана. Небо хрустально-синим куполом покрывало земную твердь и морскую хлябь, лежавшие перед Валентиной, и бысть они светлы и изобильны, красивы и великолепны, и наполнены и биением травным, и древом плодовитым, и зверем косматым, и птицей пернатой, и рыбой малою и великою, и гадом ползучим, и насекомым летучим и нелетучим, по всякому роду и подобию их. И все это у Валентины на глазах росло и множилось, цвело, благоухало и колосилось, дышало и радовалось жизни.

Въспѣша на древах славии, соколи на вѣтрехъ ширяяшася вдоль синего моря, по коему плавава крапчатые дивайсы, а под водою скользиша, пуская пузырьки и фонтанчики и шевеля серыми плавниками, вертлявые дайверы; на берегу, мимо старых замшелых сосен и молоденьких, взволнованно трепещущих бледно-зелеными листочками осинок бегаша наперегонки сѣрыи вѣлци и брѣзья комони, а из-за кустов боярышника на них угрюмо сверкаша мрачными желтыми очами и глухо рычаша вечно голодные коучи; на лужайке, под тенью векового дуба ведоша ленивую ученую беседу телец и лев, отмахиваясь от неутомимо стрекотавших зелюков, а рядом с ними, в траве, в поисках сашек-букашек и прочих суетливых крокозябр бродиша колченогие запперы и прыгаша писклявые слабокрылые чикенбургеры, время от времени натыкавшиеся на влюбленную парочку глоких куздр, кои извивашеся и сплеташеся в тесном объятии любовного соития; в поле же, расстилавшемся неподалеку, слонопотамиша мощные тяжеловесные бокры, а рядом с ними топотамиша неожиданно маленькие кудрявые бокренки и совсем мелкие пушистые бокрята. Люди спокойно возделывали землю свою, и земля давала произведения свои и деревья в полях — плод свой. Старцы, сидя на улицах, все совещались о пользах общественных, и юноши облекались в пышные и воинские одежды. И сидел каждый под виноградом своим и под смоковницею своею, и никто не страшил их. Словом, все было мирно и спокойно, и Валентина удовлетворенно оглядывала свое царство-государство, чувствуя, что оно есть устроено крепко и хорошо, и никто никого не толкает, не пихает, не дразнит и не задирает попусту. Хотя на дивайсов, дайвингов и коучей с запперами она все-таки порой посматривала озабоченно, с недоверием и тайным ощущением того, что за этими-то все равно нужен глаз да глаз, — только отвернись, как они тут же какую-нибудь свинью и подложат!

И вдруг посреди этого уютного спокойствия море внезапно вспенилось великой волной, и земля вздрогнула и задрожала, принимая на свою грудь удар непрошенного и неожиданного нашествия гневной водной стихии. Мирно гулявшее стадо животных пришло в смятение: повизгивая от ужаса, разбежались, махая облезлыми хвостами, коучи, зарыли головы в песок трусливые запперы, разлетелись дивайсы, и, теряя лимонные перья и гнусаво запищав от страха, в разные стороны прыснули кривоногие, неповоротливые чикенбургеры. Валентина привстала на своем престоле и увидела поднимающегося из расступившихся морских недр огромного

дракона с семью головами и десятью рогами; на головах его, с кривыми мордами, злорадно усмевающимися рожами и жадно оскаленными, истекающими желтой пенной слюной пастьями кровавыми огнями, отбрасывавшими зловеющие синие искры, горели десять диадем, а на рогах развевались пестрые флаги с богохульными именами: **тендер, оффшор, маркетинг, лизинг, рейтинг, имиджмейкер, дистрибьютер, промоутер, дилер, спикер**. Преданные звери столпились около Валентины. Бокры, насупившись и громко сопя, уставились на врага и загородили могучими боками своих бокрят, а бокренки взволнованно и вопросительно взглянули на нее влажными синими очами, обрамленными густыми длинными ресницами. Глокая куздра, защищая свою подругу, встала в боевую стойку, раздула щеки и яростно зашипела, ударяя по песку черным хвостом. Валентина поняла, что медлить нельзя.

— О дружино и братие! — поднявшись с престола, сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал громко и решительно, обращаясь к собравшимся перед ней воинам, непривычно сжимавшим в руках отливающие стальным блеском мечи и буденовские шлемы. — Одуванчики, девочки-мальчики! Киборги погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую, посрамляя славу россос пилингами, лифтингами, консилерами, твейджерами, холстерами, биперами, скремблерами, мерчендайзерами и спредами... Встресоша власами красныя дѣвы на брежѣ синего моря и восстонаша от хоррора сего грозного: «О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!» — Войско слушало внимательно и, как видела Валентина, сочувственно, проникаясь тяжелой сутью переломного момента. — О дружино и братие! — уже уверенно продолжила Валентина, вдевая ногу в стремя и садясь в седло вороного коня, которого к ней под уздцы подвел один из серых волков. — Братие! Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти! А всядемъ же, братие, на свои белые мерсы и черные джипы, да преломим копия харалужныя о поганяя шелома киборжскыя, защищая грады наши и села, хльми и яругы, клады, хлады и мразы! Велика Россия, а отступать некуда, ибо та подкатила черта, где законов уже не пиши, и заступится лишь простота за величие русской души. Веселися, выплеснись за край, азиатской пеной закипая, полночь русская, кромешный рай, силушка глухая и слепая! Вперед! Ура!

— Уррраааа!.. — низко, грозно и дружно завопили полки, замахав шашками и знаменами и вскакивая в седла, залезая на танки, бронетранспортеры и тачанки-ростовчанки. Кто-то смотрел сурово, кто-то зло, а кто-то даже весело, но на лицах не было ни страха, ни растерянности, сменившихся пусть на краткое мгновение решимостью объединиться и показать поганым кузькину мать. Войско загремело, засвистело, защелкало, заколыхалось, задвигалось огромной серой массой потекло вниз, кто боком, кто скоком, кто верхом, кто на своих двоих. Откуда-то слева Валентине вновь махнул плиткой гематогена неунывающий безногий калика, бойко подскакивающий на своей перевозке, горланя на ходу какую-то боевую песню: «Девчонки полюбили не меня, эхма!..» А на самых задворках, далеко в арьергарде, около телег с провиантом Валентина углядела своего Спутника, переминающегося с ноги на ногу, смущенно перебирая в руках стальную сетку кольчуги и недоверчиво смотря на меч, который ему спокойно протягивал маленький мальчик лет семи-восьми в белой холщовой рубаше до колен. Наконец, словно опомнившись, он натянул кольчугу, схватил меч и тяжело подпрыгивая, неумело побежал за остальными вперед по полю, смешными, неуверенными движениями пытаясь удержать меч наверху. «То-то!» — одобрительно и удовлетворенно кивнула головой Валентина, водрузила на голову остроконечный шлем и резко хлестнула поводьями: — Н-но, залетный! Чуешь грозный смех русских колокольчиков? Жеребец звонко заржал и взвился на дыбы, но через секунду понял, что от него хочет хозяйка, и крупным галопом рванул вперед, сначала чуть-чуть не попадая в такт, но с каждым ударом копыт скача все ровнее и стремительнее. Рядом, оскалив крупные желтоватые клыки, не отставая, бежал серый волк, на ходу успевая регулярно поглядывать на Валентину, — не боишься ли, царица? Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — усмехнулась она, постепенно переставая думать и полностью отдаваясь шумному порыву атаки, мерному стуку копыт и захватывающему ритму скачки: ЕСТЬЮ-ПОЕ-НИЕ-ВБОУ-ИБЕ-ЗДНЫМРА-ЧНОЙНА-КРАЮ!..

А дракон уже выбрался из моря и медленно ковылял по побережью, расправляя слипшиеся от морского ила перепончатые крылья, отфыркиваясь, отплевываясь и откашливаясь. Крайние головы осматривали окрестность, третья о чем-то совещалась с четвертой, а пятая прислушивалась к их беседе, порой вставляя какие-то отрывистые замечания. Наконец центральная голова оглушительно заревела и выпустила из ноздрей густую мощную струю вонючего серого дыма. Резко запахло серой и тухлыми яйцами. «Нельзя дать ему взлететь», — подумала Валентина, поняв, что через минуту чудо-юдо полностью очухается и начнет пыхать огнем, испепеляя все вокруг. «За мной, ребята! — оглянувшись на свое верное войско, закричала она, занося меч над

головой с прицелом рубануть что есть мочи по центральной, самой мерзкой харе Змея Горыныча, над которой кровавыми буквами дрожало и полыхало, приближаясь, ненавистное слово **ИМИДЖМЕЙКЕР**, и изо всех сил вдавливая шпоры в конские бока. — Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, быстрее! Быстрее, чего спишь?!..»

— Спишь? — человеческим голосом отозвался конь, оттолкнувшись копытами от обрыва и полетев в голубую пустоту небес, сливавшуюся с бездонной синевой морского разлива. — Спишь?..

Валентина клюнула носом, тряхнула головой, проснулась, — одновременно от толчка и вопроса, — и повернула голову на голос. Рядом с ней сидела приятная молодая девушка, — совсем молодая, слегка за двадцать, с правильными чертами немного крупного лица, которому не давали сделаться круглым высокие твердые скулы, румянощекая, с добрым, словно бы детским ртом и открытым взглядом ясных серо-голубых глаз. Русые волосы ее были подстрижены каким-то странным образом, — казалось, что она сама взяла ножницы и, недолго думая, отрезала косы чуть пониже шеи, а заодно и смастерила себе челку, отхватив ее прямо надо лбом. Волосы, впрочем, не смущаясь, вились смелыми наивными кудряшками, радуясь своей свободе.

— Спи-ишь? — певуче растягивая слово, еще раз повторила вопрос девушка Валентину, обращаясь к ней запросто, будто они были подругами детства. — Просыпайся, поехали, Валька уже ждет.

— Куда? — не успев спросонья удивиться, машинально спросила Валентина.

— Так на аэродром, на Ходынку, — с неожиданным оканьем по-прежнему просто ответила девушка, словно бы напоминая Валентине о сто раз говоренном и переговоренном деле.

— Зачем? — также тупо задала Валентина следующий вопрос, начиная приходить от странной ситуации в легкое замешательство.

— Так полет-то сегодня, — развела девушка руками. — Без тебя же никак. Мы же обещали. Я обещала, а значит, и ты тоже.

Валентина закрыла глаза, шумно выдохнула через нос воздух, помассировала указательными пальцами виски, чтобы проснуться окончательно, а затем поднялась со скамейки и покрутила головой, выискивая, нет ли поблизости полицейской машины, — вряд ли эта милая мошенница потащила бы ее куда-нибудь силком, но присутствие полиции все же не помешало бы. Полиции, конечно же, рядом не оказалось. Она решительно двинулась вперед, но на втором шаге стопа вдруг странно подвернулась, вываливаясь из обуви. Валентина невольно посмотрела вниз: на ее ногах вместо любимых походных темно-вишневых туфель европейского фасона, — соблюдение анатомических норм стопы, универсальное сочетание функциональности и качества! — красовались остроносые, серые в белую крапинку лодочки, украшенные большими тяжеловесными бантами. Над этим лаковым великолепием колыхался подол платья, — веселенький небесно-голубой сатин с рассыпанными по просторам ткани букетиками ромашек. Платье было выходным нарядом бабушкиной молодости. Валентина отыскала его на верхней полке шкафа, выклянчила себе, клятвенно пообещав носить, и, действительно, носила лет пять, с восемнадцати до двадцати двух, — на родине как демонстрацию независимости от диктата зарайской моды, а в Питере в качестве винтажа. Лодочки-корытца были первой обувью, которую Валентина купила себе самостоятельно в шестнадцать лет.

— А помнишь, сколько ты за ними стояла? — спросил из-за спины все тот же окающий, звонкий, как колокольчик, голосок. — Три часа. А потом год мучилась, пока разносила

Это было чистой правдой, — очередь в универмаге «Зарайский» спускалась со второго этажа на первый и выплескивалась за порог входной двери. Честно пройдя весь путь и оказавшись в обувном отделе, Валентина лоб в лоб столкнулась с ужасающим фактом, — сороковой размер как малоходовой не завезли. В отчаянии она схватила тридцать девятый и носила туфли, стиснув зубы, подобно Золушкиным сестрицам, натирая кровавые мозоли на пятке левой ноги и большим пальце правой.

— У меня тоже вечно с обувкой проблемы были, — нараспев (*на очень знакомый распев!*) продолжил голосок. — И роста я тоже ужасно стеснялась, — все думала, кто ж меня, версту коломенскую, замуж-то возьмет? Мамка все смеялась, — вот, говорила, ты глупая, не понимаешь, что среди

других девок тебя первую заметят.

Валентина медленно повернулась и еще раз, с нарастающим внутренним напряжением, оглядела оказавшееся совсем рядом лицо, знакомое до какой-то глухой боли за грудиной, кажущееся почти родным, но как бы позабытое

— Ну, — улыбнулась девушка, кладя Валентине руки на плечи, — признала, что ли? Иль все еще нет? Вейке, кавто, колме, нили?..²⁰

— Мужики коров доили, — механически закончила Валентина детскую считалку, с которой в деревне начинались все детские игры, — прятки, вышибалы, казаки-разбойники.

— Ну вот видишь, а ты в милицию собралась. Пошли скорей, Валька уже там психует, небось, ибо время близко. Он же нетерпеливый, — страсть! — девушка ухватила Валентинину ладонь и повелительно, словно ребенка, набирая шаг, полубегом, повела ее налево, где за садиком, на тротуаре, стоял болотного цвета странный джип без верха, а возле него подпрыгивал высокий темноволосый парень, призывно махая им рукой. Идти было ужасно неудобно, — злосчастные лодочки резали и натирали ступни во всех возможных местах, и Валентина успела искренне удивиться тому, как она вообще ухитрялась передвигаться в этих испанских сапожках?..

Автомобиль, действительно, оказался джипом, но русским, а точнее, советским, — это был газик какой-то древней модели. Брезентовый верх был снят, передние двери тоже отсутствовали.

— Ну и где вы ходите-бродите?.. — накинута на них томившийся у газика парень. — Тебя, Валька, только за смертью посылать, — никогда не умрешь, вечно жить будешь!..

Он подошел к Валентине вплотную, и она внутренне ахнула от той мягкой и в то же время сильной мужской красоты, которая была ему дана прихотливой комбинацией генов, — с этого абсолютно правильного лица с оживленными, блестящими карими глазами можно было смело лепить Аполлона и выставлять в музеях современного искусства. Аполлон, в свою очередь, также восхищенно смотрел на Валентину.

— Ежкин кот! — запуская ладонь в довольно длинные, зачесанные назад волосы, воскликнул парень. — Вот рассказали бы, так не поверил, — как две капли воды! Как две ягоды! А у тебя родинка под левой лопаткой тоже есть?

— У нее под правой, — опережая Валентину, ответила ее свежее испеченная знакомица (*незнакомица?*). — И вообще, ты давай полегче. Она еще боится, — совсем напугаешь.

— Учайкин, — подавая руку, скромно представился Аполлон. — Валентин.

— У меня под левой, — сама того не желая подтвердила Валентина, с каким-то внутренним трепетом пожимая его руку. Свое имя она произнести не успела, поскольку откуда-то сбоку, как будто из-под капота газика, как чертик из табакерки, внезапно выпрыгнул пожилой седовласый то японец, то ли китаец, то ли кореец, — в общем, самураец, как собирательно называла данные народы эльзасская Вика, — и набросился на них столь радостно, словно они были друзьями с первого школьного звонка.

— Wonderful!.. Great!.. It is super!..²¹ — подсакивая от восторга, словно колобок на коротеньких ножках, с придыханием приговаривал самураец. — Can I make one photo, please?..²² — он умоляюще вытянул вперед мощную трубу объектива то ли «Микона», то ли «Кэмона», с помощью которого можно было, вероятно, успешно фотографировать даже впадины на луне. — Jast one!²³ — в доказательство правдивости своих намерений он приставил к объективу сухонький указательный палец, уже несколько скрюченный от артрита.

По губам Валентина пробежала какая-то странная шальная усмешка, и аполлоново благородство его лица на несколько секунд сменилось буйной страстной красотой Ваньки Каина.

— Так и быть, товарищ, — подмигнул он самурайцу, — окэй, как говорят у вас на диком западе.

20. Раз, два, три, четыре (зарайск.).

21. Чудесно!.. Великолепно!.. Это супер (англ.).

22. Могу ли я сделать одну фотографию (англ.).

23. Только одну (англ.).

Но только джаст ван,²⁴ — исключительно из уважения к великой китайской стене. Девчата!

Он молниеносно развернул Валентину лицом к восточному (или все-таки западному?) фотографу и легко обнял ее за талию. Подчиняясь его движению, Валентина также положила свою руку ему за спину и наткнулась на маленькую, нежную женскую ладошку, — значит та, другая Валентина, тоже стояла рядом, справа.

— Smile, please!²⁵ — завопил самураец и, прицелившись в объектив своей камеры, словно в оптическую винтовку, защелкал потоком непрерывных вспышек, как заправский папарацци. Валентина вытянулась в струнку и с приклеенной на лице улыбкой заворуженно уставилась на макушку самурайца, которая жила отдельной от хозяина жизнью, как заячья шубка отдельно от зайца, — с каждым кадром макушка темнела, стремительно теряя седину, словно кто-то невидимый без остановки сыпал и сыпал в соль черный перец, пока не усыпал им всю голову заморского гостя.

— Э, э, дядя, — укоризненно сказал наконец Валентин, — ты же обещал джаст ван, а сам уже штук твенти²⁶ нащелкал. Вот как вам после этого доверять, а? Все, хорош, — стоп ит,²⁷ я говорю!

Самураец склонился в почтительном полупоклоне, а когда распрямился, то Валентина увидела, что перед ними стоит уже не самураец, а его сын, — с тем же самым самурайским лицом, но уже без морщин и сморщенной печеной кожи шеи, прямой спиной, расправленными плечами и на пару сантиметров повыше ростом! Аккуратными семенящими шажками сын самурайца подбежал к ним и, вновь помахав указательным пальцем, уже здоровым и прямым, словно один из волхвов, протянул им фотоаппарат, которого Валентина не видела, наверное, уже лет двадцать, — полароитовский «Котак»! Продолжая волхвовать, самурайский сын хитро подмигнул всей троице, которая так и стояла полуобнявшись, и торжественно нажал на верхнюю кнопку. Аппарат послушно запищал и принялся печатать.

— Jast one for You,²⁸ — с улыбкой дипломата произнес самурайский волхв, протягивая блестящую карточку Валентину.

— Вот ведь ежик кот! — с детской радостью воскликнул тот, рассматривая фото. — Ведь сумели же сделать же сказку былью, сукины дети! Ну да ладно, мы тоже не лаптем щи хлебам, мы вам еще нос-то утрем, не сомневайтесь!..

Не слушая его, Валентина смотрела на картинку, с которой на нее, в свою очередь, смотрели два ее собственных лица, две Валентины, — слева и справа от Валентина, — высокие, веселые, с кудрявыми короткими волосами и круглыми молодыми щеками. Только на левой было голубое сатиновое платье, а на правой — темно-вишневая



24. Только одну (англ.).

25. Улыбочку, пожалуйста (англ.).

26. Двадцать (англ.: twenty).

27. Прекрати это (англ.: stop it).

28. Только одна для вас (англ.).

широкая юбка и блузочка нежно-персикового цвета. Валентина скосила глаза и убедилась, что «Полароит» не соврал и зафиксировал даже белые носочки, которые вместе с черными ремешками туфелек, застегнутых на круглые пугови, придавали правой, другой Валентине полу-школьный, невинно-кокетливый вид.

— Ну хватит дурака-то валять, Валька! — топнув этой самой туфелькой, нетерпеливо сказала ее двойняшка. — Мы опоздаем с твоими забавами, поехали уже! Вот отстранят тебя от полетов, вернут на прыжки или вообще на катапульту сошлют, — выучишь тогда слово дисциплина...

— Поехали, поехали, не сердись, моя курочка, — засовывая фотографию в нагрудный карман рубашки и садясь за руль, примирительно сказал Валентин. — Садитесь, цыпы, чего мнетесь, как неродные?..

Валентина (другая!) подтолкнула Валентину, и она, сама не понимая как и зачем, послушно забралась на заднее сиденье, обитое необычным розовым плюшем. Газик лихо развернулся и поехал в сторону Трубной площади, откуда Валентина пришла не более часа назад.

— И вот вечно он такой, — жаловалась с переднего сиденья Валентина (другая). — Все шуточки-прибауточки, никогда ничего серьезно не скажет. Я чуть за другого замуж не вышла из-за его заскоков!..

— Это за Кольку-то Масинькань? — засмеялся Валентин. — Да ни в жизнь бы ты за него не пошла.

— А вот и пошла бы! — негодуяще фыркнула Валентина (Другая). — Вот ты бы на денек еще задержался, и ей-Богу бы вышла!

Они подъехали к пощади и остановились на светофоре, собираясь повернуть налево. Валентина зашарила взглядом, отыскивая памятник, но ни столпа, ни архангела, ни змеи, обвивающей копьё, на прежнем месте не было. Не было и лощеного бизнес-центра, два часа назад сверкавшего на солнце голубыми стеклами, словно гигантский зеркальный окунь чешуей. Не было вообще самого места, хотя, тем не менее, это была именно Трубная площадь, о чем свидетельствовала табличка на углу длинного и высокого прямоугольного здания, унылость которого не могла развеять даже череда ребристых острых колонн, между которых прятались темные стекла окон. Светофор мигнул зеленым. «Дом политпросвещения», — успела Валентина на повороте рассмотреть табличку, мелькнувшую в глубине центрального подъезда. В следующий момент она подумала, что по пути к Трубной не увидела ни кофейни, в которой утром Помидора Володечку шарахнуло инфарктом, ни памятника клоунам пред цирком.

— Мы же с ним какая-то родня дальняя на киселе, — не давая обмозговать перемены, повернулась к ней Валентина Другая. — По прадедам, нет, еще дальше. Но оба Учайкины. В общем, мой прапрадед в Архангеловском остался, а его в соседнее Ущупово к барину в дворовые забрали, — говорят, уж больно красив был с малолетства, барыне приглянулся. Ну, видать, правда, — вон этот шут гороховый каким красавцем выросло, глаз не оторвать! В одной школе в Ущупове училась, только я помладше была, так что и заглядываться-то на него не смела. Любовь-то у нас потом уж случилась, после школы, точнее как, — я еще училась, а Валька уж в колхозе работал. У них в Ущупове клуб был, из церкви переделанный, и там кино крутили. И вот, значит, перед осенью, а не то и в сентябре уже, да нет, в августе, но картошку уж выкопали, — привезли туда новую картину. Я у мамки десять копеек выпросила и бегом в клуб. Стоим, значит, перед показом-то с девками, семки щелкаем, а тут этот проходит, а я его с зимы, что ль, и не видала. А тут как посмотрела, — батюшки мои, матушка родная, — какой Валька видный-то стал! И он на меня посмотрел, — да так внимательно! Ну тут со мной натурально в один момент любовь-то эта ужасная и случилась. Сердечко в груди бьется, ноги дрожат, — еле до места своего дошла. Фильм смотрю, а понимать ничего не понимаю, — соседки смеются, и я смеюсь, они вздыхают, я и вздыхаю. Что за кино-то тогда крутили, Валь, ты помнишь?

— «В шесть часов веера после войны», — не поворачивая головы ответил Валентин, с легкой улыбкой слушавший откровения своей подруги.

— Ну, может, и так — согласилась Валентина Другая, — вот ей-Богу, не помню! Кончилась, значит, картина-то, домой надо, мамка ругаться будет, коли к ужину не поспею, а не могу уйти, вот не могу и все тут! Иду себе, значит, так медленно-медленно, уж медленней и не бывает. От подружек отстала, — говорю, нога болит. А этого все равно нет и нет! Как зашла в лесок, — у нас

между деревьями лесок лежит, — так чуть от досады не заревела! Вдруг слышу бежит сзади кто-то, смотрю, — Валька топаёт! «Решил, — говорит, — тебя проводить, — уж темно становится, не ровен час медведь вылезет». — «Ну, — говорю, — проводи, — хоть медведей у нас уж лет сто никто не видал, и до темна-то еще час с лишним». Он на меня — зырк! — да так строго как-то. Ой, думаю, вот дура-то я дура деревенская, чего брякнула, зачем! Ну, идем, значит. Молчим, — на меня такой страх после этого медведя напал, что язык к небу прилип. И этот, зараза, молчит, — тоже, видать, слова растерял! Тут на наше счастье самолет в небе пролетел. Ну, мы головы задрали — смотрим. И вдруг этот спрашивает: «А слыхала ты, Валя, о комсомольцах-стратонавах, — Федосеенко, Усыскине и Васенко? Они побили мировой рекорд высоты». Я от неожиданности, конечно, удивилась, но думаю, ладно, — хоть чего-то родил. «Как же, — отвечаю, — не слыхала, если мамка моя родная как раз в Потижском Острого родилась, возле которого этот самый стратостат и повалился. Мы к ним до войны, когда тятка живой был, ездили на колхозной подводе, — его за ударный труд тогда поездкой премировали. Вот дядь-Степан, мамкин брат, вечером тятке и рассказывал, как его этих самых стратонавов из шара вытаскивать привлекали. Побились они, говорили, сердешные, — страсть!.. На одном живого места не было. И шар поплющило от удара сильно. Их же после этого случая и переименовали, — были потижские, а стали усыскинские». Этот, вижу, не ожидал, что я знаю, но вида не подает. «Их, — говорит, — как Икара, погубило солнце Я, говорит, очень много думаю об этих стратонавах, — даже стихи о них сочинил». Ну, тут я второй раз удивилась, еще сильнее. «Стихи?.. — спрашиваю. — Не врешь? Ей-Богу?» А этот мне, как учитель: «Комсомольцы, — говорит, — Учайкина, божиться не должны. Могу прочесть, коли не веришь». — «Прочти! — говорю. — Я страсть как стихи люблю, особенно про любовь! Но и про революцию тоже люблю. И про Ленина. Ступени растут, разрастаются в риф, но вот затихает дыхание и пенье, и страшно ступить — под ногою обрыв — бездонный обрыв в четыре ступени».

— Это разве про Ленина? — скептически перебил покрасневшую от воспоминаний Валентину Другую их водитель.

— Про Ленина! Ей-Богу, про Ленина, честное комсомольское! Если ты уроки литературы прогуливал, я не виновата. И вообще, не встревайся, сбил меня. На чем я остановилась?.. Ну вот... Да... «Так прочитать?» — значит, спрашивает. «Читай, — говорю, — конечно!» Он, значит, заволновался весь, — побледнел, зубы стиснул, аж желваки заходили, потом голову отвернул и давай так, с выражением прям:

Когда-то разбилось об острые скалы
Прекрасное юное тело Икара, —
Растаяли крылья его восковые,
Сложили легенды о нем вековые,
Сквозь сказки и песни, и давние были
О дивном полете его не забыли.
Я знаю людей, современников наших,
С сердцами Икара, с его же бесстрашьем!..

Валентин восхищенно прицокнул языком:

— Вот если б ты так формулы запоминала, Учайкина, — а? Если б ты хоть выучила, что эф равно гэ эм эм на эр-квадрат и поняла, что это значит.

— Потом вдруг остановился так резко, — не обращая на него внимания, увлеченно продолжала Валентина Другая, — замялся, покраснел, смотрю. «Ну и там дальше, — говорит, — много еще... Как летели, как разбилось Я думаю, что скоро построят такой стратостат, которому ничего угрожать не будет, даже солнце. А ты бы со мной полетела на таком стратостате?» Остановился, подошел ко мне так близко-близко, совсем близехонько и смотрит прямо в глаза! И тут охватило меня такое какое-то чувство, как в детстве, когда с горки на санках катались, — и страшно, и весело, и снежную пыль ртом хватаешь, и все остальное неважно, хоть мир перевернись! «Я, — говорю, — с тобой хоть на стратостате, хоть на самолете, хоть на седьмые небеса!»

Газик резко завизжал тормозами, останавливаясь на красный свет. За перекрестком возвышался старинный трехэтажный особняк с лепниной из колосьев; на крыше особняка была прилеплена синяя вывеска с надписью **ИГРОВОЙ КЛУБ** и белой стрелкой, указывающей вниз, на портрет жестяной козырек, прикрывавший ступеньки, ведущие в полуподвал. Справа от этого скворечника располагалась еще одна дверь, украшенная желтой вывеской **ОБМЕН ВАЛЮТЫ**. О том, что за дверью действительно занимаются заявленными операциями, свидетельствовали

и цифры на табличке в окне, поставленные рядом со значком доллара: «Продажа — 5050, Покупка — 5080». Рядом с окошком прохаживался огромный мужик в малиновом пиджаке, что-то свирепо выговаривавший своему абоненту в прижатую к уху ярко-желтую трубку с торчащим проводком антенны. «Урою стукача... рамсы попутал... падла рябая... стрелу забивай... бочку и санчеса беспалого...», — ярость малинового пиджака была столь велика, что перелетала даже через широкий перекресток, рассыпаясь щедрыми осколками нецензурной лексики. Рядом с пиджаком, покачиваясь на острых и тонких каблуках, нервно курила высокая девица с прической из соломенного блонда, пережженного мелкой химией до кудерьков комнатной болонки. На ней красовалось мини-платьице цвета ядовитой фуксии, длина которого едва прикрывала причинное место, а глубина декольте обещала воплощение самых смелых фантазий. «На Советскую приезжай!» — потеряв терпение, рявкнул пиджак, схлопывая трубу и разворачиваясь в сторону ступенек, уводящих род людской в игровой рай (или ад?...). Болонка преданно засеменила за хозяином. Не дожидаясь зеленого, мимо их газика по левому ряду, мигая сине-желтыми лампами и утробно завывая сиреной, пролетела замызганная, несмотря на лето, белая Лада-семерка, обведенная по бокам синей полосой, с которой на прохожих глядело строгое слово **МИЛИЦИЯ**. Из стеклянного стакана с надписью **ГАИ**, установленного на круглой ноге-трубе слева за перекрестком, высунулся постовой в фуражке с красным околышем и отчаянно замахал полосатой палкой, запоздало пытаясь затормозить соблюдающие правила дорожного движения автомобили. К счастью, вспыхнул зеленый, и Валентин так же резко рванул вперед. Валентину отбросило на плюшевую спинку сиденья. «Но где же евро, и что это вообще за курс?...» — мелькнула в ее голове запоздалая мысль.

— Проводил меня в тот вечер до околицы, а потом все, — нету и нету. Пропал. День жду, второй жду, третий жду, а через неделю узнаю, что в Ущупове призыв уж прошел и теперь, значит, наших архангеловских парней очередь. Тут я, значит, только и сообразила, что уехал Валька на два года, а что через два года будет, — один Бог ведает. Ну поревела-поревела, а потом думаю, — ладно! Два года — не срок, мамась вон тятю два года с финской ждала, а после четыре с немецкой, пока похоронка не пришла и не осталась она в вечных вдовах нас вытягивать. Подожду и я, чай, не поседею. И стала, значит, ждать... Год прошел, а от этого ни слуху, ни духу, только через пятого-десятого, от брата к свату узнаю, что Вальку Учайкина за успехи в службе и политическую грамотность взяли в парашютные части при нашем же Юрюзанском летном училище. Вот ведь, думаю, поганец — ведь совсем рядом, мог бы и в отпуск выпроситься. А может, думаю, и выпросился, да только в отпуск-то ходит к какой-нить крале городской, у которой ручки чистые и губы накрашенные! А я тут его жди, как дурочка последняя! А тут как раз и школа закончилась, и пошли подружки-то мои замуж выходить, — то одна, то другая. Мамка меня вроде не торопит, потому как остальные-то сестренки меньше меня, и я работница главная, но чувствую, — что-то да будет! И точно, — на Покров заявляется Кольки Масинькань дядька с Псянь-бабой, сватьей нашей деревенской, сватать меня за Кольку. Ну, мамась им, — пасиба, кортан, уважемик, но зряви думамс. «Вант, — корте тень, — Валька, Колясь аванзо вейке цера, кармат кудосост прявттокс, парыят лангозот машнеме а кармить. Да истякак сон а озорной, а тюрица, пансимат а мень кисы а карми».²⁹ И так она, милая ты моя Валечка, своими речами меня растрожила, что я всю ту ночь не спала, — все думала, мож, и вправду за Кольку замуж пойти?... А наутро почтальонша наша, Галай Марька, письмо мне приносит: Учайкиной Валентине Ивановне от Учайкина Валентина Петровича! Вай верепаз,³⁰ — у меня ажно руки затряслись! Открываю я, значит, этими дрожащими руками конверт, вытаскиваю письмо, а там на листке всего четыре строчки:

**Об одном лишь тебя я молю —
Будь суровой и даже безжалостной:
Драгоценное слово «люблю»
Сбереги для меня, пожалуйста.**

И подпись:

Навечно преданный тебе В. Учайкин.

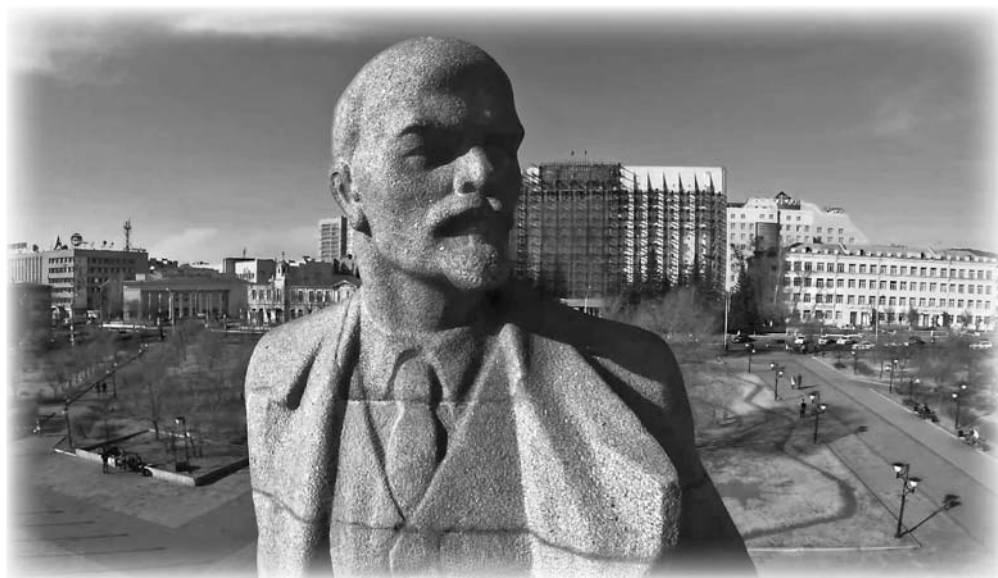
Валентина терпеливо кивала головой в такт нелегкой истории счастливой любви, наблюдая

29. Спасибо, мол, за честь, но подумать надо. «Смотри, — говорит мне, — Валька, — Боря-то у матери один сын, будешь в доме хозяйкой, золовки шипеть на тебя не будут. Да и так он вроде не озорник, не драчун, гонять тебя не будет попусту» (зарайск.).

30. Боже ты мой (зарайск.).

как коробки таксофонов на бульварах сменяются телефонными будками с увесистыми дисковыми аппаратами, в щели которых она сама когда-то (неужели?) засовывала маленькие двухкопеечные монетки, а скопления уличных ларьков, выставляющих на обозрение ряды прозрачных бутылок с разнообразными пестрыми этикетками (от восторженного белоголового орла до подмигивающего хитрым глазом Распутина), тают, уступая место хаотичным блошиным рынкам, в толкучке которых продавцов было трудно отличить от покупателей, — все назойливо и отчаянно совали друг другу колготки, разноцветные ситцевые халаты, пучки петрушки и укропа, дерматиновые ботинки с блестящими наклейками, сапоги из искусственной змеиной кожи, тюбики губной помады и коробочки палеток, семечки, отвертки и шурупы, колеса, одеяла, занавески, доски, видеокассеты и прочие насущные товары. Один мужичок насквозь пропитого вида в кепке блином, прикрывающей засаленные седые патлы, стыдливо приоткрывая пиджак перед двумя подростками с острыми панковскими хаерами в полметра высотой, демонстрировал им нечто, весьма напоминавшее обрез. Рядом с приценивающимися к огнестрельному оружию панками топтались две девицы в одинаковых кожаных мини-юбках, черных сетчатых колготках, с одинаковыми мега-начесами на выкрашенных в иссиня-черный цвет волосах, в которых, как в стогу сена, были зарыты бледные пятна круглых лиц с сиреневыми ямами глазниц и фиолетовыми провалами ртов. Подружайки явно дожидались конца акта купли-продажи, чтобы предложить храбрым любителям панк-рока свою любовь, — то ли по душевной симпатии, то ли просто за деньги. Барахолка кончилась и перед взором Валентины возникло массивное серое здание этажей в семь, с бесчисленными однообразными плоскими окнами. По центру здания, спускаясь с пятого до второго этажа, висело огромное полотнище, с которого на москвичей и гостей столицы внимательно смотрел вождь мирового пролетариата, торговавшего за углом всякой дребеденью. Портрет, видимо, в силу стремления художника преодолеть границы стандарта, шаблона и и предсказуемости, был выполнен в палитре красного цвета, — от кирпичного до алого, — и замысел, действительно удался: глаза Ильича были словно налиты кровью, а сочные красные губы складывались в ухмылку вампира, только что выпившего литра два свежей качественной крови. Не успела Валентина вздрогнуть, как портрет, словно видение, исчез, сменившись желтыми корпусами завода, увенчанного частоколом дымящихся труб. **СЛАВА ТРУДУ!** — гласила растяжка на самом верху, союз *славы* и *труда* был скреплен печатью из перекрещенных серпа и молота: внизу же, рядом с проходной, на желтой стене виднелась надпись *Modern Toking*, старательно выведенная круглым полудетским почерком.

— Ну, думаю, — слава тебе Господи! — приложив ладонь к щеке, напевно вскрикнула Валентина Другая. — Не привиделось мне и не почудилось, — любит меня Валька, как я его. Теперь, думаю, достанет сил дожидаться. Ну стала опять ждать. Жду-жду, каждый день письмишко перечитываю, уж все замусолила. А этот антихрист, Колька-то Масинькань, Фахтины их фамилия, повадился за мной ходить, — и ходит, и ходит, и долдонит, и долдонит про свою любовь невозможную. Пойду



вечером воду таскать, а те шайтянось ванстосамам и педи тень, пока курцям плеча лангсо а пане-ви кодаяк. Моли удалом кавтошка шаганка, и корты-корты, монень толкови апак лотксе, что мон, кортэ, илязан капша, Валентина, мере накой капшама, ков тон туят курцямарто и пешксе ведь ведра марто, сон апак капша евтне, кода пек монь вечксамам, и кодамо минек сонзэ марто карми улеме вечкамонок, и кодат минек улить виевть эйкакшонок, а минек эйкакштнень кодат вадрят виевть кармить улеме нуцкаст, а мон стараян велявтомс, штобу меремс берянь вал эли варштамс лангозонзо кежейстэ, но ков велявтат, коли курцясь плеча лангсо стака и прят пек а велявтови, а пока мон велявтан, пока мон ведрам марто велявтан, сон карми седе бойка чиеме и кенери мельгам велявтомо, и зяро мон а велявтнян, сон пачк кенери стямс монь копорь удалов и кортэ монень, давай велявтнек, монень те паро мельс, потомушта, васня, варштат монь лангс, а главной, омбоцедде, седе кувать эйсем кунсолат и кармат паломо вечкеманть эйсте, а мон секс и салынь тонь панарот и палят сестэ, авуль чарамсто, а штобу седе кувать кортамс тонь марто, потомушто тон эзить карма, пока мон эзинь уряда решительна тонь палят и панарот ундопотс, и сестэ минь тонь марто кувакасто кортэнек, потомушто тонеть ведь потсто тьемс а ков, а уемс палявтомо и панартомо тон а кармат, и секс тонь прят ведьстэ неявиоль и, козонь туят, монь лангс ваныть и эйсэм кунсолить. Кружатанк, кружатанк, а мейле мон молян икелев, потомушто монень эряви ведесь кандомс, и пек кувать мон а кружаван, сизян, и мон молян икелев, а пстидемс сонзэ монень а тееви, потомушто ведь ведрась стака, и пильгем венемить, и вейке пильге лангсо тесэ а криньдвятневат хоть кодамо вий марто, и секс мон аламодо аволдакшнан пильксэ и курооксто сонзэ путан тарказонзо, штобу а прамс. А те колода гуесь грехс эйсэм вети, секс мери вечкеманть эйстэ курцятка стамбарсто а неявиови тень, варштан курцят лангс и как тол ниян, — васня курго потсом пси и коське, мейле кирга парьцем паломо карми, мейле седем карми паломо, а мейле моньсь весе палан.³¹

И так он меня с панталыку сбил, что совсем я запуталась, и пингем монь кармась пекень берянь, — ежолгадан, мезеяк эряви теемс и илыкемдак арась, штобу истя молезэ.³²

Думаю, — да вернется ли Валька-то? А ну как не вернется И начну на Вальку злиться, и злюсь, и злюсь, а Кольку уж вроде как и жалко, недостойного...

Мимо газака, с левой стороны гордо протарахтел мотоцикл «Урал», в точности такой, на котором летом отец возил Валентину с матерью и Илюшкой из Урузья в деревню: мать садилась сзади, одетая в двое спортивных штанов и старую, болотного цвета синтепоновую куртку, которую, кроме поездок на «Урале», надевала лишь для рытья картошки, а Валентинку и Илюшку сажали в люльку, завернув, подобно кочанам капусты, в слои разного старого тряпья, от кофт до пальтишек. На голове у Валентинки красовался настоящий взрослый мотоциклетный шлем, одетый поверх теплой осенней шапки; Илюшка же для шлема был еще мал, поэтому мать, под протестующие вопли и негодующие визги, натягивала на его головушку зимнюю ушанку из искусственного рыжика-пыжика. Пассажиры этого московского «Урала», видимо, тоже ехали

31. А этот нехристь подкараулит и пристроится, пока коромысло на плечах, и не отогнать его никак. Идет сзади шагах в двух и все долдонит, все неторопливо мне объясняет, что ты, мол, не торопись, Валентина, потому что зачем торопиться, куда ж ты убежишь с коромыслом и полными ведрами, неторопливо объясняет, как он сильно меня любит, и какая у нас с ним может быть сильная любовь, и какие у нас пойдут сильные дети, а у наших детей какие будут замечательно сильные внуки, а я все пытаюсь обернуться, чтоб ему неприятность сказать или хоть глазами на него сверкнуть, но куда же тут обернуться, когда коромысло тяжелое на шее и голову — то не особенно повернешь, а когда пытаюсь целиком вся развернуться, то пока со своими ведрами разворачиваюсь, он вполне успевает прибавить шаг и разворачиваться вслед за мной, так что сколько я ни вращаюсь, он вполне успевает вращаться за моей спиной и говорить мне, что ты повращайся, мне это нравится, потому что, во-первых, внимание мне оказываешь, а главное, во-вторых, подольше меня послушаешь и лучше проникнешь ко мне чувством любви, из-за которого я унес твои платье и рубашку тогда, вовсе не из-за хулиганства, а чтобы иметь с тобой возможность подольше поговорить, потому что ты мне этой возможности не давала, пока я не спрятал решительно твоё платье и рубашку в дупло, и тогда мы имели с тобой обстоятельную беседу, потому тебе из воды деваться было некуда, а уплыть от платья и рубашки ты тоже не могла, и поэтому голова твоя из воды торчала и, хочешь не хочешь, на меня глядела и внимательно слушала. Поворачиваемся, поворачиваемся, а потом я иду дальше, потому что мне надо нести воду, и очень долго я вращаться не могу, утомляюсь, и я иду дальше, и лягнуть его у меня тоже не получается, потому что вода в ведрах тяжелая, и ноги выпрямляются, и на одной ноге тут не поскачешь ни при каком здоровье, так что я только чуть-чуть брыкну ногой и поскорей ставлю ее на место, чтобы целиком не упасть. А этот змей подколодный все обольщает, что не могу от любви к тебе даже спокойно видеть коромысло, посмотрю на него и будто огонь проглочу, — сначала во рту горячо и высыхает, потом в горле жечь начинает, потом сердце вспыхивает, потом уже весь горю (зарайск.).

32. И жизнь у меня стала отвратительная, — чувствую, что что-то делать надо и невозможно мне, чтобы так продолжалось (зарайск.).

на дачу: девочка в люльке окинула Валентину равнодушным взглядом, мать на заднем сиденье презрительно поджала губы, а отец, крепкий мужичок в старой, уже тесноватой ему кожанке, захватски ей подмигнул, вырываясь вперед и оставляя за собой струю столь едкого черного дыма, что Валентина чихнула раз, другой и третий. Прочихавшись и открыв глаза, она уже не увидела мотоцикла, — вместо него впереди игриво покачивала голубым квадратным задом новенькая «пятерка» под номером **Р 02-42 МК**. Затем пятерка свернула налево и ее место проскочил оранжевый «Запорожец» с невероятными номерами, выкрашенными черной краской, на которой, как на школьной доске, франтовато красовались белые цифры и буквы:

**70-03
БРЯНСК**

Вглядевшись в движение, Валентина обнаружила, что желтые Икарусы, влиявшие присоединенными черной гармошкой хвостами, сменились тупорылыми полосатыми лизазами и круглоголовыми, словно бы игрушечными пазиками, а тех, в свою очередь, вытеснили дребезжащие кавзы с острыми собачьими мордами с намордниками радиаторов. По встречной полосе прогремел оранжевый «Камаз», казавшийся на внезапно сузившейся улице невероятно большим и мощным, словно Илья Муромец, за ним следовал поджарый спортивный «Зил»; тройцу в качестве Алеши Поповича замыкал грузный «Газ», тяжело качавший усталыми боками ободранной коробки закрытого кузова. Сидевшие за баранками своих железных коней водители, высовываясь из открытых окон, радостно махали трудовыми мозолистыми руками бежавшим по тротуарам девушкам: девушкам, остриженным под пажей или распустившим свои русы косы до пояса свободно развевающимся на летнем ветерке, в расклешенных, дерзко-коротких мини-юбках или джинсах-клеш, легко вышагивающих по мостовой тонкими ногами в босоножках с толстыми увесистыми каблучками или тяжелых туфлях с платформами-манками; девушкам, перекрасившимся в блондинок и брюнеток и закатавшим собственные волосы под чужие шиньоны, гордо несущим на головках вавилонские башни бабетт, стреляющим густыми черными стрелками из-под длинных челок-пони, оправляющим на ходу однотонные платья-футляры или пышные подолы бочкообразных юбок в крупный горох или полоску; девушкам, взволнованно вздрагивающим кокетливым золотистым перманентом, выглядывающим из-под наигранно-скромных шелковых платочков и кокетливых шляпок, поправляемых ручками в изящных перчатках, — белых, голубых, розовых. А девушки, сказочно-прекрасные и недоступно-волшебные, желанные и коварные, смеясь и змеясь, исчезали за дверями своих излюбленных мест обитания, за дверями магазинов: Галантерея — Комиссионный магазин — Универмаг — Универсам — Гастроном — Торгсин...

Девушки, как и машины, исчезали, улицы, как и дороги, пустели... Стремительно пустел город, заливаемый потоком раннего утра, — того самого утра, что красит стены древнего Кремля нежным светом, — тем самым, тонким, трепетным, перламутровым оттенком утреннего солнца, робким, девственно-чистым румянцем зари, которая еще не в силах полностью справиться с сизым ночным туманом, что расплзался под копытами рыжей кобылки, везущей вместительный деревянный ларь, поставленный на возок с четырьмя большими колесами. Хозяин ларя и того, что скрывалось за его деревянными стенками, — точильный и лудильный инструмент?.. кукольный театр?.. золотарная бочка?.. невыделанные овечьи шкуры?.. — заросший седой щетиной мужик в сдвинутой на нос бурой от старости кепке, сидя на козлах, сладко зевал во весь щербатый рот и, вяло перебирая вожжи, кутался в солдатскую шинель. Валентина почувствовала озноб, пробирающий то ли от холода, то ли от тайного страха, набухающего где-то за диафрагмой. Они проехали станцию метро (к ее величественным колоннам торопливо направлялся военный в подпоясанной ремнем гимнастерке, картинно изогнутых галифе и хромовых сапогах, сочно отливавших свежей ваксой под розовыми перстами Авроры; за ним тяжело топал покрытыми неотмываемой вековой русской грязью кирзачами работяга в фуфайке и котомке за сгорбленными плечами) и внезапно свернули в места вида столь затрапезного и сиротского, каких Валентина не видывала и в родном Урузье: налево пойдешь — колхоз, а направо пойдешь — погост, на обочине — сена воз, поле, роца и пустота. А Валентина Другая все пела, растекаясь по изгибам и излучинам своей любви и судьбы:

— Так вот, родненькая ты моя Валечка, второй год прошел в тоске напрасной, и не стало сил, высохла ажно вся. И вот, значит, лето кончилось, дожди уж полили, пошла я как-то поутру свиней кормить. Покормила, стала хлев чистить, убираю и думаю обо все об этом. Думала-думала, и вдруг решила, что все, — хватит, истомилось мое сердце! Коли не объявится Валька до конца сентября, то выхожу за Кольку замуж, иначе удавлюсь с тоски. Решила, — и прямо полегчало сразу. И что ты

думаешь, — от напряженности момента Валентина Другая повернула к Валентине горящие синим огнем, чуть раскосые зарайские очи, — что ты думаешь? Выхожу во двор, а там Валька стоит, да такой Валька, что ни в сказке сказать, ни пером описать! В сером костюме, галстук такой темно-синий, с искоркой, в руках белый плащ, на ногах ботинки лаковые черные, а на голове шляпсы! Истинной фетровой шляпсы! А я-то босая, с грязными ногами, пулай старый-престарый, дыра на дыре заплатой прикрывается, на голове платок доильный, весь коровьим хвостом исшорканный. До того я от неожиданности и сраму обомлела, что ведро из рук выронила, а оно к его ногам и покатилося. И так, значит, стоим и смотрим друг на друга. Потом Валька ведро поднял, в сторонку отставил, шляпу снял и ко мне подходит. Посмотрел на меня, — да как будто не в глаза, а в самую душу заглянул, — а потом как заулыбается! «Ну, — говорит, — собирайся, Валентина, да поживее, — времени у нас с тобой в обрез. Айда ардотанк»,³³ — «Те ков жо»,³⁴ — я говорю, не говорю, нет, — шепчу, потому как во рту, как у Кольки, высохло и горло жжет, — арттанк?»³⁵ — «К председателю, — отвечает, — расписываться. Я уж тебе направление на учебу выписал, но расписаться все равно надо, потому как тогда нам комнату в общежитии отдельную выделяют. Так что скорей. Бойка»,³⁶ Валька. Тон пачк истясо бойкат и теят весе пек бойкасто, и тече зряви оште седе бойка». ³⁷ И что ты думаешь? Столько раз я себе представляла, что вот, он приедет, и уж тогда-то я над ним покуражусь, уж тогда посвоевольничаю! Ты, он мне скажет, Валя, лучшая из всех, выходи за меня замуж. А я ему такая: не пойду я за тебя замуж, меня вон Колька Фахтин уж второй год замуж зовет, да я и за него не пойду. Вечкемекс мон тонь вечктян, а урвакстом, — те пек ламо. Оля монь лангсо саят, а мон тень а карман кирдеме.³⁸ И станет тогда Валька меня всю ночь до утра уговаривать: айда урвакстатанк — а мон а молян тонеть, кармак улеме козейкакс монень — а карман тонеть козейкакс, весе урвакскнить — а тон мереть, што мон весе меде вадрян, но мик пек вадрятнеяк урвакстыть — а мон а карман! А тон, сон мери, превтемат: весенень охото урвакстомомс, а тон а бажават — мон а думавтневан, кие тонь марто карми урвакстом, мик истямо прявтомо арась как, кодамуяк превтеме. Арась, сон мери, паротне моньдень молить — ну и урвакст, мон мерян, паротне лангс, раз мон а превеян. Арась, сон мери, тон анцяк вейкестэ а превеят, а остаткасто тон вадрятнестэ парат — мезде, мон мерян, мон седе вадрян весеньдестэ, мезе тон кортнят, евтнек, христа ради. А те, сон мери, пек стака тетъ евтнемс, потомушто мон истямо валт а содан, тонавтнинь аламо — ну, мон мерян, азию и тонавтек, а эряви монень истямо превтеме.³⁹ Тысячу раз я сама с собой все это разыгрывала, наизусть выучила, как оно будет. А как подошел он ко мне и посмотрел на меня, — все враз забыла. Свистнул раз, — и кинулась, как собачонка. В узелок одежонку завязала, мамке две строчки черкнула, сестренку младшую самую поцеловала и к рванули к председателю, — вот на этом самом газике. А к вечеру уж в Юрюзани были.

Они проскакали по буеракам и колдобинам мимо покосившихся избышек на курьих ножках с крылечками, приступочками, завалинками и облупившимися резными наличниками, под которыми махали белыми руками и ногами выстиранные штаны и рубахи, развешенные на веревках. Ямы и провалы на дороге соединялись между собой кусками старой брусчатки, по которой, казалось, хаживали еще наполеоновские солдаты. За поселением выросла промзона, огороженная, видимо, по высокой государственной важности, бетонными блоками, увенчанными кустами колючей проволоки. Свернув еще пару раз вправо-влево, так что Валентина окончательно потеряла ориентацию, они проскочили небольшой пустырь и резко затормозили перед внезапно выросшим шлагбаумом, кривым деревянным тире соединявшим две строчки деревянного же

33. Давай, поехали (зарайск.).

34. Это куда же (зарайск.).

35. Поехали (зарайск.).

36. Скорее (зарайск.).

37. Ты всегда, конечно, проворная и делаешь все как нельзя более быстро, только сегодня надо скорее (зарайск.).

38. Любить тебя люблю, а замуж, — это будет слишком. Полную власть надо мной заберешь себе в голову, а я этого не вытерплю (зарайск.).

39. Иди за меня замуж — не пойду за тебя замуж, становись моей женой — не стану твоей женой, все женятся — а ты сказал, что я лучше всех, но даже самые лучшие женятся — а я не хочу! Да ты, он скажет, ненормальная какая-то: все хотят жениться, а ты не хочешь — не представляю, я скажу, кто это с тобой жениться хочет, просто не могу себе такую дуру вообразить, может, сумасшедшая какая-нибудь. Нет, он скажет, вполне нормальные хотят — вот и женись, я скажу, на нормальных своих, если я ненормальная. Да нет, он скажет, ты только в этом одном ненормальная, а в остальном лучше всех самых нормальных — чем это, я скажу, я лучше всех, что ты заладил, объясни, пожалуйста. А это, он скажет, очень трудно тебе объяснить, потому что слов я таких не знаю, учился мало — ну так, я скажу, ты пойдй поучись, на что ты мне, неуч, в мужья сдался (зарайск.). (Воспоминания Валентины отражены в прозе Н. Вахтина.)

забора, огораживающего от посторонних проникновений то самое место, куда они, по всей вероятности, и ехали.

Валентин повернул посерьезневшее лицо к серой будке, от которой, как от черпала ложки, отходил черенок шлагбаума, и три раза резко надавил на выпуклое основание руля. Газик требовательно загудел.

— А через месяц уж первый раз и прыгнула, — шепотом подвела наконец итог Валентина Другая.

В окошке будки блеснул огонек, и на пороге появилась высокая мужская фигура.

— Привет сталинским соколам! — преувеличенно весело крикнул Валентин. Словно в подтверждение его слов, из нутра будки со шумом и треском, раскатившимся по предрассветным сумеркам, как горох по полу, вылетела довольно крупная серая птица и уселась на плечо привратника, после чего они вдвоем направились к машине. Охранник оказался сухопарым стариком с высохшим худым лицом, неожиданно кустистыми седыми бровями, прикрывающими взгляд глубоко посаженных глаз, и такими же седыми, но жидкими усами. Птица оказалась, к изумлению Валентины, действительно соколом, во всяком случае, имела все обязательные изящно-хищные признаки, — рябая грудка и крылья в темно-коричневых разводах, сильные когти, маленькая аккуратная голова, согнутый в острый крюк клюв и круглые желтые ягоды глаз.

— Пропуск предъяви, товарищ Учайкин, — направляя фонарик прямо в лицо Валентине, скрипучим голосом сказал старик в серо-голубом пиджаке, надетом на выцветшую гимнастерку. Сокол вонзил в Валентину взгляд, столь же острый, как и клюв, и гнусаво-пронзительно взвизгнул, как мартовский кот: хииэээ!..

Валентин, стиснув губы, вытащил из нагрудного кармана рубашки синюю книжечку и протянул ее стражам. Старик принял ее внимательно рассматривать. Сокол вытянул шею и напрягся, словно собираясь кинуться на добычу. Воцарилась густая тишина, не разбавляемая ни звуком мотора, ни человеческим голосом. Секунды текли медленно, словно капли воды с тающей сосульки.

— Ты, Иван Заведеич, каждый раз так мой пропуск разглядываешь, словно проверяешь, настоящий или нет, — не выдержав, наконец прервал проверку Валентин.

— А я, товарищ Учайкин, помню, как ты два предыдущих пропуска потерял, — тут же, как будто того и дожидаясь, охотно откликнулся охранник. — И допускаю возможность того, что если ты по раздолбайскому складу своего характера в третий раз пропуск на объект государственного значения похеришь, то вполне можешь подсунуть мне какую-нибудь филькину грамоту, думая, что я этого по необразованности и старым глазам не замечу.

Валентин резко выпрямился на сиденье и изо всех сил сжал баранку руля, — видно было, что конфликт поколений на пропускном пункте происходит не в первый раз. Старец, важно выпятив высохшие губы и, прищурясь, вновь опустил фонарик в злосчастный пропуск. «Хииее!..» — во второй раз угрожающе взвизгнул сокол. На скулах Валентина заходили желваки.

— Иван Заведеич, — перегнувшись через водителя, миролюбиво сказала Валентина Другая, — ну что ты в самом деле, как ребенок малый, играешься? Знаешь же, небось, что у нас сегодня вылет, — специально, что ли, ему нервы мотаешь? Нехорошо.

— Нам секретную информацию не докладывают, — захлопнул наконец книжечку Иван Заведеич. — А все особо важные испытания и вылеты на нашем аэродроме проводятся точно в шесть часов утра, так что если вы туда торопитесь, то у вас осталось ровно двадцать две минуты, — не глядя на Валентина, он вручил ему пропуск и направился к шлагбауму. — И я, товарищ Учайкина, прямо сказать, до сих пор не уверен, правильно ли поступил, не написав на вашего супруга откровенную докладную, отрывающую вышестоящему начальству глаза на все его геройства.

Просунув руку в окошко будки, блюститель порядка нажал на какую-то кнопку, шлагбаум парализованно затрясся и пополз вверх, открывая газик дорогу на объект государственного значения. Валентин яростно дал по газам, и газик, рванув вперед, взвизгнул вместе с оставшимися стеречь границу соколом: хииииее! Повернув направо, они понеслись вдоль бесконечного ряда серых деревянных ангаров, напоминавших огромные сеновалы или овины.

— Пиши-пиши... писатель... все свои откровения запиши, смотри, чего не забудь, — злобно приговаривал Валентин, упрямо глядя вперед суженными от злости глазами. — Думает, что если у него брат — главный интендант, то ему все позволено. Я вот тоже как-нибудь соберусь и напишу, что его птица мешает машинам нормально взлетать, болтаясь без дела в воздухе.

— Ну что ты мелешь-то, Валька, — не выдержала Валентина Другая. — Он же старый, уже, как сам Заведеич, и полуслепой. Ему уж на человечьи года лет девяносто, где ему там болтаться-то.

— А если старый, то надо идти на заслуженный отдых и не ставить молодым палки в колеса! А ты бы вообще помолчала, заступница, — может, и ты чего напишешь тоже?!.. Вылезайте, приехали, — он затормозил у желтого двухэтажного домика с решетками на окнах. — Десять минут на все про все, — некогда копать! Давай-давай-давай, курица зарайская, — набросился он на Валентину, в растерянности сидевшую на заднем сиденье, — от нее, можно сказать, ход истории зависит, а она тут, видите ли, сидит-высживает! На вот, возьми, — это пусть у тебя будет.

Валентина Другая, уже успевшая подскочить к входной двери с узорчатой чугунной ручкой, обернулась, вытаращила глаза, делая страшную физиономию, и тоже принялась беззвучно приговаривать: давай-давай-давай! Валентина суетливо засунула в сумку небольшой четырехугольный сверток, тщательно замотанный в белое вафельное полотенце, выпрыгнула из газика и кинулась следом за Валентиной Другой. Они взбежали по узкой лестнице на второй этаж, простучали каблуками по вытертому до залысин паркетом коридору и заскочили в последнюю дверь. Навстречу им из-за объемного письменного стола порывисто встала пожилая женщина в белом халате. За ее спиной, над столом в ряд висели три портрета, изображавших Ленина, Хрущева и, кажется, Чкалова.

— Учайкина! — гневно воскликнула женщина, являвшаяся, видимо, каким-то ответственным медицинским работником. — Где вас, простите, черти носят?! Вы мне всегда казались самой организованной и ответственной комсомолкой нашей организации, а в последний момент выкидываете такие фортели! Быстро давление мерить!

— Октябрина Кондратьевна, — миленькая, — давление в норме, — честное комсомольское, — ей-Богу, — не до давления уже, — простите-извините, — колесо по дороге спустило, — вы же меня знаете, — из меня хоть гвозди делай, — лучшие гвозди в СССР будут! — увлекая Валентину к двери в конце комнаты, залебезила Валентина Другая. — Вы там напишите, как всегда, сто двадцать на семьдесят пять, пульс шестьдесят, не срывать же из-за пустяков вылет!

Она втащила Валентину в темное помещение, захлопнула тяжелую дверь, отсекавшую негодующие возгласы Октябрины Кондратьевны, и щелкнула выключателем. Загорелся тусклый свет, и Валентина увидела, что они находятся в какой-то кладовке, где вдоль стен стояли полки с папками, ящиками и коробками, в углах — сваленные кучей голубые и красные баллоны типа огнетушителей, а посередине стояли две скамьи, на которых лежали две аккуратных белоголубых стопочки одежды и стояли четыре туристических рюкзака из грубой военной мешковины.

— Давай, родненькая, — бойко, бойко! — лихорадочно принимаясь расстегивать пуговицы блузки, подбородком указала она Валентине на вещи, предназначенные, по всей видимости, для них. — Белый — исподний, голубой — верхний.

Валентина послушно и поспешно начала стаскивать с себя одежду, не давая себе воли подумать о том, зачем она это делает, заразившись, словно простудой, лихорадочной торопливостью своей тезки. Белое оказалось внутренним комбинезоном из какой-то эластичной мягкой полуткани-полукожи, названия которой Валентина не знала, серебристо-голубое — комбинезоном внешним, более плотным и скользким.

— Глянь, какую красоту сотворили, — специально для нас с тобой, — обычно-то в чем прыгают? — да в чем попало, — что на складе завалюсь, то и сунут, — какой-нить маск-халат перешитый-перекрашенный, как из болота вынутый, — а тут, ты видишь, — все новенькое-голубенькое-блестящее-экспериментальное, на кнопочках да застежечках специальных, — ты знаешь, как они называются? — молнии, вот как! И даже ботиночки, — ты глянь, голубенькие, на молниях! Будем с тобой, как два ангелочка, — возбужденно приговаривала Валентина Другая, натягивая Валентине на голову голубой шлем. — А знаешь, для чего их разрабатывают?.. — приближая свое раскрасневшееся возбужденное лицо вплотную к лицу Валентины, зашептала она. — Мне Валька по секрету сказал, — для сверхвысотных прыжков из стратосферы, — они особо

прочные, в них не замерзнешь! Собираются опять стратостат строить, ну вроде того, на котором Васенко-Федосеенко-Усыскин разбились, но только в сто раз лучше, конечно! Валька-то мой губу на стратостат раскатывает, но уж не знай, не знай, как получится, — он, вишь, проштрафился, сумку потерял, а там мало того, что свои документы все были, так еще и пара каких-то секретных бумажек! Ох уж его тогда песочили, ох и разбирали по косточкам! — вы, говорит, понимаете, товарищ Учайкин, что эти документы могут попасть в руки к американским шпионам, которые только и думают о том, как бы опередить Советский Союз на пути к космосу? Вы это понимаете?! Я тогда ночи не спала, Богородице молилась, — Господи, думаю, мало того, что с волчьим билетом выгонят, коров пасти не возьмут, так ведь посадят же, — и не за такое только так сажали! Слава Богу, услышала, заступница, — через четыре дня сумку нашли, — Валька ее у приятеля забыл, Юрки Гагалина, — сессию они, вишь, успешно сдали и отмечать пошли, наотмечались, идиоты! Год назад это было, а Заведеич до сих пор вспоминает, ирод!

Плохо соображающая Валентина, как заворуженная, разглядывала нежную кожу ее щек, темно-русые ворсинки бровей, плотные густые ресницы, летающие вверх-вниз, следуя взгляду глубинно-голубых глаз, яркие круглые губы и розовый язык, время от времени смачивающий их блеском слюны, — от этой привычки она отучала себя долго и мучительно, окончательно отучившись лишь в Финляндии.

— Ну теперь давай, я тебе парашюты помогу одеть, а то ты сама не справишься, — переместилась Валентина Другая к рюкзакам, покончив с комбинезонами, ботинками и шлемами. — Тут главное, как следует нижние ремни закрепить — не слабо, чтоб нога не болталась, но и не туго. Я себе, когда первый раз прыгала, так затянула, что волосья на писке в кровь пообдирали, — сперва-то от волнения не почувствовала, а как приземлилась — батюшки-святые! — идти не могу, горит все! Полгода потом плешивая ходила... Так что это дело такое, важное... Нормально? Не давит? — опустившись на корточки, она вопросительно взглянула на Валентину снизу.

— Нет... — растерянно пролепетала Валентина — Не давит. Только...

— Ну вот и хорошо, — не слушая ее, перебила Валентина Другая. — Значит так, смотри сюда и слушай тоже, — второй раз повторять времени уже не будет. Основной — над левой сиськой, запасной — под правой, — она взяла Валентинину правую руку и положила ее накрест налево, а левую — направо. — Чувствуешь кольца?

Пальцами обеих рук Валентина сжала сталь колец и утвердительно кивнула.

— Дергать можно сразу, не считая там ни до пяти, ни до десяти. А можно и не дергать, потому как мы тебя прикрепим вот к этому умному аппаратику, пэпэкзу называется, — она принялась пристегивать к верхним лямкам небольшую металлическую коробочку, на один из углов которой был привинчен шуроп: шуроп переходил в прутик, а прутик в тонкую леску, на конец которой была посажена застежка. — Как сядешь, посмотри вверх, — наверху будет трос с карабином, пристегнешь серьгу к карабину, вот серьга, вот она, — вот, — Валентина Другая потрясла перед носом Валентины застежкой на леске. — Не забудь, иначе должна будешь дернуть кольцо обязательно, а так тебя пэпэкзу сам раскроет. Хотя, Валька тебя наверняка пристегнет и обо всем говорить будет, — ты главное, в панику не впадай и команды слушай. И не думай ни о чем, тут самое главное, — ни о чем не думать. Просто сделай шаг и все. На ту сторону сделай шаг. Сделай шаг. Тьфу, да тебе ж и шагать-то не придется, отстегнешь ремни, — и полетела! — она просунула руки Валентине под мышки и легонько ее встряхнула. — Ну-ну, ты мне тут давай не столбеней, ты же у меня всегда смелая девка была, куда только и с кем не ходила! А это у нас капэ двадцать три, кислородный прибор, короче, его снимать можно только перед самой землей, ты меня поняла, — иначе задохнешься. Ты меня слышишь, ты поняла?..

— Я поняла, — кивнула Валентина, стаскивая с лица черную, остро пахнущую резиной маску, гофрированная трубка которого змеей уползала куда-то за спину, к источнику кислорода. Я поняла, только...

Выговорить «что все это значит?» она не успела, поскольку дверь распахнулась и на пороге кладовки показался плотный высокий военный средних лет в темно-синем кителе и брюках с ярко-красными лампасами. Из-за его блестящих золотом погон выглядывало испуганное лицо Октябрины Кондратьевны.

— Давление сто двадцать на семьдесят пять, товарищ полковник, пульс шестьдесят ударов

в минуту, Василий Григорыч...

Не слушая ее, военный строевым шагом подошел к прямо к Валентине. Валентина Другая выпрямилась в струнку и громко отпартовала:

— Товарищ полковник, разрешите доложить: подготовка к сверхвысотному прыжку успешно завершена! Парашютист-испытатель — сержант Учайкина.

Не глядя на нее, полковник одобрительно кивнул Валентине и без церемоний положил ей руки на плечи.

— Ну что, Учайкина? — с мягким малороссийским распевом, стирающим разницу между **т** и **ц**, **ы** и **и**, **в** и **у**, спросил он, глядя ей прямо в глаза. — Що, красуня моя? Страшно трохи? Бойшься?

— Никак нет, товарищ полковник! — расправив плечи под его по-крестьянски большими, теплыми ладонями и вытягивая шею и подбородок, громко доложила Валентина, внутренне изумляясь самой себе.

— Ну, молодца, молодца, доню... Хуч и шахрайка,⁴⁰ но молодца, — с какой-то ласковой грустью произнес военный, по-отчески поглаживая Валентину по рукам голубого комбинезона. — Ты, доню, запомитай: бояться не соромно, но бояться потрибно тильки тут, на зэмлі. А як у литак сядэш, — бояться вже не можна! Я и сам, доню, висим рокив тому дуже боявся, а мени вже тоды триццять висим рокив було, — старий пень вже був, хе-хе! А у литак сил и гадаю думку, — чого ж я боюся? Я ж ни на вийни, ни з мессерами на побачення лечу, я лечу над нашою дорогою совезцькою батькивщиною, яка робить усе можливе для розвитку совезцької авіації. Парашути и обладнання, створени руками совезцьких людэй, — це ж не буржуйські витрэбэньки, диють воны на видминно! Родина чуэ, родина знаэ, як в облаках йии син пролетаэ. И син, и доч, доню, — родина усе знаэ, усих своих дитей, своих героив, для яких особиста справа невиддильнэ вид спильной справи! И тильки так подумав, — чуэшь, доню, — вись страх як рукою зняло! А тоды, доню, ми про двадцять осьмэ-та тильки мриялы. Тоды у кабини було минус пьятдэсят пьэц! Я стрывав, як ведмидь, — весь одяг на хутри, оди унти три килограми вагую! А уся амуниция до сорока килограм доходила, — ось воно як було. А у тэбэ скільки, симнаццять?⁴¹

— Шестнадцать девятьсот, товарищ полковник! — гаркнула Валентина Другая.

— Ну, я и кажу, шо симнаццять. Ну, ничого-ничого, ти дивчина не тильки гарна, але справна, — здужаемо. Як тэбэ вярядився-то, а, — Учайкина? Як нарэчену, — хуч знову замиг видавай. Так що, доню, ныни стрывай та радий, — уси умови, як у санатории. Ныни, в эпоху литакив з реактивними двигунами, польоти на великих висотах вдень и вночи стали звичайним явищем. Вони не вимагають вид льотного складу якихось особливих физичных данных. Сучасни литаки мають герметични кабини, яки оберігають людюну вид непосредственного впливу повитрянного середовища. У герметичний кабини литака льотчику немаэ потреби перебувати в дуже тьоплому обмундированні. Тут пид час висотних польотив температура не опускаэцца нижчэ плюс десяти градусив. И разом з конструкторами и льотчиками брали, берут и будут брати активну участь у боротьби за висоту совезцьки парашутисти! Парашутисти ДОСААФ и Вийськово-Повитрянних Сил Союзу совезцьких социалистичних рэспублік рик за роком доводять всьому свиту, що порох у них збэригаэцца сухим. У минулому роци вони оновили майжэ уси свитови рекорди в зятяжних и висотних стрыбках. Валентина Кулиш, не розкриваючи парашута, пролетила тысячу шистсот шистдэсят метрив, а Микола Никитин, чемпион свиту в цьому види стрыбків, пролетив чотиринадцатеро тысяч шистсот дваццять метрив. Антонина Алимова стала володаркою свитового рекорду, розкривши

40. Врушка (малоросс.).

41. Ты, дочка, запомни: бояться не стыдно, но бояться нужно только здесь, на земле. А как в самолет сядешь, — бояться уже нельзя! Я и сам, дочка, восемь лет назад сильно боялся, а мне уж тогда тридцать восемь годов было, — старий пень уже был, хе-хе! А в самолет сел и думаю, — чего ж я боюсь-то? Я ж не на войне, не с мессерами на свидание лечу, я лечу над своей дорогой советской родиной, которая делает все возможное для развития советской авиации. Парашюты и оборудование, созданные руками советских людей, — это ж не буржуйские финтифлюшки, действуют они на отлично. Родина слышит, родина знает, как в облаках ее сын пролетает. И сын, и дочка, дочка, — родина всех знает, всех своих детей, своих героев, для которых личное дело неотделимо от общего дела. И только так подумал, — слышишь, дочка, — страх как рукой сняло. А тогда, дочка, мы о двадцать восьмь-то только мечтали. Тогда в кабине было минус пятьдесят пять! Я прыгал, как медведь, — вся одежда на меху, оди унты три килограмма весом! А вся амуниция до сорока килограмм доходила — вот оно как было. А у тебя сколько, семнадцать (малоросс.).

парашут на высоте девять тысяч тридцать пять метрив, Валентина Рульева пролетела десять тысяч симсот метрив, Володымир Зуев — тринадцать тысяч шистсот пьатдесят метрив. I усе це в ничних умовах! Ось вони — соколи-орли, російськи чудо-богатири! Та хіба знайдуця на свити таки вогни, муки и така сила, яка пересилила б руську силу?⁴²

Полковник разгорячился и принялся ходить по кладовке, энергичными взмахами правой руки подтверждая и усиливая достижения и рекорды отечественной авиации и парашютного спорта. Его приятное, но уже начинающее стареть, раздаваться и обвисать лицо с мягкими щеками и носом уточкой будто бы подтянулось, набираясь мужества и отваги былых подвигов. Валентина и Валентина Другая терпеливо слушали, — Валентине ужасно хотелось переступить с ноги на ногу под весом семнадцати килограмм, нагруженных на нее, как на лошадь, и спереди, и сзади, и она изо всех сил сдерживала себя, чувствуя, что переступать в такой момент не положено.

— Василь Григорыч, — робко пискнула наконец Октябрина Кондратьевна, так и застрявшая на пороге, — товарищ полковник, пора.

Запнувшись на полуслове и полушаге, Василь Григорыч остановился и озабоченно взглянул на часы.

— Коротше, Учайкина, поставыш рекорд, — пошльомо тэбэ у серпни на мижнародни змагання у Югославию, зрозуміла? Особисто буду клопотати.⁴³

— Служу советскому народу! — одновременно подтвердили Валентина и Валентина Другая.

— Ну добрэ, — подвел итог полковник. — Чоловик твій вже внизу чекає.⁴⁴

Он по-военному четко развернулся и вышел из кладовки.

— Скорей!.. — прошипела Валентина Другая. — Бойко, бойко, — если опоздаем начсмены рапорт напишет!

Топоча голубыми ботинками, они кинулись к выходу. Полковник, как сон, как утренний туман, уже успел раствориться за какой-то из высоких дореволюционных дверей. Валентин, одетый в комбинезон и шлем болотного цвета, напряженно ходил возле газика, так и стоявшего перед крыльцом. Он сурово взглянул на Валентину, но говорить ничего не стал. Его неподвижное лицо со сдвинутыми бровями и крепко сжатым ртом, сильнее подчеркивавшим скулы, еще больше напоминало статую, но уже не Аполлона, а Давида, приготовившегося к броску и не видящего никого и ничего, кроме своего Голиафа, — мишени, которую следует поразить. Валентина втиснула себя и свои выюки на заднее сиденье, и они вновь помчались вперед по полю, — уже совершенно пустому, уходившему влево и вправо зеленым, еще не выгоревшим под солнцем травяным покровом, — вперед, вперед, на восток, к солнцу, — лениво и сонно оно поднималось над туманным краем поля своим золотисто-алым боком, начиная новый летний день, — вперед, вперед, вперед, к серебряной птице, которая, постепенно отделяясь от солнечного диска, увеличивалась в размерах, набирала вес, материализовываясь из черточки, галочки, штриха, наброска, эскиза

42. Ну, я и говорю, что семнадцать. Ну, ничего, ты дивчина не только красивая, но и сильная — выдержишь. Как тебя раздели-то, а, — Учайкина? Как невесту, — хоть снова замуж выдавай. Так что, дочка, нынче прыгай да радуйся — все условия, как в санатории. Нынче, в эпоху самолетов с реактивными двигателями, полеты на больших высотах днем и ночью стали обычным явлением. Они не требуют от летного состава каких-то особенных физических данных. Современные самолеты имеют герметические кабины, которые предохраняют человека от непосредственного влияния воздушной среды. В герметической кабине самолета летчику нет нужды находиться в слишком теплом обмундировании. Здесь во время высотных полетов температура не опускается ниже плюс десяти градусов. И вместе с конструкторами и летчиками принимали, принимают и будут принимать активное участие в борьбе за высоту советские парашютисты! Парашютисты ДОСААФ и Военно-Воздушных Сил Союза советских социалистических республик год за годом доказывают всему миру, что порох у них сохраняется сухим. В прошлом году они обновили почти все мировые рекорды в затяжных и высотных прыжках. Валентина Кулиш, не раскрывая парашюта, пролетела 10660 метров, а Николай Никитин, чемпион мира в этом виде прыжков, пролетел 14620 метров. Антонина Алимova стала обладательницей мирового рекорда, раскрыв парашют на высоте 9035 метров, Валентина Рульева пролетела 10700 метров, Владимир Зуев — 13650 метров. И все это в ночных условиях! Вот они — соколы-орлы, русские чудо-богатиры! Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу (малоросс.).

43. Короче, Учайкина, поставиш рекорд, — пошлем тебя в августе на международные соревнования в Югославию, поняла? Лично буду хлопотать (малоросс.).

44. Муж твой уже внизу дожидается (малоросс.).

в отливающий серебром белый самолет. Спокойно, величаво и мощно он стоял на земле, раскинув крылья, безо всякого усилия державшие длинные овальные бочки турбин. Вблизи самолет напоминал уже не птицу, а рыбу, рыбу-кит, — огромную касатку с двумя селедками по бокам. На касаткином хвосте горела пятиконечная красная звезда, а на носу стояла цифра семнадцать. Под цифрой взад-вперед расхаживал еще один военный, — брюки его, в отличие от брюк Василия Григорьевича, были без лампасов, а китель в поясе стянут ремнем.

— Начсмены, — шепнула Валентине Валентина Другая. — Майор Тихоходов. Злющий, зверюга! Говорят, до сорок четвертого летал, как ас, а потом начал штурвала бояться, — ну, его на поле и выперли.

Они выстроились в ряд перед зверюгой Тихоходовым, демонстративно поджимавшим и без того тонкие губы, так что рот превращался в прямую полоску.

— Без пяти минут шесть, Учайкин, — постучав по циферблату наручных часов, вяло произнес Тихоходов. — Скажите жене, чтобы она вам на день рождения часы, что ли, купила. Или вы ей, — тоже вариант. Докладывайте. Как поет известная артистка Курченко, — за эти пять минут вам нужно очень много сделать.

— Товарищ майор, — глядя перед собой, пошел чеканить слова Валентин, — экипаж к вылету готов. Состав экипажа: пилот — старший лейтенант Валентин Учайкин, парашютист-испытатель — сержант Валентина Учайкина. Боевая задача: пилоту подняться на высоту четырнадцати тысяч метров, парашютисту-испытателю совершить сверхвысотный прыжок с указанной высоты с немедленным раскрытием парашюта. Время вылета: двадцать первое июня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, шесть ноль-ноль. Командир экипажа: старший лейтенант Учайкин.

— Вылет разрешаю, — вздохнув, согласился зверюга. — Механику скажите спасибо, он сюда полтора часа назад пришел, машина готова.

Из-за переднего шасси самолета выглянула круглая, добродушная физиономия механика, уже запачканная чем-то черным, и сообщнически подмигнула экипажу смеющимся глазом.

— За мной, — кинув быстрый взгляд на Валентину, командовал командир экипажа. Инстинктивно поддерживая тюк, свисавший с живота, Валентина кинулась за ним, стараясь не семенить, а идти уверенно. Они направились к хвосту самолета и подошли к спускающейся на землю широкой платформе люка, открывающего вход в касаткино брюхо. — Залезай, чего ждешь, — посмотрел на не Валентин.

Валентина не выдержала.

— Послушайте... Послушай... Я не знаю, кто вы такие, но такого же не бывает, такого быть не может, — забормотала она, стараясь, словно сквозь стену, пробиться через Валентинов отстраненный взгляд, в котором уже не осталось никакого человеческого сочувствия, участия и сопереживания и читалась лишь одна холодная воля и решимость выполнить боевую задачу. — Я же с парашютом никогда не прыгала, вообще никогда, нельзя человека взять и с первого раза закинуть на четырнадцать километров вверх! Я просто не умею этого делать, вы понимаете, ты понимаешь?..

— Я тебя понимаю, — спокойно ответил Валентин. — Но продуман распорядок действий. И неотвратим конец пути. Неужели ты все еще думаешь, что тебя сюда в бирюльки играть пригласили? И что значит, — не умею? Ты думаешь, все на свете надо уметь? Думаешь, танкист должен уметь гореть в танке, а моряк должен уметь тонуть? Валентина вон хоть комсомолка, но религию из ее дурной башки не выбьешь, так я ее однажды спросил, — думаешь, твой Христос учился висеть на кресте? Этому не надо учиться, это просто делают, — и не когда левая пятка захочет, а когда приходит срок. Можешь подумать об этом десять минут, до заданной высоты. Да и вообще, чего тут бояться?.. Ил-28 — это гордость советского авиастроения, за него все кабэ сталинскую премию отхватило. Давай уже, мне тебя еще пристегнуть надо и проинструктировать. Наверх и направо, — он развернул Валентину лицом к люку и подтолкнул в спину, вернее, в висевший на спине рюкзак. Она как-то враз устала спорить и покорно полезла наверх, стараясь втянуть голову в плечи, но плечи не поднимались, поскольку несли на себе весь земной груз.

Лезть, впрочем, пришлось невысоко: после трех ступенек (не ступенек, а выемок в платфор-

ме люка), она оказалась внутри и сразу же увидела справа место назначения, — отсек с креслом, упирившимся в штурвал. Протиснувшись увеличившимся габариты, Валентина впикулась в кресло и устала на стоявший вместо штурвала неведомый прибор, который, в свою очередь, очертил на нее тысячу биноклей на оси, — десятками винтиков, шпунтиков, колесиков, проводочков, проводов и шлангов, что, как кишки соединяли его с общим механизмом самолета. По бокам установка была увенчана двумя мощными деревянными ручками, до блеска отполированными человеческими руками. На подставке, держащей всю установку, зеленела крупная суровая надпись: **НЕ КУРИТЬ!**

— Пушку не трогать, — приказал сзади голос Валентина. — Вообще ничего здесь не трогать, слушать мои команды и четко их выполнять. Аварийное эвакуирование стрелка-радиста осуществляется пилотом, открывающим крышку люка. Кресло стрелка-радиста начинает движение вниз путем выдергивания ручки аварийного эвакуирования, находящейся под сиденьем, — руку вниз опусти.

Валентина суетливо зашарила рукой под сиденьем и, действительно, нащупала какой-то рычаг.

— Держи его на себя, — продолжал Валентин. — Сильно дергать не надо, все механизмы отработаны. После выдергивания рычага, кресло начинает движение вниз по салазкам ступеней. В это время стрелок-радист обязан отстегнуть ремни безопасности, замки которых находятся на груди и между ног, — вот тут и тут, — он положил левую Валентину руку на грудь, а правую направил под рюкзак, казалось, вдвое раздувшийся от осознания собственной значимости, и Валентина ощупала сухо щелкнувшие замки. — Если кресло сразу не отстегнется, большой беды не будет, но все-таки лучше от него освободиться. Раскрытие парашюта производится автоматически путем выдергивания шпильки аппарата ППКУ, прикрепленной к карабину троса, — смотри, вот сюда прикрепляю. Стой, а почему у тебя лицо сухое? Вот, Валька, — надейся на нее, — щеки-то в два счета отморожишь! — за креслом послышалась возня, и через мгновение ладонь командира экипажа щедро размазала по задранной вверх физиономии стрелка-радиста жирную мазь, напоминающую вазелин. Валентина возмущенно замычала. — Все, все, не брыкайся, инструктаж окончен. В случае отказа аппарата ППКУ парашютист раскрывает парашют самостоятельно, — ну, это тебе Валька рассказала. Кислородный прибор КП-23 начинает работу с первым вздохом пользователя. Вопросы? У матросов нет вопросов, у стрелков-радистов также. Поехали!

Стальная дверь хлопнула, и злобеще заскрежетали какие-то запоры, в назначение которых входило замуровать ее в хвосте воздухоплавающей двадцать восьмой касатки, — видимо, для того чтобы, если хвост отвалится, самолет, как ящерица, смог жить дальше.

Валентина жадно потянулась к переднему стеклу трехстворчатого окошка, окружавшего ее голову буквой Пз: из-под окна торчали два ствола той самой пушки, которую нельзя было трогать, а под стволами лежала земля, поле, зеленая трава, а по земле, по полю, по зеленой траве, с каждым шагом уменьшаясь в размерах, шел начсмены майор Тихоходов, и Валентина вдруг удивилась тому, какие у зверюги Тихоходова мальчишески-несерьезные оттопыренные уши, подпирющие фуражку с двух сторон. Потом негромко зарычали турбины, и гордость советского авиастроения тронулась куда-то назад, — вернее, назад тронулась Валентина, а самолет начал движение вперед, строго по заданному курсу.

— И будешь ты стрелком-радистом и будешь ты летать со свистом задом-наперед, — в тихом отчаянии пробормотала Валентина, вновь упираясь взглядом в надпись **НЕ КУРИТЬ!** Они еще и курить успевают, — стрелки-радисты, веселые ребята, аварийно эвакуирующиеся в тартарары вместе с креслом через какую-то дырку в полу.

Турбины взревели в полную мощь, самолет вздрогнул, встряхнулся, как гончая, и оторвался от земли, набирая высоту. Заложило уши.

— Так, — сглотнув слюну, вслух обратилась Валентина сама к себе, — успокойся. Ты наверняка спишь. Это все наверняка сон. Такого в жизни просто быть не может, — это тебе любой разумный человек подтвердит. А во сне чего только не привидится, — один раз вон вообще приснилось, как будто президент Будин за тобой ухаживает, причем очень даже успешно.

Окошко с трех сторон заволокло белым туманом облаков, мягко прилипавших к стеклу и сразу же сносимых ветром. Потом облака кончились, и кабину залила чистая, ничем не замутненная и не омраченная голубизна.

— Высота четыре тысячи метров, — прорезал ровное дрожание турбин голос Валентина. — Экипажу надеть кислородные приборы.

Валентина испуганно посмотрела на прикрепленную слева черную коробочку динамика и торопливо наложила на лицо маску респиратора, стараясь прижать ее поплотнее к щекам и переносице, чувствуя, как кровь начинает биться по всему телу частыми, сильными и острыми толчками, как будто изнутри наружу пробивались тонкие иглы: что за философскую муть он там нес и откуда только нахватался || умеешь ли ты гореть в танке и тонуть в подводной лодке || умеешь ли висеть на кресте || этого не надо уметь || просто иди сквозь огонь и воду и вой труб иерихонских || просто отстегни ремни и прыгай || просто взойди и повисни || повисни и знай || опять воспрянет тетива || стрела свершится рассекая страх || коленопреклоненная трава || восстанет а у роз на деревьях || распустятся как девичьи глаза || а небо необъятно вновь и вновь || а нежная распутица гроза || опять любовью окровавит рот || — — || — — || — — || — —

— Высота двенадцать тысяч метров, скорость девятьсот километров в час, полет нормальный, — сообщил Валентин. Сердце стучало частыми, тяжелыми ударами, словно Валентина махом выпила стакан красного вина, наполненный до краев, — все двести грамм до последней капли. Будешь ты стрелком-радистом || и ласточка || душа твоих тенет || взвоется овевая красный крест || и ласково прошепчет в тишине || он умер || сам сказал || а вот || воскрес || высота тринадцать тысяч метров || скорость шестьсот километров в час || штурману приготовиться к катапультированию || стрелку-радисту приготовиться к аварийному эвакуированию || значит || та сидит || на месте штурмана || где || эта || чертова || ручка?..

Валентина несколько раз сжала и разжала пальцы в голубых перчатках, которые, несмотря на чудо-материалы нового поколения все-таки здорово замерзли: холодные отяжелевшие пальцы сжимались так туго, как будто принадлежали не ей, а неизвестному солдату Алеше, который, поникнув гордой головой, стоял на выезде из Урузья возле своего вечного огня. Скривив рот, она с усилием наклонила каменеющее тело вперед и, захрипев от напряжения, зажала в кулаке рычаг. Каменные жилы напряглись, превращаясь в чугун, а чугунные поджилки мелко задрожали в ожидании неотвратимого. Дернуть рычаг на себя и отстегнуть ремни: левая рука на грудь, правая — между ног.

— Высота четырнадцать тысяч метров, скорость триста километров в час, полет нормальный. Штурману начать катапультирование, стрелку-радисту начать аварийное эвакуирование, — отдало приказ неотвратимое.

Забыв о том, что механизмы отработаны, Валентина изо всех сил дернула рычаг так, что кресло издало жалобный стон, а чугунный локтевой сустав звонко щелкнул. Кресло слегка накренилось и начало медленно опускаться вниз вместе с полом. И, уставая бессильно сгорать, падают звезды в окошко. Полно, никто не хотел умирать по отведенному сроку. Не давая себе остановиться, она нажала застежку нагрудного (левой!) и межножного (правой!) ремней и подняла глаза вверх, наблюдая, как натягивается трос, к карабину которого была пристегнута шпилька волшебного прибора. А что будет, если она не успеет выпасть, и ППКУ раскроет парашют прямо в самолете?.. Пол кабины уперся в крышку люка, и та начала медленно отходить вниз. Получается, что я выпадю из заднего прохода, как какашка. Валентина вжалась в кресло, пытаясь оценить высоту в четырнадцать километров. Но высоты не было, — под ее ногами трепетал голубой лоскут неба и ревел ветер. Кресло встало на салазки стапеля и поехало вниз, набирая скорость. В небе бояться нельзя, — нет такого огня и такой воды, что спалили бы и залили бы нашу зарайскую силу. Жизнь моя одна, и она не для смерти. Она нащупала пальцами правой руки спасительный круг кольца. Если всех растворяет поток, я с тобой непременно сольюсь, я боялась, что будет «потом», — а теперь ничего не боюсь. Ничего.

— Господи!.. — завопила Валентина и ухнула в бездну.

Но прокричаться досыта она не успела, потому что тотчас же за первым и единственным словом приводящая приказ в исполнение неведомая сила рванула ее одетое в серебристо-голубой

комбинезон тело так, как будто было необходимо оторвать от туловища руки, ноги, голову, а после разорвать напополам то, что осталось. Перед глазами взорвался салют и закружились веселые хороводы из зеленых и красных огоньков. Стало быть, не огнем, не водой и не крестом, а ветром; разорвет буйный ветер тело белое, разнесет тело рыхлое, разметет рассыпчатое, ни кусочка от него не останется, пойдет тело в дело: из лица выйдет солнце, из груди — светлый месяц, из очей — звезды частые, из бровей — зори ясные, из дум — ночи темные. Руки и ноги тоже на что-нибудь сгодятся. Позвоночник затрещал. От боли Валентина по-кошачьи зашипела, подобно соколу Ивана Заведича, — хииииее!.. — и выгнув назад отрывающуюся шею, которая втыкалась позвонками в затылок, увидела над головой белый купол парашюта, благополучно раскрытого чудом техники.

Обрадованная хотя бы этим, она несколько раз глубоко вдохнула, убеждаясь, что кислородный аппарат, как и было сказано, действует на отлично. Она была жива и, видимо, даже невредима, поскольку и ноги, в серебристо-голубых ботинках, и руки, в серебристо-голубых перчатках, находились в поле ее зрения. Больше в поле зрения не входило ничего: вокруг было небо в кольчуге из синего льда, — только небо, лишь небо, одно небо. В верхней части этого синего океана плавал огромный, нестерпимо яркий шар солнца, а нижняя была устлана белыми клубочками и полосочками облаков. Земля в этом пейзаже просто отсутствовала.

Зрелище было столь внушительным и необычным, что Валентина замерла в невольном восхищении, но через мгновение восхищение погасло. В тревоге она закрутила головой, стараясь отыскать Валентину Другую, которая, согласно приказу Валентина, должна была катапультироваться, — но Валентины Другой, как и земли, видно не было. В этом бескрайнем пространстве, в трепете пустоты, молчание которой изредка прерывалось слабым поскрипыванием ремней и стропов, она была совершенно одна, подвешенная к своему хорошенькому белому

парашюту, который почему-то и не думал подчиняться закону всемирного тяготения.

«А что если я буду спускаться дольше, чем они там насчитали? Что если я вообще не опускаюсь?!.. — с ужасом подумала Валентина. — Если кислород в аппарате кончится?.. Я просто тут задохнусь, вот что». Не мытьем, так катаньем, не разрыванием, так удушением. И буду болтаться здесь одна-одинешенька, а там, на земле, люди будут жить, как и прежде: ходить, бегать, ездить на автобусах и поездах, сидеть на лавочках, гулять с детьми или собаками, или без детей и собак, вдвоем, взявшись за руки, бродить по парку, сесть на лавочку —

(это уже думала!) — обниматься, целоваться, смеяться и говорить друг другу всякие глупости, люди будут, как ни в чем не бывало, есть и пить, завтракать, обедать и ужинать, пить вино, мыть посуду, стирать белье и гладить его или не гладить, а надевать мягое, смотреть телевизор, выключать этот зомбоящик, ссориться с родителями, покупать подарки, путешествовать, строить дачу, делать дома очередной ремонт, ходить на работу, сплетничать с коллегами, ругать начальство и президента,



Эжен Грассе.

Три женщины и три волка. 1910.

писать кляузы, обманывать врагов и помогать друзьям или наоборот, улыбаться, плакать, напиваться, страдать похмельем, жениться, разводиться, мучиться в родах, лежать на смертном одре, в конце концов!

А мне даже на этом одре не полежать!

А они будут мучиться над своими бесконечными проблемами, обсуждая всю эту чепуху, пыль и прах на полном серьезе:

— как научиться общаться с мужчинами на первом свидании естественно, живо и без напрягов, без всех этих натужных вопросов и ответов, но в то же время узнать нужную ключевую информацию? Как мило и ненавязчиво выяснить про жилье, зарплату, про размер инструмента, как отношение к алкоголю, сигаретам, компьютерным играм, порнухе и тому, не против ли он будет, если в перспективе теща переедет к нему помогать в воспитании будущих детей?

— почему моя попа в брюках выглядит обвисшей, если я качаю ее каждый день?

— сделать ли аборт или все-так рожать, если мне уже двадцать семь, я живу с родителями, есть парень, который против аборта, но он нигде не работает?

— как избавиться от одноклассницы дочери, которая каждый день приходит к ней в гости и ее приходится кормить, а продукты подорожали?

— как быть, если мама отписала квартиру сестре мужа, у которой двое детей, а у нас с мужем только один?

— почему мужчины, которые уделяют мне внимание, не стремятся помочь мне ни деньгами, ни советами, ни поддержкой моральной, но при этом постоянно отписывают и позванивают мне, мол, как дела, посмотри, как я отдохнул, какой я молодец, как я поработал, как дела, а когда я рассказываю, как дела, что вот сейчас, например, мне нужна помощь, то включают дурачка, т.е. на встречу зовут, но помочь мне преодолеть трудности в жизни не стремятся?

— как уменьшить алименты мужа на ребенка от первого брака?

— где найти хорошую гадалку?

— где сделать хорошую ринопластику?

— почему мой вес 59, а объем талии 68?

— что подарить на день рождения свекрови, если они со свекром подарили мужу на день рождения магнитный держатель для ножей, пластиковая такая фигня за две копейки, причем вручили торжественно и гордо, а потом свекровь звонит и говорит, что тачку новую хотят, и мужа зовет выбирать?

— что делать, если я не хочу секса с мужем, хотя мы женаты всего два года?

— что делать, если муж не хочет секса со мной, хотя мы женаты всего два года?

— зачем мужчина постоянно хвалится своими дорогими брендами, коллекцией часов, духами, даже фигурой и прической, а сам при этом страшный жмот?

— что бы такого бесполезного подарить коллеге-гадюке?

— и проч.

— и проч.

— и проч.

— и проч...

Будут жить, как ни в чем не бывало, копаясь в своем насущном мусоре, и даже не заметят того, что меня уже нет, даже не обратят на это внимания, не обратят внимания, как будто не стало букашки, икринки, молекулы, как будто меня и вовсе не было! Ну только что родные заметят, — поплачут, погорюют, успокоятся и забудут, как забывала и ты сама, продолжая жить-поживать, добра наживать.

А я — я — я — я останусь здесь навсегда!..

От навалившегося ужаса Валентина изо всех сил задргала ногами, пытаясь хоть как-то расшевелить бесконечность. Заколыхавшись, парашют начал медленно ее разворачивать, и когда то, что было сзади, стало спереди, Валентина увидела сзади перед собой белый лепесток другого парашюта, под которым покачивалась серебристая человеческая фигурка, как будто вырезанная из фольги. «Господи!.. — во второй раз, уже от счастья, закричала Валентина и принялась махать Валентине Другой обеими руками, дрыгая ногами еще активнее. Парашют, уже быстрее, вновь развернулся, и она поняла, что в законе тяготения сомневаться не стоило, — облака раздвинулись, обнажив зеленовато-серую плоть земли, по которой синей жилкой, искрясь, бежала ниточка какой-то реки. Показав ей землю, облака вновь сомкнулись и на ее глазах принялись сгущаться, образуя темно-фиолетовую шарообразную массу. Шар быстро увеличивался в объемах, наливаясь свинцовой тяжестью и приближаясь к Валентине; точнее, это она к нему приближалась, — все быстрее и быстрее, подхваченная невесть откуда взявшимся ветром. В середине шара сверкнула вспышка, и через несколько секунд до ее ушей донеслось сердитое ворчание грома. Не успела она обрадоваться тому, что появились звуки, как мощный порыв ветра зашвырнул ее прямо в грозовую тучу.

Ветер радостно загреб парашют в свои лапы и, торжествующе завывая, принялся раскачивать Валентину, словно на огромных качелях, с каждым взмахом увеличивая угол подъема. На третьем вираже желудок болезненно сжался и к горлу подступила рвотная судорога. На четвертом Валентина с трудом проглотила утренний кофе, вытолкнутый ей в рот собственным организмом вместе с желчью. Выплюнуть было некуда, поскольку кислородный аппарат снимать и даже отодвигать от лица было страшно. «О Господи... — простонала она, покрываясь холодным потом, впитать который отказывалось даже спецбелье под серебристым комбинезоном. — Я, конечно, не образец добродетели и постоянно тебя обманывала, обещая исправиться и стать лучше, не постилась и прелюбодействовала, и гневалась, и, как говорит Елисей, всякое, но сколько же уже можно меня мучить, как кот бабочку? Ты бы уже определился, чего ты хочешь, какого вида наказания. Боже, в помощь мою вонми, Господи помощи ми потщися во юдоле плачевне, на месте, еже завещал еси, не обличи моя сокровенная, но пощади мя Боже и помилуй мя, на Тя Господи уповаю, спаси мя и приклони ко мне ухо Твое, приклони ухо, ухо, говорю, приклони, ты слышишь меня вообще? Или ты там уснул, старый хрыч, изверг рода человеческого!..» В ответ слева, справа и впереди, на расстоянии полутора метров, одна за другой, подряд, ударили три ослепительных и ослепляющих молнии, доказывая, что Вседержитель не спит, а все слышит и всему внимает. Сотрясая небеса, загрохотал гром, и хлынул такой ливень, в какой Валентина не попадала ни разу за всю свою жизнь на земле. Думать о том, что будет, если парашют промокнет, она была уже не в состоянии, потому что измученный мозг думал не о парашюте, а о печени, селезенке, желчном и мочевом пузырях, почках, кишечнике, — толстом, тонком, двенадцатиперстном и прямом, — которые от болтанки смешались в одну кучу, терзая сами себя и Валентину. Зачем ты поехала в эту Юрюзань?! — кричала печень. Для чего ты отправилась в эту Россию?! — пищали почки. Почему нельзя было посетить, скажем, мирный город Дарту, куда тебя, кстати, приглашали, — гудели кишки. Пусть там нудно до зевоты и скучно до отупения, зато красиво и спокойно, — кричал мочевой пузырь. А ты потащилась в это заколдованное место, где может случиться все на свете, где свинья в любой момент превратиться в черта или наоборот, а все потому, что думаешь не головой, а одним местом, тем самым, что сейчас притихло и помалкивает, и гоняешься за этой выдуманной любовью, и выбираешь всяких моральных уродов, и носишься за ними, как за писаной торбой, все ожидая эфемерного счастья! О, мужчины, имя вам — хуже крокодилов! Прелюбодеи и любострастники, а если не любострастники, то картежники, а если не картежники, то игроманы, а если не игроманы, то растратчики, а если не растратчики, то скупцы, а если не скупцы, то стяжатели, а если не стяжатели, то бездельники, а если не бездельники, то алкаши, а если не алкаши, то мямли, а если не мямли, то фантазеры, а если не фантазеры, то нечестивцы, а если не нечестивцы, то клятвопреступники, а если не клятвопреступники, то лихоимцы, а если не лихоимцы, то человекоубийцы.

И на каждого из этих грешников ты растрачиваешь себя, думая, что вот, может быть, удасться высечь из этой глины искру божьего огня, а они, эти грешники, даже не помнят о тебе, даже на смертном ложе своем вспоминая не первую любовь свою, а ту деву, модельку, то ли мисс Москва, то ли мисс Россия, которую ему пришлось задушить, когда кончали Ашотика Рыжего, тогда все таскали за собой этих моделек и Ашотик тоже, разумеется, менял их, как перчатки, он даже не помнил, как звали эту последнюю, как звал ее Ашотик, то ли Машуня, то ли Сашуня, то ли Сосуня, Ашотик и это мог запросто, какая разница, как звать телку, главное, чтобы она была блондин-

кой... и эта тоже была блондинкой с длинными, вечно распущенными волосами... и удавка запуталась в волосах, а эта идиотка успела запустить руки под удавку... но не спереди, а сзади, рядом с его руками... и эти тонкие пальцы шевелились и дергались прямо перед его глазами... синяя прямо на его глазах... за три минуты из белых стали синюшно-багровыми и распухли... а он на все это вынужден был смотреть... потому что ну куда же деваться... не мы такие, а жизнь такая... умри ты сегодня, а я завтра... стрелки-перестрелки, терки-разборки, пальба-гульба, обманутым быть судьба, бары-рестораны-казино, гелены-бумеры, отели и яхты, потные ладони барыг и их дрожжащие взгляды... все зарываются и Ашотик тоже зарвался, и Арнольд решил его убирать... и Саня Велосипедист с Пашей Рябчиком убирали на диване убирали Ашотика, а ему досталась эта Машуня-Сашуня-Сосуня... и он подкараулил ее за дверью, и смотрел одновременно на то, как дергались ее пальцы под удавкой и как дергался на диване Ашотик... А когда все закончилось, на него накатилась такая тошнота, что он бросил труп прямо у дверей и убежал в другую комнату... это была билярдная... и наблевал прямо на билярдный стол... рядом с аккуратно составленными в треугольник шарами... и блевал долго, мучительно и одновременно с наслаждением... пока не выблевал все до конца... пока чуть не выблевал желудок... а Велосипедист с Рябчиком в кабинете матерились и решали... кому разделявать покойников... но он отказался, хотя и знал, что Арнольд будет недоволен... но он сказал, что отравился... что устрицы, вчера, видимо, были несвежие... а Арнольд сам частенько поносил от этих устриц... его крестьянское брюхо отказывалось их переваривать... но он упорно их жрал и потому в Бантикову версию поверил... а на самом-то деле он просто не мог взять в руки топор... ему и удавки хватило, хотя сколько раз он спокойно брал в руки ствол и видел, как чужая братва валилась под его пулями... и никогда не вспоминал об этом... а эту чертову девку стал вспоминать... точнее, это она стала к нему таскаться... придет, сядет и сидит... и не дает достать ключ... а ключ лежит за верхним наличником... он сам его туда положил... встань, протяни руку и возьми, и открой-открой-открой дверь... в шкафу стволы, а в столе телефон... только открой дверь... но она же сидит на пороге и мешает открыть... пришла и сидит... лицо закрыто длинными светлыми волосами... руки зажаты на затылке... кисти ее второе мертвы, пятиконечны... а он лежит рядом с крылечком... чувствуя, как из простреленной спины вытекает кровь... как тает тело и горит душа... и ждет, все ждет, и ждет, и ждет... когда же она посмотрит на него и спросит... так ты вспомнил, как меня зовут... а он не знает, что ей сказать... сказать прости... я говорю прости... так жаль ее... эх, девки-бабы... двуногое жилье... не любящее даже ни себя... одна ушла... другая изменилась... вы обман... я брат обмана... набежало зверье и шумело со всех сторон... мне молчать, как лунь... или мычать, как мул... биться былинкой зла... шляться в венце вина... волком звезде завывать... смерть свою торопя... плакать, тебя забыть... и не любить тебя... ты затаилась и прицел движешь... я пробирался в твою ночь вором... положи опять мне под голову руку... привари к высоте на мою муку... и нам с тобой в одной воде плавать... и нам с тобой в одной гнить яме... прорасти корнями, покрыться корой... или с демоном жить в ущелии под горой... пахнет смертью трава чарытьма... может, и счастья другого не надо... тихо... прижавшись... за стенами... дома... слушать... гуденье... тревожное... сада... в продыхе... между... раскатами... грома...

Последний раскат был усталым и тихим, — то ли от того, что гроза выдохлась, то ли от того, что парашют отнесло куда-то в сторону от тучи. Кислородная маска была мокрой и нестерпимо воняла блевотиной. Валентина с отвращением стянула ее и принялась жадно втягивать холодный воздух, в котором начали мелькать легкие снежинки, сверкающие микроскопическими брильянтами. Несколько штук попало Валентине на губы, и она привычно слизнула их мимолетную свежесть июньского снега, уже не удивляясь непониманию причинно-следственных связей и отсутствию логических цепочек. Земля лежала перед ней, словно на ладони, — белая, белая, затянутая жемчужным полотном снега холмистая равнина, ровно посередине разрезанная на две части швом реки, лед которой сверху отливал голубишной, спрятанной внутри воды. Направо и налево от равнины к горизонту, который, к счастью, уже был виден, уходили леса, черно-белый фон которых был разбавлен зелеными мазками елок и сосен. Пейзаж был настолько типичен, что сомневаться не приходилось, — за пределы своей солоно-горько-кисло-сладкой родины она не улетела. Просто с утра родина была летней, а к обеду стала зимней, но ее родина была способна и не на такие фокусы, — в этом Валентина уже не сомневалась.

На одном берегу реки за темным частоколом стояла деревянная церковь, из трех куполов которой был позолочен только один, центральный. Церковь была окружена черными косыми избушками, между которыми бегали лилипутки в черных халатах и взволнованно махали ручками, сжимающими колышки и, кажется, топорики. А на другом берегу, над которым и пролетала сейчас Валентина, раскинулся цыганский табор невероятных размеров, — шатрами, повозками

и лошадьми было усеяно все пространство, вплоть до леса. От костров тянулись белые струйки дыма, — бродячий народ явно собирался чем-нибудь подкрепиться.

Приземляться прямо на головы ромал Валентине совсем не хотелось. Она озабоченно завозилась в своей люльке из ремней и начала беспорядочно дергать обе стропы, надеясь, что система отреагирует и дотянет ее до второго берега. Почувяв ее приказ, парашют завибрировал и с удвоенной скоростью начал опускаться прямо на табор, так что через три секунды Валентина ясно увидела, что это племя не имело к цыганам никакого отношения. Под ее ногами шевелились все увеличивавшиеся в размерах восточного вида люди: коми-пермяки?.. ханты-манси?.. татаро-монголы?.. чечено-ингуши?.. кто?.. кто?.. кто? — выберите правильный вариант! Вид у этих азиатских скифов с раскосыми и жадными очами был весьма воинственный: у одних на боку виднелась сабля, прицепленная к поясу, перевязывавшему то ли халат, то ли тулуп, то ли малахай; другие держали в руках луки, а из-за их спин торчали колчаны, в которых, к гадалке не ходи, явно были уложены стрелы. Винтовок и автоматов, к счастью, видно не было, как и женщин, и детей. Вся эта масса мужчин, подобно муравьям в муравейнике, ползала туда-сюда, занимаясь какими-то своими важными делами, и, качая остроконечными шапками с рыжими лисьими хвостами, громко обсуждала эти дела, так что Валентине почудилось, что она даже различает слова неведомого языка, поднимающиеся вверх не то воробыным чириканьем, не то вороньим граем, — таўси-таўси, сáлдан бардаўси, тйшки-лешки, щйнимаи нóжки, кúцтян пóлказнт, кáкатам сéделказнт, кúцтям лáпанаст, кáкатам сй вальн сýканязд, кúцтян нýрдазнт, кáкатам кúргазнт!..

«Если эти таўси-таўси меня увидят, то подстрелят, как утку. Хоть один меткий да найдется», — подумала Валентина, все еще дергая за стропы. Но таўси-таўси почему-то упорно ее не замечали: точнее, заметил лишь один, который не спешил ни вытаскивать лук, ни сообщать о редкой птице своим соплеменникам, — точнее, подданным, потому что, судя по огромному синему шатру в золотых звездах, возле которого он стоял и золотым доспехам, которые защищали его грудь, это явно был таўси-таўсинский хан. Он смотрел прямо на нее, а она летела прямо к нему: все ближе и ближе, так, что с каждой секундой все четче и подробнее, словно наводя резкость в бинокле, различала каждую деталь на его одежде, будто на музейном экспонате, — полосатые шелковые шаровары, красные сапоги, расшитые китайскими драконами, кожаную повязку защищавшую шею, разноцветные крапинки драгоценных камней, нанизанных на пальцы правой руки, прижатой к груди. Его смуглое лицо было недвижно, губы под черными усами закушены, а черные глаза смотрели на нее из-под тяжелых азиатских век с каким-то жадным испугом. Бледный березовый строй по краям равнины задрожал, голые ветви затрепетали, свиваясь в жгуты, не находя себе места от какого-то неведомого волнения, словно бы полем, поляной, рекой, небом и космосом, всеми и вся невосполнимо утрачен покой и ни на что опереться нельзя.

Из шатра вышла девушка с распущенными светлыми волосами. Забрав волосы рукой, она надела на голову какую-то красную кичку, увешанную монетками, взглянула на Валентину, и Валентина увидела, что рядом с таўси-таўсинским ханом стоит Валентина, но не Валентина Другая, а уже Другая Валентина. С легкой улыбкой Другая Валентина положила вождю руку на плечо и, приблизившись вплотную, что-то сказала на ухо. В тот же миг впереди, над монастырем, за монастырем, сбоку от монастыря сверкнул силуэт приземляющейся Валентины Другой. «В час рокового смещения эпох сущее обобщий находит язык: шум несмолкаемый, трепет и вздох, долу клоненье и сдавленный крик», — донесся до Валентины явственный шепот Другой Валентины. Заметив Валентину, Валентина Другая радостно помахала ей рукой и, — Валентина могла в этом поклясться! — закивала головой, подтверждая слова их сестры.

— Ах ты нахалка! — гневно закричала Валентина. — Заманила меня Бог знает куда, и еще веселится! Ну, погоди, получишь ты у меня!

Но получила она сама, потому что задремавший было ветер проснулся и шквалистыми ударами в спину потащил ее вперед, через реку, прямо на монастырскую ограду. Подошвы голубых ботинок зачиркали о снег, словно спички. Валентина поджала колени, зажмурилась, закрыла лицо руками, чтобы хотя бы нос остался целым, и по пояс впечаталась в гору рыхлого, пушистого, мягкого снега, наметенного декабрем. Снежная пыль взметнулась вверх и закружилась вокруг ее головы искристой алмазной россыпью.

Еще до конца не веря тому, что она действительно на земле, она выкарабкалась из спасшей ее жизнь снежной кучи и, нетвердо ступая, пошла вдоль вытоптанной вокруг забора тропинке, волоча за собой парашют. Снег усилился и повалил густыми творожными хлопьями, словно своды

небес переполнились им и, устав держать, обрушились, высыпав на землю весь запас. Она шла, толкая себя вперед, не давая себе остановиться, оглянуться, начать отыскивать шатер и вновь почувствовать на себе двойной взгляд пары глаз, — горячих черных и прохладных голубых. Нет, спасибо. Оставайтесь со своими скифами, а мне нужно найти дверь. В заборах обязательно бывают двери, иначе эти заборы ни на что не нужны, вся польза их в дверях. Крутящийся в пространстве снег залеплял ресницы, щекотал ноздри. Слепо моргая и шмыгая носом, она принялась склонять слово **снег**: снег, снѣга, снегу, снег, снегом, снеге, снѣга, снегов, снегам, снѣга, снѣга, снѣга, о Бог, опять снега, а будь, что есть, их нет, снега, мой друг, снега, душа и свет, и снег, о Бог, опять снега, и есть, что снег, что есть, а что такое есть, при чем тут это есть...

Тропинка кончилась, и Валентина тупо уставилась в наваленную перед ней кучу снега выше ее роста, — наваленную явно искусственно, явно лопатой, — а потом, повернув голову направо увидела перед собой дверь: настоящую дверь, небольшую дверь, деревянную дверь, врезанную в ворота дверь, с закругленным концом дверь, с железной скобой вместо ручки дверь. Она медленно стянула с рук серебристо-голубые перчатки, бросив их на землю, взялась за скобу, обжегшую ладонь колючим холодом железа, и потянула дверь на себя. Разумеется, та не поддавалась. Она дернула сильнее, еще и еще раз.

— Валентина, — послышался мужской голос рядом, за той стороной двери. — Валентина! Ау, вы где? Валентина Николаевна!..

— Я здесь! — закричала Валентина, чувствуя, как кто-то тянет ее прочь от двери, и оглянувшись, увидела, что уносит ее все тот же парашют, опять раздувшийся под ветром. — Здесь! — вцепившись в скобу обоими руками и обдирая ладони замерзшей сталью, еще раз крикнула она.

Не определившийся с направлением ветер с размаху нахлобучил ей парашют на голову. Путаясь в белом шелке, она толкнула дверь от себя, — та легко открылась, и Валентина повалилась прямо на человека, стоявшего на той стороне.

* * *

53

Это был Сережа Николаевич. Валентина практически упала ему на грудь.

— Мы вас обыскались, — несколько смущенно сообщил Сережа Николаевич, не понимая, какие действия следует произвести: то ли отстранить Валентину от себя, то ли прижать ее крепче. — Машина приехала, Валентина Николаевна, ехать пора, иначе встанете под Москвой в пробке. Чемодан ваш, как вы и просили, шофер забрал. Вы загулялись, я смотрю? Места у нас, действительно, выразительные. Я думаю, Сесенин стал самым любимым народным поэтом именно потому, что родился и вырос тут, на Оке. Здесь, где ни с ветром, ни с ливнем не споря, зреет под мягким листом земляника, поверх полян голубеет цикорий, и пред грозой природа поникла.

— Я загулялась, да... — снимая с головы шелковый платок, сбитый ветром на нос, и принимая самостоятельное положение в пространстве, растерянно кивнула головой Валентина. — Да, да, надо ехать, конечно же, обязательно, непременно, иначе застрянем в пробке, а шоферу же еще обратно возвращаться, — заторопилась она, решив не озвучивать свои сомнения в том, что процитированные Сережей Николаевичем стихи вряд ли принадлежат перу великого народного поэта Сесенина.

Они направились к воротам, находившимся прямо напротив той запасной дверцы, из которой Валентина вышла погулять на берег Оки. У ворот стоял Адраазар, видимо, вышедший проводить университетскую делегацию, и смотрел в пространство своим отстраненным от всего земного и не по-земному прекрасным взглядом.

— Доброго пути, — глядя мимо Валентины и Сережи Николаевича, ласково пожелал он. — Храни вас Господь, приезжайте еще.

Валентина остановилась.

— Я сейчас, я буквально секундочку, пару слов и приду, мне кое-что спросить надо, — она порывисто бросилась к монаху. Движение получилось настолько резким, что тот невольно поддался назад, выходя из своей медитации.

— Батюшка, скажите... — сбивчиво зачастила Валентина. — Скажите, вот вы нам рассказывали

про Валентину Ивановну Учайкину, она с парашютом прыгала и иконы вам, то есть монастырю, принесла, и муж у нее улетел и не вернулся Скажите, а можно мне с ней повидаться? Она в Ушупове живет? Хотя повидаться уже не успеем, можно мне ей написать? Вы знаете ее адрес? Если не знаете, то, может быть, можно вам написать, а вы бы ей передали, можно так? Пожалуйста...

Вышедший было из медитации Адраазар начал снова погружаться в дзен.

— Валентина Ивановна представилась, так что повидаться с ней вам уже никак не получится, — бесстрастно сообщил он.

— То есть как представилась? — потерянно переспросила Валентина. — То есть умерла, что ли, вы это имеете в виду? То есть как же это умерла?.. Почему? Когда?..

— После завтра сорок дней как будет, — так же спокойно, не реагируя на ее волнение, объявил монах. — Болеть ничем не болела, в одночасье умерла. Но, полагаю, чувствовала свою кончину, потому что за три дня до нее исповедалась и причастилась. Впрочем, после восьмидесяти лет она это делала каждую неделю, как и подобает добрым христианам, ибо в столь почтенном возрасте следует думать более о царствии небесном и жизни вечной, а не о делах мирских.

За воротами раздался возмущенный сигнал машины, — шофер, видимо, уже устал дожидаться, представляя шести-восьмичасовое путешествие из Юрюзани в Москву и обратно и изучая расписание пробок по Куглу. Валентина механически кивнула монаху и двинулась к воротам с чувством странной незавершенности, холодившей душу, как сквозняк. За воротами на нее накинудись высокоученные дамы.

— Не надо, не надо, — махала руками Римма Васильевна, когда Валентина протянула ей платок. — Оставьте себе на память, тем более, что он теперь, можно сказать, освященный.

— Памятные подарки от организаторов конференции, — совала бумажный пакет Светлана Борисовна. — Были очень рады вашему участию.

— It was nice to meet you,⁴⁵ — расплывалась в этикетной улыбке Сальма, приветливо кивая увесистым семитским носом.

— Ну что вы, не нужно, спасибо большое, я тоже была очень рада, thanks, me too,⁴⁶ — отвечала Валентина.

Окончательно потеряв терпение, шофер завел мотор и снова надавил на сигнал, — небольшая изящная «Вауди» взревела неожиданным басом, как мощная фура. Дамы заохали и кинулись обниматься. Римма Васильевна пустила слезу и трубно высморкалась в бумажную салфетку. Валентина опустилась на сиденье, и шофер рванул вперед, не дожидаясь, когда она захлопнет дверцу, — какой же русский зараец не любит быстрой езды? Запылила дорога, замелькали желто-зеленые поля, холмы, склоны, рощицы и перелески, вновь раздвигаемые неохватным равнинной ширью, над которой висело вечное небо, — величаво-синее, с редкими белыми прожилками облаков. Поглаживая пальцами левой руки неизвестно где ободранную правую ладонь, Валентина бездумно смотрела на российские пространство, в бескрайней пустоте которого любое сломанное дерево казалось тайным знаком, заключающим в себе великую тяжесть скрытого смысла.

В сумке запищал мобильник. «Я нашел ночью 11 макриц, убил семь, остальные убивали. Делай штотал!» — возмущенно писал ей из далекой Винляндии ее двенадцатилетний сын, мужественно сопротивлявшийся не только мокрицам, от которых они не могли избавиться уже третий год, но и неврастеничному мужу своей глупой матери. Улыбнувшись, Валентина положила телефон обратно в сумку. Странно, но мысль о Шурике больше не приводила ее в отчаяние. Худенький, низенький, лысенький смешной еврейчик, пытающийся криком добавить себе важности. Было бы из-за чего (кого) изводиться. Pois kotoani ja anna minun olla,⁴⁷ как говорят винны, знающие толк в независимости.

Мобильник замыкал снова. Валентина засунула руку во внутренний кармашек, но телефон, разумеется, уже находился где-то в недрах сумки, куда вмещалось все, от косметички до ноутбука.

45. Было приятно познакомиться (англ.).

46. Спасибо, мне тоже (англ.).

47. Прочь из моего дома и оставь меня в покое (винск.).



Валентина принялась откапывать средство связи, выкладывая на сиденье походное баракло. Ноут, косметичка, кошелек, расческа, записная книжка, сверток в белом вафельном полотенце. Такого свертка у нее до Юрюзани точно не было, что за подарок они ей засунули и когда? Сдвинув брови, она развернула старенькое вафельное полотенце: внутри была завернута старая, совершенно выцветшая икона, с которой на Валентину смотрел темный лик старика с седыми кудрями и бородой, завивавшейся кольцами. Указательный палец правой руки он прижимал к губам, словно призывая Валентину хранить неведомую тайну, а левым водил по странице книги, лежавшей на коленях, — написанное было уже полностью стерто временем. На правом плече старика, вцепившись мощными когтями в рукав, сидел грозно разевавший клюв сокол. Из-за левого плеча выглядывал миниатюрный чернявый архангел, мальчик-с-пальчик с крыльями. С правого боку притулились фигурки женщины и мальчика с когда-то золотыми нимбами вокруг голов: прозрачными и тонкими, почти невидимыми руками они указывали на старика. Поверх иконы шла уцелевшая под прессом столетий надпись.

«СТЫ АПЛЪ ІВАНЪ БЗВЪ», — напряженно сощурившись и шевеля губами, прочитала Валентина. «Они с ума сошли, что ли? — в полном недоумении подумала она. — Это же явная историческая ценность, я ее через границу не провезу. Придется в Москве зайти в какую-нибудь церковь и там оставить, пусть разбираются». Телефон пискнул в третий раз. Валентина выудила его с самого дна и коснулась значка сообщений на экране: Спутник (2) — высветилось на ленте. Она торжествующе усмехнулась, как может усмехаться только женщина, побеждающая мужчину. Два дня назад они разругались в пух и прах, и вот он пришел к ней на поклон, — ну еще бы, он десять эсэмэс напишет, чтобы затащить ее сегодня вечером в постель. По-хорошему, надо бы и эту историю закончить. Валентина решительно ткнула пальцем в телефон и открыла сообщение:

«И если ты думаешь, что это конец, то сильно ошибаешься».



Александр Петрушкин *Aleksandr Petrushkin*

* * *

Так свет обречен проливаться
на плавный, как женщина, снег
обрезанный по форзацу,
который слабал человек
[и, что вероятно, мужчина
который, наверно, любил
весь свет и его дармовщину
и это ответное свил
гнездовые стрекозам и осам,
которые в черных кустах,
обугленных по морозу,
лежат у мимозы в руках,
которые свет заслоняют,
как женщину в полрой руке,
и сами себя проливают,
как дождь отзеркаленный в снег].
Так ты, обреченный — на пару
с тоскою себя обрести —
стоишь на берегах насекомых
у женщины внятной реки.

2015, 10 марта

* * *

Вот радость слепнувших детей —
что сорная трава на солнце
еще упрятана в зерне
средой рыжеющих колосьев,

среди которых, нет, не я
но тоже медный и звенящий,
несет в глубинах светляка
до самой темной и скользящей

своей же тени, что внутри
себя горит и, извиняясь,
не про меня, но говорит —
куску бумаги растворяясь,

как бы кромешная зола,
глядящая вверх в оконце,
чья радость слепоты не зла,
но лишь упрятана на солнце.

2015, 15 января

... или Воронеж, или алфавит —
возможно, что-то левое болит,
поет в дрозде — как будто перевод —
летит с плеча о землю вертолет.

Среди его порезов, лопастей
январь хоронит голоса гостей
на целлофан, как на лицо кладет
горячую ладонь — вдруг оживет

и полетит по ветру там, где речь
не успевала мертвецов сбересть —
один из них сегодня мне в окно
стучался ночью и стоял темно

в пятне январском, плакал и болел —
меня печатал или вслух жалел
или Воронеж, или алфавит —
как целлофан, где левое болит.

2015, 26 января

ПОСВЯЩЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКУ

Земли любовь раздвинула здесь ноги
пытается меня поцеловать,
объединить с тем Богом на пороге,
который задался меня ждать

в своем резном окошке, что не влезло
в понятие родины и всех ее берез,
в понятное земле сопротивление, и зло,
что — непременно и мое.

Разверзлась хлябь, Челяба с вкусом цинка,
с плотвою звезд в потьме пурги иной,
что отплывает где-то здесь, у цирка,
за полой и китайскою луной,

где я, пожалуй, жив еще недолго,
хотя и охлажден, как мясо, здесь
хотя и кожа, шитая упруго,
ползет и расползается под треск

идущего по льду, не по Миассу,
дышащего не воздухом — виной,
когда дождь исполняет водолаза —
роль, там, где спит пчелиный рой,

где снег, надрессированный до жути,
несется в псарню, будто в пьяный лес,
порвать их лай на колдырей, чтоб мутны
их очи были, и прекрасны, здесь,

где плакал пес любой любого рода,
и чтобы, затекая в темный дождь,
в руке у пьяницы великая природа,
все плавилась и плавилась на рот.

2015, 10 марта

ASPHYXIA

Посмотрит выдох в воздух — словно в воду,
которая мертва, а не жива,
чья дребезжит древесная повозка,
что спрятана в сосне, и из тепла
ее, как из утробы землянистой
скрипит ходулями под ранкой янтара.

Рай встрепенется, будто кто-то выжил,
и, балуясь веселой анашой,
такое на его березках вышел
младенческой нетвердую рукой,
что выдох обратился снова в воздух
и только после стал густой рекой.

И медь качалась в тетиве у вдоха,
то в соловье, то у комков стрекоз,
на уголь кислый закрывая шепот
невидимых и точных берегов
переходя парной, непарный чаек клекот,
что оставались под воды дугой.

2015, 19 января



КУВШИН БРАДОБРЕЯ

Ульяне Чиняевой

—1—

небо, что шумит в кувшине,
с переломами внутри
— се душа из мышеловки
снега нежного дрожит

все — душа, и столь же рядом
и смыкается в речей
лики, лица и в пернатой
связке неба от ключей

се твое же отраженье —
что вода в себя взяла
плоти слабой поражение
как бескрайняя жена

—2—

так ли пыжик успокоен?
так ли снится им вода? —
и потоп необездолен,
но отпизжен — это да.

подходи к своей Фонтанке,
где оторванным лицом
вслед бежит в любой Каштанке
на Садовое кольцо.

не беда, что километров,
вероятно, здесь шестьсот
все равно нам надо бегать —
пусть оторванным лицом.

—3—

Воздух порист и высок —
над тобой парит в хаосе
если бы ты жил в Лаосе
то повесился б чуток.

Чуток дождь и болен страшно —
На народ идет водой.
То, что вол вспахал не важно
Он в бинтах и с головой

голою сидит снаружи
от космических огней,
а вокруг порхает стужа —
будто мертвый брадобрей

Брадобрей заходит в нолик,
как классический чужак,
воздух пористый высокий
врос в его пустой пиджак.

— если Бог ожил в Лаосе,
значит мне туда! Туда!
Кислород уходит скорый,
чудный словно борода.

—4—

если мы разучимся плакать
если оплавимся [так] по краям
если не яма то мотыльками
смерть мотылькам

если рыжее от страха лишица
все растерять [кожи лету раздать]
если печенье поломано леты
не переждать

если по холоду ходит крошечный
клен что внутри у зренья стоит
если не мор то мотыльками
мимо летит

2015, июль

ЛАЗАРЬ

Приходил сегодня мертвый
говорил со мной живым,
ставил инея припарки
на дыханья волдыри —

Дыры плакали, смеялись
и летели поперек
мертвые, как тело, чайки —
той, которую изрек

темным звуком привлеченный
говоривший надо мной.
Расставляя в смерти челны
разветвления стволов

он стоял у чайки в клюве —
словно колокол стыда,
смех, как петли, перепутав
в спиленных насквозь садах

говорил со мною мертвый
и живым мне отвечал:
улица, как глаз, аптекарь,
бог, вода, нога, причал.

И царапали дно ногти,
на которых, лежа с ним,
слушали, кем плачут кони,
в снег, хохочущий, как нимб.

2015, 21 декабря

* * *

Над преисподней — лед, бумажный лед
хрустит и говорит ночь напролет,
ночь напролет — из всяческих затей,
растет из человеческих костей.
Все слишком человеческое в аду —
что вероятно = я сюда сойду,
и лед бумажный разгрызет мой рот,
где конопля насквозь меня растет.

Похоже слово наше — тоже ложь,
его не подобрать — попробуй шов
и кетгут, и крючки на вкус прожив,
ты попытаешься лед этот перейти,
перерубить кайлом, хайлом, собой
и бабочкою с мертвой головой,
ветеринаром на одной ноге
[с вороной и свободой в бороде].

Опишем все исподнее как рай,
где кислород сочится через край
через замороженный в бумагу синий лед
которым только кровь от нас плывет,
подобно кровле, Питеру во тьме,
что с Китежем войну ведет на дне
козлиный дом проходит через дым —
что сделаем мы с ним, таким живым?

Куда мы поведем свои стада,
которые, не ведая стыда,
растут в садах овечьих и летят
среди пархатых этих медвежат
на улицу по имени меня —
одну из версий белых тупика,
ложатся вдоль огня, в бумажный лед,
ощупывая тень свою, как ход?

Стада идут здесь, голые стада,
в подмену рая, слова, в имена —
на их знаменах белые скворцы,
и двери, что скрипят на тельце их,
возможны, как за дверью пустота
которая [как лед] сомкнет уста
бумажные, в которых смерть течет
надежна и густа — как донник в мед.

Пусть пастухи моих живых костей
в ночи шумят, в резине тополей,
и льются сквозь пергамент твердый снов —
пока подложный рай мой не готов

пока хрустит над преисподней лед
мой псоголовый, будто милый кров.
я буду здесь в своих родных садах,
где прячет дерево в самом себе тесак.

2015, март

* * *

Гудит овечий красный рот,
как электрическая лампа —
возможно, все наоборот
и кровь возвращена. Обратно

застыли сено и село
в кольце, где катится наутро,
через уловы воробьев,
овечий красный рот премудрый,

где в электричестве застыл
поток летит — почти как птица,
ловя на свой даггеротип,
как удивленье, наши лица —

что жертва принята, взята
скорее в дом, чем поневоле,
а здесь осталась пустота,
похожая на бога нолик.

И, Сара, где твои часы,
что тень от стрелок кипариса,
в которых спит измаилит,
и помнит, что пустыня длится —

пока гудение его,
похожее на голос мглистый —
прозрачно как Ицхак, легко
как, пыль, что длит мотоциклиста?

2015, 22 декабря





Ирина Глебова

Irina Glebova

ПЕРВЫЙ СНЕГ

*Знаешь, она была
Родиною моей...*

Рамиль Сарчин

Родилась в Саранске. Окончила факультет иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева. Автор двух поэтических сборников – «Камертон» (2003) и «Другие» (2008). Дважды лауреат Международного фестиваля-конкурса «Литературная Вена» (Австрия, 2010 и 2012), бронзовый и серебряный призер Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» (Бельгия, 2011 и 2013), лауреат Открытого литературного конкурса им. В.Г. Короленко в номинации «литературный стиль» (Россия, 2012), бронзовый призер Международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль» (Россия, 2012).

Сегодня Вовке снова снилась бабка. Вот он приходит из школы, забегает на кухню, а она стоит возле раковины и моет посуду. Кухонное окно открыто настежь, и старый тополь, с любопытством заглядывающий в дом, шелестит сухими, изломанными листьями, будто хочет поговорить о том о сем. Бабка маленькая, хрупкая, как осенняя травинка, с белоснежными, реденькими, вьющимися волосами. Вовка прижимается к ней, трогает ее морщинистые руки и чувствует, что они теплые и мягкие, словно впитавшие в себя солнце. Бабка перебирает его непослушные волосы и улыбается.

— Бабка, — радуется мальчуган, — ты приехала!

Бабка смеется, а Вовка, как маленький, бодает ее в грудь.

— Старушенция... — заливается он, берет бабку за уши и качает ее голову туда-сюда.

— Ну, ты не уедешь больше?

Бабка молчит и улыбается, и гладит его по волосам.

— А мне спиннинг купили! — хвастается Вовка. — Щас покажу, — и убегает в комнату. Достает из шкафа удочку, а когда возвращается на кухню, бабки уже нет. Только старый тополь задумчиво поигрывает листьями, и невесомая прядь поседевших волос летает по полу, подгоняемая ветерком.

Вовка бросает спиннинг на пол и выбегает в прихожую. Но и там никого нет. Будто никто и не мыл посуду, и не было ничьих рук, крепко прижимавших его к себе.

* * *

Вовка проснулся среди ночи от того, что подушка стала мокрая и неприятно липла к лицу. Он включил фонарик, который прятал под одеялом, и высветил настенные часы. Половина третьего. Луч света прогулялся по стенам и замер в дальнем углу, где стояло бабкино кресло. Она частенько дремала там осенними вечерами. Кресло, конечно, стояло пустым, а через деревянный подлокотник были перекинуты Вовкины штаны. Вовка выключил фонарик, перевернул подушку сухой стороной и уткнулся в нее носом. С обратной стороны подушка была жесткая и пахла шампунем «Арбуз». «Подушка — лучшая подружка», — смеясь, говорила бабка.

Вообще-то, хорошие сны Вовке снились редко, чаще всего он долго не мог уснуть, а все лежал, глядя в темноту, и выдумывал разные истории. С тех пор, как родители развелись, а бабка уехала, жизнь у него не ладилась. Вот, сегодня мать снова вызывали в школу из-за ручек. Вовка и сам не знает толком, почему грызет ручки, но на этой недели он сгрыз целых три. Но свои-то ручки еще полбеда! Вчера он сгрыз чужую, вернее, не совсем чужую, а ручку Кольки Шуркина, соседа по парте, и Татьяна Михайловна снова вызвала мать. Каждый раз после этих «вызовов» мать пла-

кала; Вовка очень боялся этих безголосых материнских слез и поэтому прятал обгрызенные ручки и карандаши за шкафом.

А в минувшие выходные, как назло, приехал большой грузовик, вывез половину «совместно нажитого имущества», и мать всю неделю бродила, как потерянная, по опустевшей квартире.

После школы Вовка зашел в Роспечать, купил в киоске конверт, две марки, пришел домой и стал писать бабке письмо. Последнее время бабка сильно сдала — правый глаз слезился и почти ничего не видел, поэтому левый, зрячий, бабка берегла. «Вот приведет Володечка невесту, как я ее разгляжу?» — лукаво улыбалась она и подмигивала Вовке здоровым глазом. Вовка, который в этом году пошел в первый класс, теперь читал ей газеты вслух. Читал он неважно, кое-где даже и по складам, но бабка терпеливо слушала и одобрительно кивала головой. «Бабка слепенькая у нас, — говорила мать, — совсем ничего не видит. Ты уж следи за ней, Володька. Забредет куда-нибудь, потом с собаками не отыщешь...»

Вовка порывался в письменном столе — так и есть: ни одной целой ручки. Все обгрызены, и при нажиме паста вываливается с обратного конца. Под стопкой тетрадей нашелся синий карандаш, — можно ведь написать и карандашом, если постараться?

«Дорогая бабка! Я по тебе соскучился. Хочу, чтоб ты снова приехала к нам домой. Я живу не очень. Мама тоже. Каждый вечер она плачет, а я ее желею. В воскресенье увезли шкаф. Приезжай. Володька».

Он перечитал письмо и нашел, что написано очень хорошо. Ничего лишнего. «По существу», — сказал бы отец. Вовка сложил письмо вчетверо, аккуратно поместил в конверт, запечатал его и приклеил две марки.

Возле почтовых ящиков «По городу» и «По России» ему встретилась дворничиха, тетя Дуся. Женщина в ярком форменном жилете неторопливо подметала дорожку.

- Здравствуйте, — поздоровался Вовка, — а вы тут тоже метете?
 - Мету, а как же? И еще соседний двор, — пояснила тетя Дуся. — А ты чего здесь?
 - Да так, — замялся Вовка, — письмо бабке отправляю...
 - А-а, — протянула тетя Дуся. — А как мамка твоя? Работат?
 - Работает. Она теперь в магазине «Рыболов».
 - Вона чо! — дворничиха отложила метлу и присела на выступ между почтовыми ящиками. — Рыбой торгует?
 - Неет, — засмеялся Вовка, — снасти продает. Для рыбалки.
- Тетя Дуся вытащила из кармана носовой платок и громко высморкалась.
- А папка где?
- Вовка покраснел.
- Папка ушел... — сконфуженно выпалил он. — И мебель увез...
 - Туды меня два раза! — воскликнула тетя Дуся. — Надо же! А ведь какой позантный мужчина! Ну, ничаво-ничаво, — тетя Дуся приблизила к Вовке свое краснощекое, обветренное лицо, — заживет. Мой тоже ушел, оставил меня с тремя дитями, мал-мала меньше...
 - А почему ушел? — полюбопытствовал Вовка.

— Почаму-почаму! — с досадой сказала тетя Дуся. — Кабут не знаешь, почаму. По кочану да по капусте... — дворничиха смачно плюнула под ноги, взяла метлу и зашаркала по асфальту, поднимая в воздух жухлые листья, которые с хрустом ломались под ногами прохожих.

* * *

Из школы, как обычно, Вовка возвращался со своим приятелем Колькой Шуркиным. Они доходили вместе до большого перекрестка, и Колька сворачивал вниз, к скверу, а Вовка переходил дорогу и шел дальше один. Сегодня, как назло, за ними увязалась Варька Зайцева и всю дорогу без умолку трещала про своих винсков. Пришлось идти молча и слушать эту девчачью ерунду.

Варька болтала-болтала, а потом вдруг затаилась и говорит:

— А я вчера в Киномаксе твоего папку видела. С какой-то тетенькой.

У Вовки аж дух захватило, как будто под дых ударили. Хотел ответить да язык проглотил.

— Ну и что? — сказал Колька. — Может, это его сестра была. Да, Вовчик?

— Угу... — только и смог выдать Вовка.

— А вот и не сестра, — закричала Варька, — он эту тетеньку под руку вел. И вообще — у нее цветы были!

— Может, это вообще не он был, — стал спорить Колька. — Ты же, Зайцева, слепая, как крот... Как кротесса!

— Сам ты крот! — возмутилась Варька. — Я в очках была! Это точно он был! У меня очки — для дали!

— А надпись вон ту можешь разглядеть? Слабо? — не унимался Колька. — Вон ту, через улицу?

— У меня очки в сумке, — сказала Варька.

— Эээ, — Колька махнул рукой, — я же говорю — кротесса!

— Сам ты кротесса, — обиделась Варька. — Дураки.

Она развернулась и пошла в противоположную сторону. Вовке стало жаль Варьку, но еще больше ему было жаль себя, потому что он знал, что Варька права. Поэтому он продолжал угрюмо молчать и громко шаркать ботинками по тротуару.

— Да ладно тебе, Вован, — заметил Колька, когда они дошли до перекрестка, — подумаешь! Пошли лучше в зомбаков зарежемся.

— Меня мамка ждет, — буркнул Вовка и отвернулся.

— Как хочешь, — Колька пожал плечами и повернул направо.

Возле светофора стояла пожилая женщина. Старушка замерла на тротуаре возле проезжей части и боялась перейти на другую сторону. Свет уже несколько раз сменился, хаотичный поток машин несся по оживленной магистрали, а бабуля все не решалась идти. Вовка подбежал к незнакомке, взял ее под руку и, когда загорелся зеленый, повел через дорогу.

— Не бойтесь, — сказал он женщине, — уже можно.

Бабушка, подобрав клюку, вцепилась Вовке в плечо, и тихонько засеменила рядом.

— Тебя как звать-то, родной? — спросила она, когда наконец путь был пройден.

— Вован, — ответил Вовка небрежно.

— Ты, небось, пионер? — спросила старушка и заулыбалась, отчего на ее морщинистых щеках появились симпатичные ямочки.

— Что вы, бабуля, — засмеялся Вовка, — какой пионер! Их уж нет сто лет. Я «зеленый».

— Это кто ж такой — «зеленый»? — удивилась женщина, так и не отпустив Вовку и идя с ним под руку. — Садовник, что ль?

— Не-а, — ответил Вовка, — это который природу защищает. Ну, там зверей всяких, растения.

— А-а, — бабуля покачала головой, — вот оно что! Зверей...

— А вам сколько лет? — поинтересовался Вовка, подтягивая ранец, сползший с плечей и висевший на локтях, оттягивая назад туловище.

— Мне? Семьдесят девять, восьмидесятый уж идет, — бабка снова заулыбалась, сунула руку в карман и стала шебаршить в невидимом пространстве, отчего пола пальто легко заколыхалась.

— Значит, скоро помрете?

— Помру, сынок, конечно, помру, — согласилась старушка. — Чай, все мы когда-нибудь пом-

рем. Все мы там будем, — женщина печально покачала головой, извлекая из кармана горстку леденцов.

Она протянула конфеты Вовке.

— На-ка, угощайся. Кушай на здоровье.

Мальчишка взял один леденец, развернул и быстро засунул в рот. Леденец был мятный и приятно пощипывал язык.

— И я умру? — Вовка вопросительно посмотрел на старушку, загоня конфету за щеку.

Старушка не расслышала: она отстранилась и, опершись на клюку, приготовилась штурмовать скользкое крыльцо аптеки.

— А у меня тоже бабка есть, — тихо сказал Вовка. — Только она уехала сейчас. Она на зарядку ходит во Дворец спорта.

— А? — переспросила женщина, забравшись на первую ступеньку. — Спортом занимаешься?

— Да каким спортом! — обиделся Вовка. — Я про бабушку рассказываю!

Он развернулся, сбежал с крыльца и пошел восвояси.

— До свидания, сынок, — ее морщинистые щеки снова заиграли добродушными ямочками, — будь здоров!

* * *

Отец заехал в пятницу вечером. Он повесил плащ на обычное место — где всегда оставлял его, приходя с работы. Ботинки аккуратно поставил у порога, достал из кармана расческу и уложил на пробор темные тяжелые волосы. Вовка наблюдал за ним из-за приоткрытой двери, но как только отец направился к нему, вернулся за письменный стол. Папка прошел в комнату и уселся в старое бабкино кресло. Вовка открыл учебник и, повернувшись к отцу спиной, взялся решать арифметику.

— Пять прибавить восемь. Сколько от восьми до десяти не хватает? Двух. Сколько от пяти остается? Три... — рассуждал он вслух.

— Здравствуй, сынок. Как поживаешь?

Вовка оторвался от учебника, равнодушно поглядел на отца и продолжил:

— Остается три. Значит, получится тринадцать...

— Может, в шахматы сыграем? — предложил отец.

Не дождавшись ответа, он залез в ящик письменного стола, достал коробку шахмат и стал расставлять фигурки на доске.

Вовка обернулся и внимательно посмотрел на отца. Что-то в его внешности изменилось.

— Пап, а где борода?

Отец всегда носил небольшую бородку, аккуратно стриженную и пушистую. Вовка, когда был маленький, любил залезть к отцу на колени и гладить бороду рукой, ощущая, как жесткий волос щекочет ладони. Теперь папино лицо было совсем обнаженным, гладким и робким. Хотелось подрисовать ему щетину или до носа обмотать шарфом.

— Да вот, — засмутился отец, — решил так походить. Без бороды.

— А мне так не нравится, — выпалил Вовка, отвернулся и, пока отец расставлял последние фигуры, потихонечку отгрыз кончик у синего карандаша.

— Ну что ж, ходи, — сказал отец, после того как сын вытащил белую пешку.

Вовка неохотно сделал ход. Он все разглядывал отцовское лицо, и какое-то неприятное чувство, как ледяное облако, собиралось у него под рубашкой.

— Папа, а почему ты больше не хочешь жить с нами?

Отец, который намеревался сделать ответный ход, поставил фигуру обратно и неловко почесал в затылке.

— Сынок, понимаешь... — начал он. — Жизнь такая сложная штука... Иногда все складывается не так, как бы нам хотелось.

— А как бы тебе хотелось, папа? — спросил Вовка.

— Хм, — растерялся отец, — ну мне бы хотелось, чтоб мы с тобой почаще виделись.

— Тогда почему же ты уходишь? — искренне недоумевал Вовка, пристально рассматривая отцов гладко выбритый подбородок, который еще недавно украшала борода, — по кочану да по капусте?

— Ты, брат, сегодня совсем не расположен к игре, — рассердился отец, — а я-то надеялся, мы с тобой сыграем, как раньше.

Он поднялся и отошел к окну. Прищурив глаза, долго вглядывался в осеннюю мглу, по привычке потирая рукой подбородок, а потом присвистнул:

— Глянь-ка, Володька! А липы-то наши срубили. Помнишь? Которые мы с тобой по весне от мышей белили.

Вовка подошел и выглянул в окно. Возле сарая, где еще летом красовались две красавицы-липы, торчали два приземистых пенька, которые маляры из ЖЭУ покрасили в бирюзовый цвет. Вовка взял отца за руку и легонько покачал ее. Отцовская ладонь была сухая, жилистая и тяжелая. Но во всем силуэте его было что-то знакомое, мягкое и сладкое.

— Когда ты вырастешь, ты все поймешь. Видишь ли, Володька, — отец смущенно опустил голову, — я просто встретил своего человека. Родственную душу...

— А как же мы? Мы что же, не родственные? — Вовка щурился, пытаясь разглядеть два пня у покосившегося сарая. «Надо же, — размышлял он, — стояли себе два дерева, никого не трогали. А их взяли и спилили...»

Отец подхватил барсетку и, не прощаясь, выскользнул из комнаты. Из прихожей донеслись его слова, обращенные к матери:

— Не ожидал от тебя, Лиза, что ты будешь сына против меня настраивать.

Мать помолчала, а потом сказала:

— А ты, Миша, думаешь на двух стульях усидеть? И с новой бабой крутить, и чтоб Володька за тобой как хвост ходил? Ты думаешь, сын твой — простачок?

— Нет, я не думаю, — завелся отец. — Я думаю, что его эти дела вообще не касаются.

— Иди-ка, ты, Миша, домой, — вздохнула мать. — У тебя теперь другой дом. Володьке не три года, чтоб ты ему лапшу на уши вешал, — она зашлась неприятным смехом и удалилась на кухню.

Отец потоптался в прихожей и тихо ушел.

* * *

В понедельник Вовка получил пятерку по литературе. Читали отрывки из «Маленького принца», и учительница спросила ребят, как они понимают выражение «Мы в ответе за тех, кого приручили». Вовка сразу поднял руку и рассказал про то, как соседи выкинули старую кошку, потому что она забывала ходить в лоток, шерсть у нее стала редкая и плохо пахла, и в квартире поселился неприятный запах.

Радостный, Вовка побежал в супермаркет за хлебом. Мама написала ему «продуктовую записку». В записке говорилось, что надо купить булку-ромашку, полбуханки черного хлеба и пакет молока. Вовка взял корзинку и поплелся в хлебобулочный отдел. По дороге он заглянул в отдел посуды, оставив пустую корзинку возле стенда «Наша акция», и стал жадно обшаривать глазами полки с кухонной утварью. Сиреневая ваза с белой лилией и белой каймой по горлышку все еще была здесь. Вовке вспомнилось, как долго они с бабкой собирали наклейки и клеили их в специальную книжечку, чтобы получить по акции эту вазу. Когда Вовка заполучил последнюю

наклейку, они с бабушкой сразу же собрались в магазин. На кассе бабушка достала из сумки книжечку и протянула продавцу. Руки у бабушки тряслись, и она очень смущалась из-за своей нерасторопности. Продавщица повертела в руках наклейки, потом вернула их бабушке и сказала:

— Эта акция закончилась вчера.

У бабушки задрожали губы, но она послушно взяла книжечку и сунула назад в сумку. Вовке стало обидно за бабушку, и он выпалил:

— Это нечестно! Мы их целый месяц собирали! Дайте нам приз!

Продавщица холодно посмотрела на Вовку и пожала плечами:

— Мальчик, акция кончилась. Ничем не могу помочь.

— Но вы же сами давали нам наклейки! — закричал Вовка и топнул ногой для устрашения. — Так нечестно! Это наша ваза!

На шум прибежал администратор и стал выяснять, что случилось. Бабушка не любила ругаться, поэтому взяла Вовку за руку и отвела от кассы:

— Не расстраивайся, Володечка. Шут с ней, с этой вазой. В другой раз попытаем счастья... Жизнь-то длинная.

В глазах у бабушки стояли слезы, она как-то вдруг поникла и стала похожа на высохший цветок. Вовка мужественно направился к выходу, но, честно говоря, он и сам был готов вот-вот расплакаться. Всю обратную дорогу они шли молча.

И вот, представьте себе: эта ваза, в подарочной упаковке, все еще стояла на полке. Вовка осторожно взял полупрозрачную коробку: ваза была небольшая, изящная, с тонким узором, гораздо лучше, чем на картинке. Вовка огляделся — в отделе никого не было, только какая-то худая женщина в очках разглядывала кастрюлю на соседней полке; — он быстро вскрыл коробку со штрих-кодом, вынул оттуда вазу и засунул в ранец, который перед этим стянул со спины. Потом он водрузил ранец обратно и отправился за хлебом. Фарфоровое изделие предательски позвякивало в портфеле, и Вовка шел медленно, передвигаясь на полусогнутых ногах.

На кассе продавщица отдала Вовке чек и протянула пакет с покупками. Он поблагодарил продавщицу и так же осторожно, как индеец на тропе войны, покинул магазин.

Душа его ликовала. Он еле-еле сдерживался, чтобы не побежать. «Вот приедет бабушка, — думал он, — а ваза на столе стоит! Вот бабушка-то обрадуется!»

Дома Вовка вынул трофей из ранца и спрятал в ящик письменного стола. Мама зашла в тот момент, когда он в очередной раз открывал ящик, чтобы полюбоваться на приобретение.

— Что там у тебя, а? — резко спросила мать. — Опять погрыз ручки?

Вовка вздрогнул и задвинул ящик. В глубине негромко звякнуло.

Мама подошла и снова выдвинула ящик. На дне, за стопкой тетрадей и россыпью цветных карандашей, лежала фарфоровая ваза с белой лилией.

— Какая прелесть, — сказала мама, — откуда это у тебя?

Она была так восхищена, что даже не заметила двух пожеванных карандашей, торчащих из карандашницы.

Вовка замешкался, сочиняя ответ, а потом вспомнил, что у матери через месяц день рождения, и сказал:

— Это так... Ко дню рождения...

— Спасибо, — заулыбалась мама, — только он ведь еще не скоро...

— Да я так... — пробормотал Вовка, — заранее. Я тебе ее потом подарю.

— Эх, Вовка, Вовка, — мама присела рядом, — добрая ты душа, — она поправила сыну воротник и звонко хлопнула в ладоши. — Вовка — добрая душа, позабавь-ка малыша!

Потом она заметила два испорченных карандаша, но ничего не сказала, а унесла их с собой и выбросила в мусорницу.

* * *

На следующий день Вовка вместо плавания решил поехать в городской парк аттракционов: сезон катания подходил к концу. Колька в парк идти отказался, а сразу после уроков побежал домой мочить зомбаков.

В парке было промозгло и безлюдно. Накапывал мелкий дождик, и крошечные прозрачные капли, словно вылинявшие божьи коровки, ползали по спинкам деревянных парковых скамеек. Деревья, заметно погрузневшие, шелестели редкими бесцветными листьями. Знакомый уборщик в ярко-оранжевой униформе собирал листву в большие пестрые кучи, а потом складывал в холщовые мешки, которые стояли, толстобрюхие, перевязанные под горло, вдоль аллей. Аттракционы отдыхали. Только «Солнышко» крутило в расписных корзинках двух малышей, с восхищением рассматривающих веселую румяную рожицу в центре выпуклого круга.

Вовка направился в дальний конец парка, где в тени старых тополей, не так давно зеленых и разговорчивых, а ныне облетевших и от этой наготы будто безязыких, пряталась большая карусель. «Индия» — гласила потускневшая надпись над металлическими воротами, а ниже, на ограде, висело объявление: «Аттракцион временно не работает». Вовка разбежался и ловко перемахнул через невысокую ограду, влетел на лестницу и помчался по крутым ступенькам вверх.

— Эй, сачок, ты куда? — раздался голос позади. — А ну-ка вернись! Ты что, читать не умеешь?

Вовка обернулся. Возле входа стоял пожилой карусельщик в спецовке и призывно махал ему рукой. Мальчуган нехотя развернулся и медленно побрел назад к ограде. Карусельщик, озадаченный Вовкиной медлительностью, поспешил навстречу и, ухватив Вовку за капюшон, повел к выходу.

— Дяденька, отпустите, — ныл арестант, пытаясь вырваться из крепких рук пожилого рабочего, — отпустите, пожалуйста.

Карусельщик вывел Вовку за ограду и отпустил.

— Ты что, не видишь — карусель не работает. Замок висит амбарный. И все равно ведь лезет, как баран, — возмущался мужчина, обращаясь не то к виновнику перепалки, не то к прохожему, спешащему по промокшей аллее.

— Дядь, а дядь, — допытывался Вовка, увязавшись за механиком, который направился вглубь парковой зоны, — а когда его починят?

— Да кто ж его знает? — бросил тот через плечо. — Он в аварийном состоянии. Может, на следующий год. А может, совсем уберут. Старый аттракцион-то. На нем еще мои дети катались, когда маленькие были.

Мужчина обернулся и внимательно оглядел Вовку с ног до головы.

— Тебе сколько лет-то, сачок?

— Семь. Восьмой, — ответил Вовка и насупился.

— Хо-хо-хо, — искренне рассмеялся механик, — ну ты даешь! Что ж ты, собрался на лошадаках крутиться? Куда ж ты, такой большой, полезешь? Это ж для маленьких карусель, которые пешком под стол ходят.

Вовка, упреив глаза в свои стоптанные ботинки, молчал.

— Ну чего ты? — рабочий потрепал малого по плечу. — Иди, вон, на «Орбите» прокатись. Или на лодочках.

— Дядя, — начал Вовка робко, — а можно я просто посижу? Я не буду озоровать. Просто посижу на карусели. А? Ну пожалуйста...

Рабочий удивленно поглядел на Вовку и пожал плечами. Что-то неуловимо-печальное проскользывало в мальчишеской сутуловатой фигурке, что-то, чего старый механик не мог объяснить, но ему стало жаль юного посетителя.

— Ну ладно, иди. Только быстро. Через пять минут вернусь, чтоб духу твоего в парке не было. Понял?

Вовка кивнул и, сияя от радости, опрометью помчался по вымокшей парковой дорожке. Перемахнул через ограду, взлетел вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и очутился на сырой, заваленной опавшими листьями площадке. Кругом были разбросаны обертки от сладостей, бычки, пустые бутылки и пакеты. Одно из животных, гривастый большеглазый лев, лежал, выкорчеванный вандалами, на боку. Пробежав по кругу, Вовка заметил розовощекого слона цвета охры, с потертой добродушной улыбкой. Залез на него верхом и взялся за металлические ручки, торчавшие по бокам слоновьей головы. Слон был Вовке немного маловат, и пришлось поджать в коленях ноги. Ручки были холодные и мокрые, но вскоре ладони привыкли, и Вовка представил, что вот сейчас карусельщик нажмет на кнопку, польется витиеватая мелодия и чудесные животные, не торопясь, двинутся по кругу. По площадке поползут забавные тени, скользя по мордам животных и спинам восторженных путешественников, загорятся разноцветные гирлянды, опоясывающие купол, и в воздухе запахнет карнавалом.

Слон тихонько поскрипывал под тяжестью мальчугана. Вовка сбросил с плеч тяжелый ранец и начал раскачиваться на слоне туда-сюда. Он воображал, что когда карусель, наконец, сделает полный круг, там, за оградой, на скамье в глубине палисадника он увидит бабу. В сером летнем пальто, сером, в тон пальто, берете с пимпочкой, бабу, как обычно, будет сидеть, тербя в руках маленькую черную сумку с блестящими шариками. Когда Вовка поравняется со скамьей, бабу улыбнется и помашет ему рукой, а Вовка помашет бабу в ответ. Слон двинется дальше, и бабушка светлая улыбка останется позади, но Вовка, потеряв из виду скамью, будет чувствовать, что бабу все еще смотрит ему вслед и греет его ласковым взглядом.

Внезапно подул ветер, и под ноги замечтавшемуся мальчишке ринулся поток отсыревших листьев. Вовка вздрогнул и осознал, что карусель никуда не едет, а все так же мертво стоит на месте. Что у веселого индийского слона давно стерлись глаза, а разноцветные гирлянды, наполовину оборванные, потухшие, раскачиваются под порывами ветра, исчезая в подступающей мгле. Что, сделав положенный круг, карусель минует опустевший осенний палисадник и никого не застанет на скамейке, потому что бабу уехала и неизвестно когда вернется. Вовка слез со слона, схватил промокший ранец и бросился прочь. Он бежал по вечерней аллее, боясь обернуться, боясь увидеть тяжелый остов одряхлевшей карусели, которая доживает свои дни в окружении сонных деревьев, где призрак маленького мальчика в голубой пилотке катается на улыбающемся слоне.

* * *

— Нам и вдвоем с тобой неплохо, — сказала мать, разрезая на кусочки кекс с изюмом, который Вовка очень любил, — правда, Володька?

— Угу, — согласился Вовка, запихивая в рот целый кусок и подхватывая крошки, которые сыпались изо рта. Мама, пришедшая из города на обед, решила побаловать сына сладеньким.

— Вот так, Володька, восемь лет — псу под хвост, — размышляла мама, глядя куда-то вдаль и задумчиво выковыривая изюминки из кекса. — Как я была слепа! И бабу, как назло, слегла... — завела мать старую песню. — Но ведь он все время врал! Все время! — с досадой повторяла она, собирая изюминки в кучку.

— Можно мне еще? — попросил Вовка, приканчивая третий кусок.

— Бери, бери, — мать пододвинула плетенку с кексом. — Эх, Володька, Володька... Хорошо, хоть ты мне не врешь...

У Вовки кусок застрял в горле.

— Кха, — выдохнул он и залился краской до самых кончиков волос — рука с куском кекса так и зависла над столом. Дрожащей рукой Вовка положил кусок обратно.

— Ты чего? — заволновалась мать. — Не в то горло попало?

— Не хочется больше, — обронил Вовка, выскочил из-за стола и убежал в свою комнату.

Там он сел за стол и открыл учебник по русскому языку.

«ЖИ и ШИ пишем с И», — говорилось в параграфе.

Слезы так и закапали на страницу, а «Ж» и «Ш» вдруг расплылись и стали походить на двух каракатиц, и Вовка, как филин, выпучил глаза, чтобы каракатицы снова превратились в буквы. Он выдвинул ящик, достал фарфоровую вазу, сунул ее подмышку и пошел на кухню. Мама все еще сидела, погрузившись в раздумья, за чашкой чая.

Вовка подошел к матери, пряча вазу за спиной, и слезы снова покатались у него по щекам.

— Ты чего? — удивленно спросила мама. — Единицу что ли схватил?

— Не-ет, — всхлипывал Вовка, утирая слезы, — я наврал...

Мать вскинула брови. Он вытащил вазу из-за спины и бережно поставил ее на край стола.

— Я, — запнулся Вовка, — я... Я взял вазу в магазине... Просто так...

— Как это взял? — переспросила мать. — Украл, что ли?

На Вовку было жалко смотреть. Нос у него распух и покраснел, волосы были взлохмачены, а на щеке проступал тонкий росчерк синей пасты.

— Ну, — строго спросила мать, — говори! Ты украл вазу?

— Да, — еле слышно прошептал Вовка, и большая прозрачная слеза скатилась по левой щеке.

Мать встала и, заломив руки, принялась ходить по кухне туда-сюда.

— Не было печали! — наконец сказала она. — Собирайся и неси вазу обратно. Обратно в магазин.

— Но мама, — Вовкины глаза наполнились неподдельным ужасом, — меня же арестуют! — дрожащим голосом воскликнул он.

— Конечно, арестуют, — сухо сказала мать, — ведь ты же взял вазу без разрешения. Другими словами — украл. А за свои проступки надо отвечать.

Она достала из шкафа старую газету, в два слоя обернула злополучную вазу и молча протянула Вовке.

Руки у Вовки затряслись. С большим трудом, сдерживая прорывающиеся всхлипы, запихал он обернутую газетой вазу в пакет.

Постояв пару минут на площадке и посчитав, для успокоения, разбросанные на подоконнике окурки, он вышел на улицу.

Ноги у Вовки стали тяжелыми и непослушными, будто к каждой привязали по пудовой гире. Он побрел через сквер к магазину.

За углом, возле кондитерской ему встретился сосед с пятого этажа, долговязый парень по кличке Забор. В руке он держал недопитую бутылку «Жигулевского», а его растянутые спортивные трико были заляпаны грязью. Вовка, спохватившись, хотел перейти на другую сторону улицы, но Забор окликнул его:

— Здорово, Вован! А ну иди сюда!

Вовка покорно развернулся и пожал протянутую для приветствия руку.

— Вот так, — удовлетворенно выдал Забор. — Вот это по-пацански! Сигареты есть?

— Н-нет, — сказал Вовка.

— А пожрать?

— Извините, — Вовка удрученно опустил голову, — пожрать тоже нет...

— А в сумке что? — поинтересовался голодный Забор.

— Ваза...

— Чего? — захохотал Забор, и Вовка заметил, что у Забора не достает переднего зуба. — Ваза?

Забор оглядел пакет со всех сторон, а потом с размаху съездил по нему ногой. Раздался звон битого стекла.

— Значит, нет, говоришь, пожрать... — Забор взялся за отворот Вовкиной шапки и натянул ее до самого носа. — Ну иди уж. Отпускаю...

Вовка поправил шапку и, чтобы не искушать судьбу, поспешил уйти. В газетной упаковке звонко бултыхались фарфоровые осколки, но у него не хватало духу увидеть разбитую вазу вочию.

В магазине былолюдно. Большие очереди столпились возле двух касс, а прямо у входа стояли две девушки в национальных костюмах и предлагали купить по акции две каталки краковской колбасы. Вовка направился к тележкам, возле которых суетилась женщина в униформе обслуживающего персонала.

— Здравствуйте, — робко сказал Вовка, — я вазу принес...

— Здравствуй, сынок. Брак? — поинтересовалась продавщица.

— Что? — переспросил Вовка.

— Ну, брак, я спрашиваю, — нетерпеливо повторила продавщица, — ваза бракованная?

— Нет, — Вовка отрицательно покачал головой, — ваза хорошая. Просто я ее без спроса взял...

Из-за кассы выскочила молоденькая администраторша в белой блузке и подбежала к Вовкиной собеседнице:

— Что там, Галочка?

— Да вот, — женщина указала на Вовку, — мальчик вазу принес, хочет вернуть.

Женщина по имени Галочка заглянула в пакет, и глаза у нее округлились от удивления:

— А батюшки! Ваза-то, похож, битая...

Вовка стоял, не шевелясь, и ощущал, как быстро колотится сердце под фланелевой рубашкой.

— Галочка, не волнуйтесь. Идите работайте, я сама разберусь, — с этими словами администраторша подхватила пакет с осколками, взяла Вовку за руку и повела к двери в противоположном углу помещения.

У Вовки от страха душа ушла в пятки. «Попался... Сейчас будет полицию вызывать...» — думал он, и мерзкие холодные мурашки ползли у него по спине.

Администраторша открыла тяжелую серую дверь и запустила Вовку в подсобное помещение. Они оказались в длинном коридоре, слабо освещенном маленькими круглыми лампочками. Арестант с шумом втянул воздух — в помещении пахло бумагой.

Администраторша скрестила руки на груди и спросила:

— Ну и зачем ты пришел?

Вовка густо покраснел.

— Ну? Чего молчишь? — администраторша повысила голос. — Спер вазу и спер! Какого рожна ты ее притащил назад? Да еще и битую?

Глаза у женщины стали недобрые и колючие, как у волчицы, и Вовке казалось, что белоснежная блузка с высоким воротом и продолговатыми пуговицами, ярким пятном маячившая на фоне серой стены, сейчас, как ожившая химера, кинется на него и задушит длинными рукавами-крыльями.

Он зажмурился.

— Ну и долго мы будем так стоять? — спросила администраторша. — Я из-за этого товара чуть не влетела! Еле-еле удалось ее списать! А тут заявляешься ты с этой гребаной вазой! Да еще и битой! Какой идиот тебя надоумил ее вернуть?

У Вовки задрожали губы и задергались щеки: вот-вот заревет.

— Простите, — залепетал он, громко шмыгая носом, — я не хотел... Я ее для бабки взял... Хотел в сервант поставить... А потом мама сказала, что папа... Я хотел ее целую принести... Но Забор по пакету ударил... Борька Забродов... — завыл Вовка, размазывая слезы, и шапка, которая от пере-

живаний улезла куда-то на макушку, упала на плиточный пол.

— Чтoб тебя, — воскликнула администраторша, хватаясь за голову, — свалился ты на мою голову!

Она крутанулась на каблучках-шпильках, добежала до урны, стоявшей возле одной из внутренних дверей, и швырнула туда пакет с вазой.

— Вали отсюда с глаз долой, — скомандовала она Вовке.

Вовка поднял шапку и спросил:

— А полиция?

— Ты хочешь полицию?

— Нет, не хочу. До свидания, — буркнул Вовка и, протаранив дверь, выскочил из подсобки.

Неподалеку продавщица по имени Галочка расставляла на полке пластмассовые мыльницы.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Вовка, — а у вас есть тут клей для стекла?

— Есть, — сказала Галочка, — пойдем, покажу.

Галочка слезла с невысокой стремянки и повела Вовку в хозяйственный отдел.

— А я ведь тебя вспомнила, — спохватилась она по дороге, — ты с бабушкой к нам раньше приходил. Милая такая старушечка! Чтo-то давно не видно ее... Как она поживает?

— Хорошо поживает, — насупился Вовка, — даже отлично. Только она уехала сейчас.

— Надо же, — изумилась продавщица, рассматривая стенд, на котором торчали в ряд тюбики с клеем, — такая старенькая! Куда же это она уехала?

— Куда-куда, — огрызнулся Вовка, — будто сами не знаете куда... В деревню! Где, по-вашему, все бабки живут? В деревне.

— И то верно, — заулыбалась продавщица, — на-ка вот, держи клей.

Вовка поблагодарил продавщицу и пошел расплачиваться в кассу.

Выйдя из магазина, он обогнул здание и пробрался на задний двор. Здесь, за невысокой сеткой стояли два больших мусорных ящика. Вовка знал, что грузовая машина «Remondis», увозившая мусор, объезжает дворы рано утром, значит, мусор должны вынести сегодня.

Супермаркет работал до 21.00, и мальчишка, чтoбы не упустить момент, спрятался за приоткрытой дверью небольшого подвальчика и стал ждать.

В подвальчике было тепло, душно и пахло кошками. Глаза вскоре привыкли в темноте, и Вовка заметил, что недалеко от него, на выцветшей подстилке дремлют два маленьких котенка. Он прислонился к трубам и задремал.

Проснулся он оттого, что мимо подвала, вздыхая и побряхывая, прошла уборщица, волоча два здоровенных мешка мусора. На улице совсем стемнело, и задний двор едва освещался тусклым фонарем. Женщина открыла мусорный бак и один за другим покидала внутрь мешки.

— Фу-у, — выдохнула она и отправилась восвояси.

Вовка, выждав еще пару минут, вылез из подвала и побежал к мусорным бакам. Он вытащил первый мешок и, вцепившись обеими руками, разорвал напополам. Из мешка с шумом вывалились разнообразные отходы. Чего тут только не было! А запах стоял такой, что Вовка дважды оглушительно чихнул и, от греха подальше, зажал нос пальцами. Сверху обнаружилась куча гнилых фруктов, и Вовка стал расшвыривать их ногами.

Пакета с осколками не было.

«Не в этом...» — расстроился Вовка, до мушек в глазах накопавшись в зловонных объедках.

Пакет обнаружился во втором мешке. К счастью, он оказался практически чистым и почти не пах. Вовка, не теряя ни секунды, побежал домой.

Дома он обнаружил плачущую мать — она сидела, сгорбившись, на низком пуфе возле на-

стенного зеркала.

— Володька, родненький, — запричитала она, подбегая к сыну — где же ты был? Мы с Беллой Павловной все дворы обшарили, даже до магазина добежали. И телефон забыл!

Она крепко прижала Вовку к себе, а он стоял как истукан, убрав зловонный пакет за спину, и боялся, что мать расслышит, как в целлофане перекатываются осколки.

— Ну давай, раздевайся, — мать легонько потрепала Вовку по плечу, очевидно, решив его ни о чем не расспрашивать, — ужин уже остыл...

— Я лучше спать пойду, — пробормотал Вовка, расстегивая молнию на куртке.

Мать встревожено поглядела на него покрасневшими от слез глазами:

— Ты не заболел?

— Нет, — ответил Вовка и забросил шапку на крючок.

Он подхватил пакет и убежал в свою комнату.

Сунув пакет под кровать, он разделся, нырнул под одеяло и зажмурил глаза. Через некоторое время в комнату вошла мать, отогнула одеяло и поставила сыну градусник. Она присела на край кровати и стала довязывать шарф, позвякивая спицами. Вовка лежал, не шевелясь, и притворялся спящим.

— Ну и запах, — негромко сказала мать, шмыгая носом, — будто кошка сдохла...

Она поглядела на часы, вытащила градусник и с облегчением вздохнула. Потом подошла к окну, приоткрыла форточку и, поймав сбежавший клубок, ушла к себе.

Еще немного полежав в кровати, Вовка осторожно выбрался из-под одеяла, натянул трико, достал пакет и сел за письменный стол. Закатав края пакета, он стал медленно, осколок за осколком, вынимать фрагменты вазы и раскладывать на столе. Фрагментов было не очень много, но некоторые были мелкие и острые. Фарфоровая спинка была почти целой, но лилия, к Вовкиному огорчению, раскололась. В очередной раз сунув руку в пакет, Вовка порезался. Замотав палец носовым платком, он распределил последние кусочки, взял донышко и стал прикладывать к нему подходящие грани. «Настоящая головоломка», — размышлял он про себя; у него вспотели руки и пот катился со лба от усердия.

Тем временем наступила глубокая ночь. Уже не слышно было снующих внизу машин и не видно спешащих домой пешеходов, только изредка какой-нибудь запоздалый автомобиль, отгоняя фарами тьму, проносился под окнами. Город будто вымер — потухли окна напротив, и только один-два зыбких огонька то тут, то там вспыхивали в антрацитовый тишине. Разогнув затекшую спину, Вовка поставил собранную вазу на стол.

Ваза была та и не та. Сверкающую белую лилию в двух местах пересекали грубые шрамы, собранное из кусочков тонкое горлышко, будто бабкина шея морщинами, было все испещрено глубокими трещинами. Уродливый рубец протянулся от горлышка к самому дну и нарушал монолит сиреневого фарфора. Ваза утратила свою красоту. Уже не хотелось поставить ее в сервант, а хотелось спрятать куда-нибудь в укромный угол, чтобы она не попадалась на глаза и не вызывала щемящей жалости.

Вовка, вертевший склеенную вазу в руках, сник. Он бросился на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, горько заплакал. Глухая обида, как запертая в неволе птица, трепетала в его душе, — на Борьку Забора, который ударил по пакету ногой. На мать, которая ворчит из-за обгрызенных ручек. На отца, который больше не приходит поиграть в шахматы. На бабу, которая ослепла и не отвечает на письмо.

— Проклятая старушенция! — осипшим голосом закричал Вовка и стукнул кулаком по подушке.

Вовкин крик отскочил от стен и укатился куда-то под стол.

По углам, куда не доходил свет настольной лампы, сгустилась чернильная чернота; казалось, что в ней кто-то прячется и пьет Вовкино отчаяние. Вовка лежал спиной к свету и думал, что, должно быть, в нем тоже что-то поселилось. Сидит внутри и делает вот так: у-у. И в бедной вазе,

которая стоит на столе, тоже кто-то теперь живет. Поэтому она такая безобразная. И все люди, когда стареют, становятся некрасивыми, по ним, как по склеенной вазе, тянутся трещины, а внутри, под кожей, сидят невидимые занозы.

* * *

В четверг выпал первый снег. Вовка возвращался из школы поздно, потому что принимал участие в «Веселых стартах», и теперь осторожно ступал по заснеженному тротуару, то и дело оборачиваясь назад, чтобы увидеть свои следы.

В подъезде он первым делом залез в почтовый ящик. Кроме двух извещений, там ничего не обнаружилось, но Вовка на всякий случай еще раз пошарил внутри рукой: а вдруг завалялось письмо?

Соседская дверь распахнулась, и на площадку вышла соседка, Белла (Булька) Павловна, скрестила руки на груди и вперила в Вовку маленькие злобные глазки.

— Здравствуйте, — нехотя буркнул мальчишка, продолжая обшаривать ящик.

— Отец твой в субботу женится, — сказала торжественно Булька.

Вовка вздрогнул.

— Чего слоняешься без дела? — спросила Булька. — Шел бы домой, мать там одна сидит. Хотя бы доброе слово ей сказал. Тасуются они тут, лентяи, покою от вас нет...

— Тасуются, — поправил Вовка.

— Иди, иди, — рассердилась Булька, — дармоед...

Вовка нырнул в квартиру.

Мама сидела на кухне и перебирала пшено. Желтые солнечные крупинки были рассыпаны по столу, и она, задумчиво пересыпая крупу, выбирала несъедобные былинки и мелкий сор. Под глазами у нее лежали густые неровные тени, и Вовка, чтобы не встретиться с ней взглядом, быстро разделся и скрылся в своей комнате.

— Вова, иди обедать, — через некоторое время безучастно позвала мать.

Сунув нос на кухню, Вовка увидел, что пшено убрано, а на столе стоит тарелка горячих щей. Возле тарелки, на деревянной доске лежит горбушка хлеба, нарезанная крупными ломтями, и приготовлен полный стакан сметаны. Мальчишка юркнул за стол и принялся торопливо хлебать щи, уткнувшись глазами в тарелку и рассматривая пластинки моркови, плавающие в наваристой гуще.

— Ну что ты торопишься, как будто отнимут, — проворчала мать. — Ешь медленно. Жуй тридцать три раза...

— Раз и, два и, три и, — мысленно начал считать Вовка, громко клацая зубами.

Мама налила в чашку кипятка, капнула заварки и хотела положить сахар, но сахарница внезапно выскользнула из ее рук, упала на стол, покатилась, фонтанируя сахарными потоками, и полетела на пол, разбившись на бесчисленное количество мелких осколков. Мама удивленно посмотрела на свои руки, села на пол и заплакала, горько и надсадно, пряча лицо в ладонях и раскачиваясь. Вовка так и застыл с полным ртом. Бархатные белые дюны сахара причудливо растекались по столу. Ему вдруг показалось, что это вовсе не сахар, а белый снег, который пошел прямо здесь, в квартире. Вот они, белые хлопья, падают прямо с потолка и ложатся на льняную скатерть, на стулья, на палас. Что время уходит, убегает, ускользает сквозь пальцы, забирая с собой светлые дни, и вот уже в дом приходит зима. Та самая зима, что утром засыпала снегом улицы, теперь царствует в их доме, и последний осенний лист, заброшенный в форточку ветром, одиноко умирает на подоконнике. А у мамы, которая сидит на полу и плачет, постаревшее, некрасивое лицо. Морщины пересекают обе щеки от носа к подбородку, а глаза тусклые и затравленные, как у той облезлой ласки, которую Вовка видел в прошлом году в зоопарке.

Вовка выскочил из-за стола, встал на карачки и подполз к матери. Он обнял ее и стал гладить по волосам.

— Мамочка, не плачь... — бормотал Вовка, — ну пожалуйста. Давай сейчас пойдем к папе и все

ему объясним.

Мать смахнула слезы рукавом свитера и кивнула головой. Вымученная улыбка тронула ее обветренные губы.

— Скажи ведь? — обрадовался Вовка. — Правильно ведь? Мы его заберем домой. Будем ходить на лыжах в лес. А потом папка велик мой починит, и мы с ним за ягодами поедem. Бабка нам варение сварит. Земляничное! — разошелся Вовка и обычно хмурое его лицо посветлело.

— Кто сварит варенье? — вздрогнула мать.

Вовка мгновенно умолк.

— Кто сварит варенье? — переспросила мать растеряно.

Вовка помялся и промямлил еле слышно:

— Бабка.

По лицу матери пробежала черная тень. Она медленно поднялась и вышла из кухни. Через некоторое время она возвратилась с веником и совком и начала подметать осколки, с хрустом проводя по паласу, усыпанному сахарным песком. Вовка сидел на полу, обняв колени, и наблюдал, как маленькие фрагменты сахарницы, подгоняемые веником, неуклюже прыгают по паласу. Кое-где мелькают изломанные кремовые цветочки, а сахар стелется вслед неровными полосами, будто легкая выюга роняет, как ей вздумается, перламутровые снежные всполохи.

Мама собрала все до последнего осколка и выбросила их в мусорное ведро. Потом она открыла кухонный шкафчик, покопалась там и достала новую сахарницу — ушастую, пузатую, с большими красными горошинами на животе, поставила ее на стол и сказала:

— Вот, эта намного веселей. Нравится?

Вовка утвердительно кивнул головой. Мама подняла Вовку с пола и посадила к себе на колени. Она ласково погладила его по голове и сказала:

— Знаешь, Володька, есть вещи, которые не изменить. Нужно найти в себе силы их принять, — мама опустила глаза, и губы ее дрогнули. — Нужно как-то... как-то смириться... Смириться с тем, что бабка больше не вернется...

— Нет! — закричал Вовка. — Нет! — вырвался и умчался с громким топотом в свою комнату.

В квартире повисла болезненная тишина. Мать осторожно поднялась, подкралась к Вовкиной комнате и прижалась ухом к двери. Ничего. Тихо. Тогда она приоткрыла дверь и заглянула внутрь.

Вовка забился в дальний угол комнаты и грыз толстый красный карандаш, отрывая от него куски и громко сплевывая на пол. Деревянные ошметки прилипли к подбородку, в уголках губ пеннiлась слюна, а по губам размазалась красная краска обмусоленного стержня.

Хрусть, хрусть, хрусть.

Вовка догрыз карандаш и взял из карандашницы другой, зеленый. Мать еще немного постояла в дверях и тихонько вышла.

В субботу утром Вовка едва высидел первый урок. Накануне вечером они с Колькой Шуркиным договорились пойти на свадьбу отца, и Вовка ждал перемены, чтобы улизнуть из школы.

На перемене беглецов, выносящих куртки из раздевалки, перехватила учительница музыки, Валентина Ивановна и, не сумев задержать, закричала им вслед зычным хрипловатым голосом:

— Шуркин! Лапшин! Куда?!

Пришлось вернуться и повесить куртки обратно.

— Пошли, пересидим в туалете, — предложил Колька. — Туда она точно не зайдет — зуб даю!

Вовка надел ранец и побежал за Колькой, который уже нырнул в мужскую уборную. Там они заперлись в одной из кабинок и стали ждать звонка.

Время тянулось медленно. Хлопали двери соседних кабинок, коридор дрожал от вездесущего топота детских ног, и ребята замерли, прислонившись в стене, в немом ожидании.

Наконец оглушительно зазвенел звонок, и в коридоре воцарился долгожданный покой. Вовка, изнывавший от нетерпения, выскочил из кабинки и, с грохотом сбив прислоненную к дверному косяку лентяйку, вырвался из санузла и метнулся в раздевалку. К счастью, бдительная музыкантша удалилась на урок, и Вовка с Колькой без труда вынесли верхнюю одежду.

На улице, когда опасность быть схваченными миновала, Вовка спросил:

— У тебя есть сколько-нибудь?

Колька пошарил в карманах.

— Двадцать пять рублей. Мать дала на сникерс.

— Одолжишь? — попросил Вовка.

— Не вопрос, — Колька выудил мелочь и ссыпал Вовке в ладонь.

— Надо такси вызвать, — сказал Вовка, — пешком не успеем.

— Не прокатит, — заметил Колька, — я пробовал. Подумают, что прикол.

Вовка немного подумал и внезапно, как ужаленный, сорвался с места.

— Ты куда? — заорал, спохватившись, Колька.

— Придумал, — крикнул Вовка на бегу.

Мальчишки прибежали в соседний двор. Там, напевая что-то грустное себе под нос, знакомая тетя Дуся подметала пешеходную дорожку.

— Здравствуйте, — выпалил запыхавшийся Вовка. — Тетя Дуся, пожалуйста, вызовите такси, — и он протянул дворничихе телефон.

— А батюшки, — тетя Дуся отложила метлу. — Куда это вы собрались-то? Да на такси — как белы люди!

— Пожалуйста, тетя Дуся, — Вовка достал из рюкзака вырванный из тетради листок, — у меня даже номер записан. Вот: триста пятьдесят два раза.

— Ой, беда с вами. Ну ладно, позвоню. Куда вызывать-то?

— Сюда, — обрадовался Вовка, — сюда вызывайте!

Тетя Дуся набрала номер и назвала оператору адрес. Через десять минут во двор въехала новая белая десятка и призывно мигнула ребятам фарами.

Вовка с Колькой сорвались с места и вместе со школьными сумками загрузились в салон.

— Куда едем, пацаны? — спросил усатый шофер в черной бейсболке.

— В загс, — сказал Колька, — центральный.

Шофер заулыбался.

— Не рано вам? — пошутил он.

— Это не мы, — пояснил Колька. — У нас папа женится.

— Ого, — удивился шофер, — ну это серьезное дело. Надо ехать, — он надавил на газ и выехал со двора, оставляя позади сметенные в две кучи опавшие листья, глубокую лужу и тетю Дусю, которая, оперевшись на метлу, с улыбкой смотрела им вслед.

Возле загса, хвост в хвост, стояли три кортежа, тут и там сновали операторы и фотографы, и шофер, громко ругаясь, долго крутился по площади, пытаясь припарковать автомобиль. В конце концов он отчаялся и сказал:

— Давайте, бегите. Высажу на ходу.

Вовка, громко сопя, стал рыться в карманах и выуживать скопленную мелочь.

— Идите, Христа ради, — засмеялся шофер, — миллионеры. Не каждый день отцы женятся...

Мальчишки, на ходу надевая ранцы, выскочили из машины и побежали к главному входу. На нижней ступеньке широкой парадной лестницы стоял фотограф, ожидавший следующую пару. Вовка и Колька, перескакивая через две ступеньки, в мгновение ока оказались возле дверей, где их задержал охранник в черной форме, неожиданно преградив путь.

— Вход закрыт, — пояснил он и, подхватив непрошенных гостей под руки, повел их вниз по лестнице.

— Но послушайте, — возмутился Колька, — вы не имеете права! У нас тут свадьба!

— Ничего не знаю, — отрезал охранник, — ждите внизу. И будьте так добры, не топчите дорожку.

Вовка вывернулся из рук охранника и попытался бежать, но охранник был проворнее — он ухватил Вовку за ранец и вернул на прежнее место:

— Я не шучу, — пригрозил он. — Хотите посмотреть свадьбу — ждите здесь.

— Но у меня там отец! — возмутился Вовка, набрасываясь с кулаками на охранника.

Охранник легонько оттолкнул его и повторил:

— Я же сказал — ждите здесь.

— Но у него там отец! — крикнул Колька.

— Да хоть вся семья, — охранник повысил голос, — правила есть правила.

Он развернулся и начал подниматься по лестнице. Вовка уже хотел снова броситься за ним, но в этот момент двери распахнулись и на красную дорожку шагнули жених с невестой. Охранник отступил в сторону, а Вовка так и остался стоять с открытым ртом — он никогда еще не видел свадьбу так близко.

На женихе был коричневый костюм, кремовая, с позолоченными нитями, рубашка и до блеска начищенные туфли. Через шлицу в нагрудном кармане была франтовато продета желтая роза. Поправив галстук, он кивнул оператору и с достоинством улыбнулся собравшимся. «Папка...» — пробормотал Вовка. Под руку с отцом шла незнакомая молодая женщина в белоснежном купеческом платье, белой меховой накидке и изящной, расшитой розами шляпке.левой рукой она придерживала полу платья, небрежно вскидывала голову и очаровательно улыбалась гостям.

Вовка остоленел. Счастливых молодоженов окружили галдящие гости и стали забрасывать лепестками роз и вырезанными из блестящей бумаги серпантинными сердечками. Несколько лепестков и крошечное сердце, подхваченные ветром, упали к Вовкиным ногам. Вовка поднял сердечко и положил на ладонь.

— Глянь, какая краля, — зашептал ему на ухо Колька.

— Мама лучше, — буркнул Вовка, разглядывая находку.

— Это тебе лучше, — заметил Колька.

Тем временем жених с невестой, запечатленные возле Дворца бракосочетания, двинулись вниз по красной дорожке. Вовка во все глаза вытаращился на отца, но тот прошел мимо, не оглянувшись, и Вовку окатило холодной волной, смешанной с терпким запахом дорогих духов.

Свадебная процессия спустилась вниз и начала рассаживаться по автомобилям.

— Ты что? — Колька ткнул Вовку локтем. — Уснул что ли? Они уезжают!

Вовка очнулся и, ухватив Кольку за рукав, ринулся за процессией. Гости, одетые не по погоде, быстро скрылись в машинах, и кортеж тронулся, направляясь на главную дорогу.

Вовка, не веря своим глазам, заметался по площади, натываясь на прохожих.

— Эй, олигофрен, — воскликнул оператор, снимавший пару на фоне голубых елей, — смотри, куда прешь!

От беготни у Вовки закололо в боку, и он присел на невысокий бордюр, обрамлявший пустую клумбу. Колька сел рядом. Какое-то время друзья сидели молча, но Колька, который между делом обшаривал глазами площадь, вдруг хлопнул приятеля по плечу:

— Газель!

Он указал на четырехэтажное здание, примыкавшее к Дворцу бракосочетания. К зданию подъехал микроавтобус с надписью «Известия», и грузчик, открыв заднюю дверь, стал выгружать из салона газеты.

— Бегом! — крикнул Колька и помчался через площадь к почтовой машине.

Вовка, у которого все еще тянуло бок, бежал медленно, хватая ртом воздух и прихрамывая.

Колька заглянул в салон.

— Вам чего? — спросил грузчик, возвратившийся за очередной партией газет.

— Дяденька, вы нас не подкинете до лесопарка? — спросил, с трудом разогнувшись, Вовка.

— Не подкинем. Нам в другую сторону, — сказал грузчик, вытаскивая из салона большую связку «Известий».

— Мы вам поможем газеты таскать, — предложил Колька.

— А чего вам там, в лесопарке-то? — поинтересовался шофер, кутивший в открытое окно кабины.

— У нас там свадьба, — грустно сказал Вовка. — Папка женится.

Шофер бросил окурочку в пепельницу и обратился к грузчику:

— Почему в другую сторону? А в институт сегодня не везем?

— Везем, а как же! — подтвердил грузчик.

— Залезайте, — шофер махнул рукой, — только газеты не испачкайте.

Колька залез в салон и помог забраться Вовке. Мальчишки разместились на боковом сиденье, и Вовка наконец смог перевести дух. Вскоре вернулся грузчик, прыгнул в кабину, и газель, взревев, выехала на дорогу.

Вовка выглянул в окно. Погода была неважная. Выпавший снег местами растаял, на тротуарах чернели проплешины асфальта, проступившие на тонком снежном полотне, как пятна на кухонной скатерти. Вдоль проезжей части бежала вода, низкое небо хмурилось, будто размышляло, не бросить ли на землю еще пригоршню снега или лучше пролиться унылым дождем. Мальчишке вспомнилось, как прошлой осенью бабка повесила ростометр и каждую неделю замеряла Вовкин рост. «На целую палочку вырос!» — радовался Вовка, когда бабка, долго примериваясь и щуря слепые глаза, ставила фломастером яркую отметку. «Надо, сынок, расти и вершком, и духом», — говорила бабка. «А как это?» — спрашивал Вовка, поднимаясь на цыпочки и елозя по стене. «Иди людям навстречу, находить добрые слова... — улыбалась бабка и качала головой, — быть сердцем мира...»

— Эй, Шурец, — Вовка легонько ткнул Кольку локтем в бок, — как думаешь: я сейчас должен радоваться?

— Не знаю, — тот пожал плечами. — А ты хочешь?

— Вообще-то, не очень, — признался Вовка. — Совсем не хочу.

— Ну а чего спрашиваешь? — Колька построил дурашливую физиономию.

— Бабка говорила, надо радоваться за других... — сказал Вовка задумчиво.

— Ха, — воскликнул Колька, — бабка! Нашел, кого слушать. Она же старая была, как скелет динозавра!

Тем временем газель завернула за угол и остановилась на стоянке.

— Вытряхайтесь, — сказал грузчик, распахивая задние двери. — Дальше своим ходом.

— Спасибо, — крикнул Вовка, выпрыгивая из салона.

Кафе «Улыбка», которое в прежние времена было обыкновенной общепитовской столовой, а сейчас обслуживало свадебные торжества и семейные праздники, располагалась за старым лесопарком, где зимой можно было покататься на лыжах, а летом на велосипеде. Когда-то, еще до Вовкиного рождения, это было очень популярное место отдыха, но теперь парк совсем забро-

сили, деревья и кустарники сильно разрослись, кое-где образуя непролазные дебри, а дорожки и тропы были сплошь усеяны жухлой листвой, ветками и разнообразным мусором. Часть лесопарка, занятая под территорию кафе, была благоустроена и очищена от сорных трав и вездесущих кустов американского клена. Отсюда, из-за деревьев, проглядывали оформленные под старину грубые кованые ворота, окруженные высокими раскидистыми елями.

Вовка взялся за круглую металлическую ручку и потянул дверь на себя. Петли, мокрые от дождя, нервно взвизгнули, и с ближайшей косматой елки сорвалась какая-то большая птица, возмущенно захлопала крыльями и унеслась прочь в направлении металлической пики флюгера в форме колпака Арлекина.

— Фу-ты, — Колька присел от неожиданности, — зараза!

Вовка ступил на тропинку и замер. Тут и там, на тропе, будто стекла в калейдоскопе, складываясь в причудливые узоры, порхали лепестки роз, серпантин и разноцветные сердечки. Вдоль дорожек стояли невысокие, старинные фонари, зажженные сегодня в честь торжества, и казалось, что все вокруг сказочное — и лес, и тропинка, и мелькающий между деревьями домик, в котором собрались гости. Вовке даже показалось, что он видит сон. Ему вспомнилось, что он уже бывал здесь — очень давно, совсем маленьким, проходил по этой тропинке и сидел на открытой веранде, поглощая оладьи с малиновым сиропом. «Улыбка» — было написано на деревянной вывеске. Смутно, будто в черно-белом кино, он увидел свою мать в летнем платье и отца с фотоаппаратом, фотографирующим ее на фоне пруда с утками.

— Вон там должен быть пруд, — сказал неуверенно Вовка.

Колька пошел вперед, обогнул две сутулые елки с темной кроной, будто монашки, просящие милостыню у дороги, и увидел небольшой пруд, затянутый ряской.

— Ну ты даешь! Сейчас скажешь, что вон за той корягой спрятан клад.

— Не-а, — Вовка махнул рукой, — нет тамклада.

«Какого же цвета было платье? — вспоминал он, вглядываясь в осенний полумрак парка. — Синее? Белое?» Призрачные фигуры, обесцвеченные и неясные, возникали поодаль и вскоре исчезали за стволами деревьев. Вдруг мальчуган с ужасом осознал, почему бабка, приходящая во сне, молчала. Потому что бабкин голос он тоже не помнил. Бездна холодная змейкой заползла Вовке за шиворот и свернулось на груди в кольцо. «А потом и беретку забуду... с пимпочкой, — думал Вовка, — и саму бабку. И вообще все забудется... все, все...»

Он вынул из кармана блестящее сердечко, подул на него, и оно, подобно запоздалой осенней бабочке, заметалось в воздухе, не зная, куда держать путь.

Когда друзья миновали пруд и почти одолели аллею с фонарями, они расслышали музыку, доносившуюся из кафе.

— Ха-ра-шо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, — пела где-то запись голосом Верки Сердючки, а на пустой веранде, прибранной по осени, курил кто-то из приглашенных.

— Может он все-таки передумает? — сказал Вовка, когда они поднялись по деревянному крыльцу на веранду.

Колька, который нашел в низких зарослях шиповника острую палку, повертел ей на манер шпаги и сделал выпад:

— Расслабься, Вовчик. По-моему, он уже женился.

— Ну а все-таки?

— Иди, спроси, — Колька пожал плечами и указал палкой на дверь, за которой только что исчез кутивший на веранде незнакомец.

Вовка бросил ранец на дощатый пол и пошел к двери. Руки и ноги у него стали ватными — ему даже представлялось, что его заколдовали, и он, вместо того чтобы сейчас пойти домой, плетется, как марионетка, туда, где его никто не ждет.

— Папа, не женись... — прошептал Вовка себе под ноги, входя в главную залу, украшенную воздушными шарами и освещаемую светом огромной хрустальной люстры. Гости уже расселись по местам, и только две худосочные блондинки с сигаретами, хохоча, танцевали около низкого

окна. Пелена перед глазами у Вовки рассеялась, и он явственно увидел накрытые белыми скатертями столы, официантов, снующих туда-сюда с подносами, и огромный трехъярусный торт с белыми лебедями в центре.

Тамада, заметивший движение в дверях, жестом велел ди-джею приглушить музыку и хотел было обратиться к незваному гостю, но Вовка внезапно заорал во все горло:

— Папа!

Гости, все как один, развернулись к двери, а тамада, как в детской игре на замирание, застыл с включенным микрофоном, который теперь транслировал в эфир потрескивавшую тишину. В зале стало совсем тихо, лишь изредка по рядам пробежал еле слышный шепот. Один из гостей, захмелевший старичок, выронил вилку, и она с оглушительным звоном упала на паркетный пол.

— Пойдем домой! — крикнул Вовка, выбегая на середину танцпола.

Отец, который в это время разливал по бокалам шампанское, вздрогнул. Шампанское ринулось через край, пенистыми ручейками побежало по столу и закапало, пузырясь, гулкими каплями на паркет.

— Ой! — невеста кокетливо всплеснула руками, и Вовка заметил, что по щекам и носу у нее рассыпаны маленькие веснушки, а глаза — прозрачные и невыразительные, как у старой Вовкиной куклы Груши.

Отец поставил бутылку, кашлянул и сказал:

— Дамы и господа, прошу прощения. Извините! Не обращайтесь внимания. Продолжайте веселиться, — с этими словами он выбрался из-за стола и направился прямо к Вовке.

Вовка растерялся. Отец взял его за руку и повел к выходу. Вовка покорно последовал за отцом, но обида, зревшая в душе, заполнила все его естество: пацан уперся в пол и стал вырываться.

— Нет, — завопил он на весь зал, — фиг тебе! Фиг! Не пойду!

Отец побледнел и еще крепче схватил Вовку, намереваясь во что бы то ни стало вывести упиравшегося мальчишку из залы.

Вовка повалился на пол и повис у отца на руках, скользя по паркету коленками, брыкаясь и дергаясь, отчего некоторые гости, с любопытством наблюдающие внеплановый спектакль, даже поднялись со своих мест.

— Прекрати, — зашипел отец, безуспешно пытаясь поставить Вовку на ноги.

— Это ты прекрати! — орал Вовка, и набежавшие слезы струились у него по щекам, оставляя светлые полосы. — Иди домой, дурак!

— Да ты! — рявкнул отец, теряя терпение. — Что ты себе позволяешь!

Вовка вырвался из крепких отцовских рук и со всей силы, на которую только был способен, толкнул отца в живот. Отец неловко пошатнулся и, в попытке обрести равновесие, ухватился за край праздничного стола, сбив ряд бокалов, со звоном полетевших на пол. Вовка развернулся и побежал к выходу.

В холле Вовка наткнулся на свое отражение в огромном зеркале. Выглядел он, признаться, не лучшим образом. Волосы слиплись и тонкими сосульками свисали со лба, брюки помялись и сползли вниз. Внезапно ему стало стыдно и он, боясь поднять на себя глаза, стал громко кряхтя, отряхивать колени.

Через пару минут в холле появился отец. Вовка затылком ощущал его тяжелое дыхание и вжал голову в плечи в ожидании оплеухи, но отец просто спросил:

— Ты зачем сюда заявился?

Вовка достал из кармана платок и громко высморкался. Потом немного подумал и, будто давно забытую вещь, выудил из самых глубоких глубин тусклую улыбку. Поднял, надел на себя и сказал:

— Я поздравить пришел... Я очень за тебя рад, папа... — губы у Вовки дрогнули.

— Правда? — лицо у отца посветлело. — Правда?

— Да, — выдавил Вовка жалобно.

— Спасибо, сынок, — поблагодарил отец, но подойти ближе не решился. Так и стоял у Вовки за спиной, будто видел впервые, разглядывая его отражение в зеркале.

Вовка еще немного помолчал, глядя на отца через стекло, и добавил:

— Только тебе этот костюм не идет. И роза глупая... В следующий раз, когда будешь жениться, надень лучше черный.

— Вот ведь! — засмеялся отец. — Учту. Обязательно.

Вовка, не оборачиваясь, вышел из столовой.

Колька ждал его у дверей. От нечего делать он взялся отколупывать потеки краски, застывшие на дверном косяке.

Вовка подошел к крыльцу и сел на верхнюю ступеньку.

— Ну что? — спросил тот. — Поздравил?

— Поздравил... — буркнул Вовка в ответ. Он прикрыл лицо ладонями, чтобы Колька не видел его распухший нос.

— Да ладно тебе, — сказал Колька. — Плюнь на них. Пошли зомбаков мочить лучше.

Вовка молчал.

— Я вчера до шестого уровня дошел. Плюс сто к неуязвимости! Сегодня всех прикончу, — Колька принялся жестикулировать, изображая схватку с воображаемым противником.

— Ты иди, — сказал Вовка. — Я потом приду. Попозже.

— Ну ладно... — Колька был разочарован. — До вечера тогда!

— Ты это, — опомнился Вовка, — спасибо, что пошел, — и он протянул Кольке руку.

— Базаришь... С тебя пачка карандашей...

Колька подтянул рюкзак, сбежал по ступенькам и вышел через кованые ворота на улицу.

Вовка видел в низкое окно кафе, как подвыпившие гости, забыв о происшествии, пляшут в центре зала. Две полные тетки в высоких сапогах, тряся вторыми подбородками, задорно скачут под руку с лысым мужчиной в бордовом пиджаке. «А теперь — конкурсы!» — заорал в микрофон пьяненький тамада, и Вовка вдруг ясно осознал, что отец ушел. Что карусель «Индию» снимут к следующему сезону, а бабка умерла. Умерла совсем. Потому что доктор из неотложки, который провожал носилки с маленьким бабкиным тельцем, сказал: «Что ж, сынок... Бывает в жизни и такое...» Вовке вдруг стало нестерпимо больно, как будто в него воткнули тысячу иголок. Он стал ощупывать себя, чтобы понять, откуда исходит эта боль, но она колыхалась в теле, как налитая в чашку вода. Тогда Вовка замер и стал ждать, когда иголки залезут поглубже и боль утихнет. Через некоторое время ему полегчало, и вроде как даже улучшилось настроение. Вовка пошевелился — ничего. Жить можно. Только вот ботинки, купленные ему бабкой в прошлом году, давно стали малы и теперь нестерпимо жмут. Он быстро распустил шнурки, снял обувь и выкинул в урну, стоявшую неподалеку. Вышел со двора и побрел домой. Прохожие удивленно смотрели на худенького лохматого мальчишку, который шел, посвистывая, в одних носках по осенней, отмеченной первым снегом улице.



Алексей Борычев *Aleksey Borychov*

ЗВЕЗДА И ТАЙНА

Пульсирует ночь и пульсирует день,
Врастая в свои очертанья,
Дары принося бесконечной звезде,
В которой скрывается тайна.

У тайны закрыты глаза и уста.
Она просыпаться не хочет.
Ей тихие песни слагает звезда,
Всегда молчаливая очень.

И ты не тревожь понапрасну звезду,
О тайне не думай ты больше.
А лучше живи, отвергая беду,
В какой-нибудь старенькой Польше...

Смотри, как пульсируют ночи и дни,
В себя непрестанно врастая;
И тихая скука тебя сохранит,
Привычная, злая, простая!

Осенний яд

Кто сказал, что шипение осени —
Это навий дымящийся яд,
Принесенный уснувшими осами,
Что не могут вернуться назад
И вонзиться укусами в плотное
Тело ясного летнего дня,
Пробуждая дыханье болотное,
Колокольцами влаги звеня?..

Кто сказал, что седая, беззубая —
Это осень глядит на меня,
Золотыми полдневными трубами
В бесконечную полночь маня,
От которой звездой не открестись,
Убегая печалью туда,
Где колдует весенняя вестница,
Вышивая весельем года?..

Кто сказал?.. Но глухое молчание
Оглушило меня, отняло
Чувства, мысли, и даже отчаянье
Обратило в предельное зло.
Потому что так много молчащего
Ядом осени поздней шипит,
И оса моего настоящего
Жалит сердце, а вовсе не спит!

Кандидат технических наук, член Союза писателей России, лауреат литературной премии В. К. Арсеньева в номинации «Поэзия» (2013), конкурса «Звезда Рождества» (2016), конкурса «Дебют года» (2014); финалист международного конкурса «Эмигрантская лира» (2013), конкурса «Вечерние стихи» (2013), конкурса журнала «Окна» (2012). Награжден литературной медалью имени А. С. Грибоедова, дипломом «За верное служение отечественной литературе» (СП РФ). Автор поэтических сборников «Иду на восток» (2004), «Снежное полнолуние» (2006), «Солнечные слезы» (2008), «Сонеты» (2008), «Лепет» (2008), «Стихотворения. Романсы. Сонеты» (2007), «Порабощение» (2008), «Вдыхая звездные ветра» (2013), «За первой вселенной...» (2014). Публиковался в журналах «Юность», «Нева», «Кольцо А», «Студия», «Смена», «Аврора», «Московский вестник», «Второй Петербург», «Невский альманах», «Север», «Нива», «Время и место», «Байкал», «Волга 21 век», «Сура», «Новая Немига литературная», «Слово Забайкалья»; в газетах «Российский писатель», «День литературы», «Литературная газета», «Культура»; в альманахах «Истоки», «День поэзии. 2011», «Останкино» и других.

НЕ БЫЛО НАС!

Серые лики рассветных дворов.
Белая пыль декабря.
Льдистое пламя небесных костров:
След покоренных забытых миров —
Угли былого горят!

Угли былого сгорают везде:
В кронах закатных берез,
В снежном покое, в далеком «нигде»,
В колких предчувствиях тугой борозде,
В жгучем бессмертии грез.

Пламя вырастает и в ночи, и в дни
Смехом счастливых детей..
Это не птицы поют, а они.
Память достойно их голос хранит
В мире плохих новостей.

Где же ты, прежняя, слово скажи,
Глядя в рассветный огонь!
В мире, где правда — следствие лжи:
Ты или я — это лишь миражи —
След позабытых погонь

В сказку — за счастьем, за стаяй теней,
Где времена — только дым..
Там не бывать ни тебе и ни мне,
В этой веселой забытой стране.
Может, лишь детям твоим!

Угли былого сгорают. Потом
Будущее догорит.
Даже никто не узнает о том,
Как набиваются в памяти дом
Тлеющие декабри

Только на небе... и только звезда..
Только вот то, что сейчас!..
Только беспечное вечное: «да»
Все остальное, поверь, ерунда.
Не было!.. не было нас!..

В МАЕ НА БОЛОТЕ

Стрекозами пронизано пространство.
Мерцающая ртуть живого дня
Покоем истекает на меня,
При этом угасая беспристрастно!

Безумие болотной пестроты,
Дыша полдненным солнцем, паром, жаром,
Вдруг оборачивается шаром
Сияющей шипящей духоты.
Меж топким одиночеством и мной

Видны уже, как трещины, зазоры.
И бегают по ним страстей курсоры,
Ведомые вернувшейся весной,

Которая стоит, но смотрит так,
Что закипают сонные болота,
Где я брожу, святая простота,
С фаянса дней счищая позолоту!



Вода этой полночи...

Вода этой полночи слишком чиста,
Чтоб в землю пролиться.
На вытканых звездами синих холстах
Веселые лица.

А полночь другая — темна и грустна,
И черной водою
Омоет просторы, где в утренних снах
Заблещешь звездою.

Две разные полночи — выстрелы дней
По звездным мишеням...
Иди в черноту и пребудь же смелей
В принятыя решений.

Пока чернота из одной черноты
В другую струится,
Ты полночи первой попробуй воды,
Успей насладиться.

КРЕМОВЫЕ ДНИ

Зимний день бывает винным,
Если солнце в пьяной дымке
Улыбается сквозь ветки,
И спокойно, и хмельно!

И зеркальным он бывает,
Если солнце блещет светом
Белым,
Словно отражая
И леса, и небеса!

А когда в пылинках снежных,
Алых, синих, желтых небо,
И поэтому похоже
На густой и сладкий крем,

То и день бывает кремов,
И тогда порой охота,
Тыча пальцем в это небо,
Пробовать небесный крем!

СТРЕКОЧЕТ ДЕНЬ...

Стрекочет день. И слишком жарко
В траве лежать, смотреть на небо,
И видеть, как под парусами
Стремится к ночи этот день.

Из ельника ползет дремота.
Кукует сонная кукушка
Так далеко, что сонной сказкой
Мне кажется все, что вокруг.

Сверкают искрами стрекозы.
За бугорком ручей лепечет.
Я все, что было — вспоминаю —
К чему давным-давно привык,

Но тень грядущего видна мне
В слепящем мареве июля.
Она стоит, как изваянье,
И заслоняет мир былой.



СТРОКОЮ СЕВЕРА НАПИСАНЫ ЛЕСА...

Строкою севера написаны леса.
За полосую возникает полоса.
На полосы ложатся строки, строки...
И мхи седые под ногами шелестят,
И слезы, слезы на глазах твоих блещат,
А, значит, скоро кончатся все сроки.

И глушь лесная замолчит опять, замрет,
И напоит раздумчивостью небосвод.
А осенью расколется полнеба.
И точно так, как горько плачешь нынче ты —
Дожди прольются из неясной пустоты,
А после будет много зла и гнева.

Не надо, не гневись, запомни этот лес,
Что был строкою севера написан здесь
На полосах везенья-невезенья,
И сроки новые над старыми взойдут,
Даруя нам хрусталь сияющих минут
В промозглой мгле, безвыходной, осенней.

ПУСТОТЫ

Январь. Зима. Мороз. Но кроме
Упавшей с неба пустоты,
Что ранит прошлое до крови,
Нет ничего, чтоб я и ты

Могли на арфах дней морозных
Единой музыкой звучать,
Развеяв песнь прозрений грозных,
Как тьму — горящая свеча.

Пусть пустота морозно блещет
Кинжалом снежно-ледяным, —
В том блеске холодно-зловещем,
Ты слышишь, нам звучать двоим!

Пусть прошлое мертво, но все же,
Пока пустоты есть в судьбе, —
Тебя во мне не уничтожить,
Как, впрочем, и меня в тебе!

ТРИОЛЕТЫ

1. Ах, лучше б ты не прилетал...

Ах, лучше б ты не прилетал —
Который и летать не может!
Меня сомненье злое гложет.
Ах, лучше б ты не прилетал...

Ржавеет душ сырых металл,
И не металл ржавеет тоже!
Ах, лучше б ты не прилетал —
Который и летать не может!

2. И рыба-ночь, и суслик-утро...

И рыба-ночь, и суслик-утро
Питаются травой небес.
Бывают там, бывают здесь —
И рыба-ночь, и суслик-утро.

А я гляжу на них, я весь,
Как дуб, корявый, но премудрый.
И рыба-ночь, и суслик-утро
Питаются травой небес.

ФИАЛКОВАЯ ВЫСОТА

Четыре огня и четыре сосуда.
Фиалковая высота,
Где звездное небо и солнце — посуда
Для тайной вечери Христа...

Чего же ты просишь? Чего же ты хочешь?..
У времени короток путь.
Танцуют канкан темнотелые ночи.
Так пой же! О прочем забудь.

Забудь полувросшую в землю сторожку
И магний тоскующих лиц,
И небо, где ворон кружит осторожно,
И злобу запретных границ.

И время взвывается, и когтем царапнет
Костлявую грудь бытия..
Гляди, как с небес, да по звездному трапу —
Спускается осень твоя.

И БЫЛ ЭТОТ ДЕНЬ...

И был этот день... и земля ...и звезда.
По рельсам осенним неслись поезда,
По лунным блистающим нитям,
По мгле, по судьбе, по событиям...

И кто-то стоял, разливая вино
По темным бокалам и глядя в окно,
Где олово дня остывало,
Темнея лилово и ало.

И, спички тревог зажигая во тьме,
В осенней, кисельно текущей сурьме,

Блуждали пространство и время,
Как гости иных измерений.

А кто-то стоял у окна и курил,
Допив из бокалов остатки зари,
И слышал, как тихо шептались
Пространство и время-скиталец.

И слышал гудки неземных поездов,
И осень ему показалась звездой,
По небу летящей на север,
Где ветер бессмертье посеял...



Александр Пахомов

Aleksandr Pahomov

Задача

Однажды один атеист купил себе машину. Всю жизнь хотел, полжизни копил, пару лет остро нуждался, последний месяц хвастался. Потому что, говорит, без всякого кредита, нечего банки кормить. Первые несколько дней после покупки, атеист парковал машину под окнами. Несколько раз за вечер проверял. Машина была белого цвета, с пятью подушками безопасности, дизель, автомат, все дела.

Отпраздновали на широкую ногу. Родственники, друзья, товарищи, коллеги, пару соседей. Все радовались за него, ибо были в курсе всех подробностей пути, от желания до приобретения. Пришли с подарками. Кто по-

дарил автомобильную косметику, кто подробное руководство по уходу, кто миниатюрную копию машины. Очень мило, а иногда очень кстати. Из всех подарков выделялся один. Его принес товарищ атеиста, тоже атеист. Он подарил три иконки. Такие специальные, с пачку сигарет, с клейкой лентой, крепятся на дверце бардачка. На иконках изображены святые, ответственные за сохранность на дороге.

— Пять подушек, — сказал атеист.

— Трое святых, — ответил товарищ.

Атеист был самую малость педантичен. А именно: он любил, как есть. Например, если кофе, то без молока и сахара; если алкоголь, то в чистом виде, а не коктейль; если телефон, то чтоб звонил, не больше, чтоб его; если эволюцию, то атеизм; если женщина, то немного косметики, ровно столько, чтобы казалось, будто бы ее вовсе нет. Натуральность, естественность, только так, этого всегда достаточно. Соответственно, далее по списку: если автомобиль, то в том виде, в котором сошел с конвейера. Как максимум: местами снять полиэтилен, поменять диски, залить бензин, антифриз, масло, положить аптечку и огнетушитель. Единственное, что может меняться в автомобиле, так это счетчик пройденного пути, как бы он не назывался, одежда водителя, пассажиры, положение стрелок на часах и пейзаж за окнами. А тут святые... И что с ними прикажешь делать?

— Вешать, — подсказывает товарищ.

Озадачен.

Атеист любил и искренне верил в место для каждой вещи. Потому что у каждой вещи должно быть свое место. Мысль отвечала позовам логики и занимала свое место в логической цепи. А тут святые... С ценником на обороте, который решили не снимать, однако пробовали — гад оставляет липкие следы. Цена закрашена. Шутка для прагматика. Куда положить пластиковую иконку? Потому что нельзя так просто взять и выбросить иконку. Во-первых, это подарок. Сувенир, дар, какой никакой, лучше бы его не было, но он есть. Во-вторых, он конечно атеист, но до какой степени? До спокойной, разумной, не воинствующей. В-третьих, это незаконно. Вот он выбросит, а кто-то найдет и оскорбится. Можно замести следы, но сам факт нарушения будет чипать совесть. Он не верит в приметы, даже хорошие, но все равно сбавляет скорость перед черной кошкой. Он громко смеется, если видит бабку с ведрами. Громко, нервно и старательно, всем рассказывая про увиденное и про то, какая это все несурзная глупость. Но у него всегда что-то екает внутри, каждый раз. Екает, и через пару часов эхом

переходит в ком в горле. Он очень хорошо помнит историю про одного примитивного, нет, приметного, нет, суеверного, точно. Суеверный суеверил до крайности, знал все приметы, был одиноким и жил на первом этаже. Все у него было хорошо, пока однажды к нему на подоконник не сел голубь. Это была плохая примета, неисповедимы ее истоки. Голубь на подоконнике сулит проблемы — верил суеверный. И поэтому он отпросился с работы, закрылся в квартире, сел напротив окна и стал ждать этих самых проблем. Голубь сел опять. Суеверный его согнал. Выпил валерьянки. Голубь опять прилетел. Согнал. Решил проверить подоконник на наличие крошек, чего бы то ни было. Подоконник чист. Голубь садится. Суеверный седеет. Игра в кошки-мышки, или точнее, в приметы-суеверия продолжается около недели. На работе что-то подзревают. Суеверный еще никогда прежде не выглядел так плохо, он не ест, не спит, он не он. Его терпению приходит конец, и он достает двустовку. Заряжает. Ждет засранца в укрытии. Засранец садится на подоконник. Раздается выстрел. Дробь, минув птицу, вышибает окно, чтобы застрять в салоне припаркованного автомобиля. Водитель чудом уцелел. И только сейчас, когда дым постепенно рассеивается, у суеверного начинаются проблемы.

Атеист думает о суеверном. Он боится оставить иконки где-нибудь дома, он боится взять их с собой. У него есть принципы, вроде бы. Господи, есть у него принципы или нет? Машина все еще стоит под окнами, но теперь это обуза. Не роскошь, не средство передвижения, а обуза с иконками.

Атеист разрывает отношения со своим товарищем-шутником. Иконки он все-таки вешает чуть левее надписи «AIRBAG», и продает машину. Когда покупатель отдает ему деньги, то незамедлительно избавляется от иконки, выкинув ее из окна. Уезжает. Пока атеист, держа в ладони пачку денег, смотрит на валяющуюся иконку, и пытается мысленно разобраться с происходящим, раздается визг колес и звонкий удар — последние ноты сонаты перемены атеиста в агностика.

Все деньги он пожертвовал церкви. Иконку носит с собой. Он хотел было положить ее в кошелек, но не стал — это плохая примета.



ФАСАДЫ

Всегда любил заглядывать в чужие окна. Поймите меня правильно: люди меня совершенно не интересуют, кто они, что делают — не имеет значения. Я наблюдаю за комнатами. Жилье всегда человечнее, оно ничего не скрывает. И оно очень болтливое, важно уметь слушать. Комната способна рассказать о человеке гораздо больше, лучше и честнее, чем любой тест, слова и годы. Бывают комнаты, как зеркала. Они отражают личность хозяина. Говорят о его привычках, недостатках, интересах, о его вкусе, грехах, обо всем. Как будто вещи, мебель, стены и полы... вся эта материя — она не живая, но она впитывает жизнь. Любая вещь хранит в себе наше тепло от прикосновения к ней, наши отпечатки, пот, кровь, дыхание. И что-то эфемерное, например, настроение или воспоминание. Таз хранит усталость ног, не знаю... часы настенные хранят наши взгляды, одеяла — сон, посуда — голод и рецепты, стол хранит обеды и ужины, полки в ванной — любимую зубную пасту. И абсолютно у каждой вещи есть своя история. Причем история вещи начинается не с момента покупки, а с момента создания, и, скажу больше, в каждой вещи хранится вся история человечества. Понимаете? Вот, например, мои часы. Казалось бы, ничего интересного. До меня их носил мой отец, он говорил, что купил их перед войной. Но взгляните поближе... Они не только были свидетелями его и моей жизни. Они были собраны часовщиком, механизм придуман еще кем-то, они стали возможны благодаря определенной технике. В смысле, каждую шестеренку надо отлить из стали, или из чего там, то есть нужна форма специальная, да и сталь еще сделать, а для этого руду достать, в этом ведь еще и разбираться надо... И так далее, и так далее. Понимаете? И так с каждой вещью. Вот так.

Как вы знаете, у нас совсем небольшой город, и, в отличие от мегаполисов, он не высасывает из тебя всю жизнь. И домам, в основном, лет по шестьдесят-семьдесят. Вполне возможно, что фундамент одного из этих домов хранит отпечаток моих рук. Ну и природа, конечно... Не скажу, что воздух чище, сейчас и на луне воняет, но лес... Сказка. Город расположен на территории леса, а не как в мегаполисах — лес в черте города. И вот что удивительно: здесь деревья торчат буквально из дороги, да и сам хвойный лес такой густой, что тропинки кажутся особенно извилистыми. Здорово бывает с середины весны вплоть до самого начала осени, но только по вечерам. Мы с моим псом выходим часов в шесть вечера. Он у меня уже старый совсем, он, как говорится, теряет в скорости и маневренности, но мы, не спеша, часов до десяти — одиннадцати гуляем вдвоем по городу. Стараемся разными маршрутами, даже в дождь выходим. Весной пахнет гарью — на дачных участках избавляются от мусора, и дымка стелется над городом, и запах... вроде бы неприятный, но дурманит, успокаивает. Как будто соединяет тебя с миром, с прекрасной суетой... Вечера божественны. Мне кажется, что плавное окончание дня, желто-красное, придает смысл и значение уходящему времени. Когда тепло исходит от нагретого за день асфальта, и шаги прохожих становятся размеренней и спокойней. Знаете, бывает такая усталость в ногах и теле... такая особенная: набегаешься за день, устанешь, а домой придешь, ноги вы-



тянешь, и теплота разливается по всему телу. Тело размокает, и в сон немного клонит... Вот вечер — как раз-таки такое чувство, только для всего города. Мы с моим псом любим такие вечера. Ходим не спеша и думаем размеренно, дышим, смотрим. Мне кажется, что я и живу только в такие вот вечера. В смысле, по-настоящему живу. Долго мы с ним так гуляем. Он немного впереди, а я за ним, руки за спиной держу. Бродим так, а я все в окна заглядываю, краем глаза, точно в поезде заглядывают в купе, не столько от любопытства, сколько от любознательности. Удивительно так. Ха... Я все в голову не возьму: вот вроде бы дома одинаковые, и квартиры в домах одинаковые, в смысле планировки, но, одновременно, такие все разные. Даже если мебель похожая с обоями и цветы в глиняных горшках, но всегда что-то придает индивидуальность. Так я часто в кухни заглядываю, и почти всюду холодильники на одних и тех же местах стоят. И тут уж дело в маленьких кухнях, конечно, по-другому и не поставить, но, тем не менее, квартиры никогда не перепутаешь. Светильники и те не у всех по центру комнаты висят. Сейчас делают потолки, в них лампы по периметру комнаты, и они, как бы утоплены в потолок. Во, брат, что только не придумают! Правда, иной раз смотрю: дом один, а квартиры так отличаются друг от друга, и не поверишь, что их хозяева — соседи. Я слышал где-то, что капитализм создал людей, а кредиты уравнили их в правах. Видимо, так и есть.

Часто мне раньше приходилось по работе в разные квартиры заглядывать. Сначала я так радовался этому, ведь можно поближе на все посмотреть. Затем уж сообразил, что чем ближе смотришь, тем меньше видишь. Всему виной аромат. В каждой квартире есть свой аромат. Множество разных ароматов переплетаются между собой, чтобы создать один, абсолютно уникальный. Продукты, бытовая химия, домашние животные, косметика и прочее. Вот как раз-таки этот аромат и отталкивает. Поймите меня правильно, дело не в самом аромате, просто, вдыхая его, ты становишься частью квартиры, и тут уж, как говорится, о никакой объективности не может быть и речи. Ну как с запахом гари весной, только то общее для всех. Редко кто замечает подобное. Поэтому я попросил о переводе на другую должность. Как люди только не живут... И есть во всем многообразии такие, кому, по большому счету, нет никакого дела до собственного дома. И квартиры неуютны и холодны, а сами они стараются все на себя потратить. Так и думают, как получше выглядеть и одеваться, да ездить подороже, а дома черт те что. Никогда такого не понимал. Дом ведь — святое. Это же ты сам, автопортрет в вещах. Любая страна начинается с дома и любой человек.

Мой знакомый как-то в разговоре заметил, что раньше было все несколько проще. Не разговор даже, а так, болтовня, вокруг да около своих проблем и недовольства сегодняшним днем. Знаете, во время такой болтовни слушатели обычно понимающе кивают головой, едва заметно, точно голова качается от ветра, а глаза сосредоточены на одной упрямой точке под ногами. Такая болтовня ни к чему не приводит, даже время не убивает, как ветер в поле, до которого никому нет дела. Смертельно надоела такая болтовня. Правда, признаюсь, я раз за разом обнаруживаю себя в ее убаюкивающих руках. Иной раз так кто-нибудь на улице подойдет, сигарету спросит, время, или в очереди, а бывает, и так просто, сразу начинают: так, мол, и так, слышал по радио, смотрел по телевизору, кто-то рассказал, и понеслось, — они говорят, а у меня голова болтается. Да, говорю, понимаю. И действительно понимаю, и, видимо, голова болтается убедительно, так что они и продолжают. И всегда общее можно выделить в таких «разговорах»: недовольны, не нравятся, не понимают. И сделать ничего не могут. И я не могу. Поэтому, видеть, и киваю. Не скажу, что люди жалуются на жизнь, точнее, на страну или время для страны, или на страну для времени (такие обычно сравнивают все с западом), а как-то... даже не знаю... с чем и сравнить. Точно из карманов все вынимают: вот гвоздь, вот мелочь, вот ключи. Без выводов и подробностей. Один все говорил, мол, до чего дошли, и пальцем так указательным в воздухе, как восклицательным знаком: в аэродинамической трубе в одном НИИ доски сушат. Хоть сухари, отвечаю, что мы с вами, пойдем самолеты проектировать? Да, и мне обидно, и в кармане двадцать рублей, и небо голубое; да, и все в одну точку гляжу, как загнипнотизированный. Без выводов, головами только воздух сотрясаем. Но тут, правда, этот знакомый интересную мысль высказал, случайно, видеть, я бы и внимания не обратил, да только вот сам все думал над этим. Он говорил, что раньше было попроще, и в доказательство подбородком своим на дом показывает. Обычный такой панельный дом, девятиэтажка, таких море. Говорит: вот еще каких-нибудь пять лет назад по одному только свисающему под окном кондиционеру можно было прикинуть достаток хозяев квартиры. А еще раньше, говорит, по пластиковым окнам, а до того по входным дверям. И вроде как, продолжает, еще раньше так и вовсе по дому и району. Не без исключений, конечно, но тенденция была. От общего к деталям, к мелочам. Я киваю уверенней. Там селили ученых, там военных, там рабочих, ну старались хотя бы. А сейчас, говорит, поди разбери. Я отвечаю, что со временем все поправится, это как продукты, говорю, из пакета на стол, со стола по полкам. Да и как посмотреть на все. Возьмешь повыше, чтоб общим планом, так глядишь, и логика во всем есть. Теперь его голова болтается. А если еще выше, с точки зрения

истории — вовсе ничего нового. Что раньше с памятниками и музеями творили, те же танцы над другими руинами-могилами. И тут прекращаю, кланяюсь, опаздываю, мол, вспомнил, и быстрым шагом прочь. Эти мысли, думаю, лучше себе оставляю, не хочу по ветру пускать. Повторяюсь, такая болтовня не по рельсам ходит, ее так и норовит в сторону, в кювет. К-ю-в-е-т, кю-вет, французское. Всегда можно определить французское слово, каждое слово этого языка знает себе цену. Так вот, отбегаю от того знакомого, и думаю, что ведь действительно все так, как он говорит... В смысле, что раньше попроще-то было, с определением. Вроде бы и согласен, а сам с собой спорить начинаю, потому что не могу я так просто согласиться, мне надо самому до ответа дойти.

Так и ходим сейчас, в думах. Любим мы так с моим псом гулять. Подолгу так гуляем, наблюдаем, думаем... Кажется, что в такие вечера и живешь. Ха, я только сейчас заметил, что наши долгие прогулки напоминают все эти пустые разговоры, и теплые вечера ублаживают, и деревья качаются в такт моим мыслям. Так со стороны и, действительно, на жалобу похоже.

УХОДИМ И ОСТАЕМСЯ

Любка выпила целую горсть таблеток. От сердца, от боли, от спазмов, словом, от жизни. За несколько часов до этого, она позвонила Надюше с подробным инструктажем. Рассказала, что все документы на квартиру лежат в верхнем ящике серванта, а все ее личные документы — в нижнем. Там же лежат деньги на похороны (должно хватить), тысяча рублей бригаде скорой помощи, еще пять на поминки и пятьсот батюшке за отпевание. За квартиру она заплатила, пусть внук с невесткой не переживают. Завещание она решила не писать, зачем? И так все понятно — все что есть, а есть только квартира, сервант и чайный сервиз, который еще со свадьбы — останется внуку. Вроде бы ничего не забыла... Ах да, платье и платок, в котором ее следует хранить, висят на дверце шкафа. О кремации все в курсе, какую выберут урну, ее, в общем-то, не интересует. Разве что, пускай поскромнее. Хранить рядом с мужем. Предсмертной записки не оставляет. Или оставить? Лучше, говорит, оставить. Пишет: «Документы на квартиру в верхнем ящике, все мои документы и деньги на похороны в нижнем ящике серванта. Не судите. Устала». Она долго готовилась и готовилась тщательно, спокойно и рассудительно, как и делала всю свою жизнь. Точно собиралась в отпуск. Да так оно, собственно, и было.

Попрощалась с Надькой. Вечером пожелала спокойной ночи внуку. Попросила разбудить ее, когда он завтра пойдет на работу. Налила стакан воды, села на край кровати. Вот таблетки, вот вода, вот и все.

Любка и Надюша — это между собой. Для всех остальных — Любовь Вячеславовна и Надежда Петровна, двадцать второго года рождения. Ветераны, врачи, вдовы, пенсионеры, подружки и старухи. Два лейкоцита в нормальной моче, как они себя называли. Когда-то еще раньше — дочери, невестки, девчонки, студентки, подружки молодые. Когда-то раньше их было пятеро. Лучшие подружки с первого курса, все вернулись с войны. Теперь их двое, но это, как они шутят, временно.

Любовь Вячеславовна придумала небольшой рассказ. О молодой и очень красивой паре: они только что поженились. Любят друг друга, счастливы. Но никто из них никогда не бывал за границей. Оба всегда мечтали. И однажды, на подаренные деньги, они решают отправиться в путешествие. Определились со страной, сделали все документы и купили себе чемодан. Большой, дорогой, отличный чемодан красного цвета, на колесиках и с выдвижной ручкой. Не могли нарадоваться. И уехали. И куда бы они не поехали, им невероятно там нравилось, да так нравилось, что непременно хотелось еще, и стали они часто ездить по свету. И всегда с собой брали красный чемодан. Чемодан был весь в наклейках. Он даже стал в каком-то смысле членом их семьи. Так продолжалось некоторое время, и это было хорошо. Родился ребенок. Они стали путешествовать вдвоем, и красный чемодан все еще вмещал в себя все необходимые вещи. Первый ребенок подрос, и ему потребовался свой личный чемодан. Шли годы. На красном чемодане не осталось живого места для новых наклеек, да и он сам стал сдавать. Ручку заедало, колесико не крутилось, были на нем вмятины и порезы, и морщины. И тогда они купили новый чемодан. Современный, надежный, вместительный и очень прочный, а старый поставили в шкаф. Он привыкал. Теперь его место там, а не в багажном отделении самолета, под сиденьем в поезде, на кроватях гостиничных номеров. Его больше не везут по асфальтам других стран, по гостиничным палатам, по аэропорту.

Вещей стало прибавляться, и некоторые ненужные стали они складывать в старый красный

чемодан. Раньше в нем были купальные костюмы, сувениры и фотоаппараты, а теперь разный хлам. В темноте забвенья, с хламом внутри и воспоминаниями, пропахшими мелками от моли. Судьба вещей. Но каждый раз, когда хозяева открывали шкаф и им на глаза попадался чемодан, они вспоминали, каким незаменимым помощником он некогда был.

Затем дверца шкафа отворилась в последний раз, и теплый луч солнечного света скользнул по поверхности, по всем наклейкам, морщинам и трещинам... чтобы навсегда раствориться. Решивший во что бы то не стало сохранить эту теплоту мгновенья, старый красный чемодан был опустошен и убран на антресоли. Среди коробок от техники он покрылся пылью, и тьма объяла его.

— Ерунда, — он качает головой, — не пойдет. Многим позже он решит, что был крайне строг в оценке. — Не понравился? Возможно, я плохо рассказала. У меня в голове он звучал лучше... — Ну так всегда. — Я его несколько последних дней сама себе пересказываю.

Тяжело писать. В такие моменты мне всегда кажется, что талант хлопнул дверью. Громко ушел, тяжелой поступью, с отдышкой, с распухшей головой. Так уходят сквозняки. Хочу сказать, что понимаю твой рассказ про чемодан. Ты видишь, что я только что сделал? Называю это игрой в классики. Перепрыгиваю из одного стиля в другой.

Ты не чемодан и никогда им не была. Не знаю, почему я тогда тебе об этом не сказал. Все наше общение складывалось из едва заметных кивков головы, произвольных, под весом услышанного. Мы с тобой много говорили о смерти в последнее время. Точнее, ты говорила, а я произвольно головой... Понимал, вот в чем дело, и не решался вмешиваться. Я боялся, что ты не поверишь, что я это понимаю. Сейчас, когда я пишу, это кажется очень странным. Ни черта я не понимаю в жизни, ни в чем не уверен, а когда ты говорила о смерти, я тебя слышал и понимал.

Поэтому я так люблю писать. Дело в том, что слова мелодично раскладывают впечатления. Словно бы весь этот шум распадается на отдельные звуки, понятные и простые; они ложатся на бумагу или нотную тетрадь, в определенном порядке... друг за другом, как кирпичики. И каждый такой кирпичик, пусть и является вещью цельной, сам по себе не имеет никакого значения. Но когда они все вместе... Соната из шума, костел из кирпичей, рассказ из предложений. Ты видишь, что я только что сделал? Перепрыгиваю с мысли на мысль, с образа на образ, с ноги на ногу — все для того, чтобы немного согреться.

Ты жаловалась на усталость. Ты говорила, что старость — это продолжительная прогулка по кладбищу. С одних похорон на другие, в поисках своей собственной могилы, покоя и забвения. Того холмистого кладбища, в тени высоких сосен. Там покоятся твои родители, муж и сын, многие друзья. Отныне там покоишься и ты. Тебе было девяносто лет. Господи боже, без десяти один век...

Плохие вести ходят вечерами. Новость догнала во время прогулки. Новость вышибала слезы, прохлада в сердце. Что случилось? Так и так. Они уверены? Как они могут ошибаться? Все будет хорошо. Непременно ли? А как же.

Почему должно быть всегда плохо, перед тем, как стать хорошо? Обязательно ли это условие? Заметь: быть плохо, стать хорошо.

В последний раз он видел ее позавчера. Она была в оранжевом халате, с насморком. Она жаловалась на кашель ночью:

— Думала, что помру.

В остальном все было без перемен. Те же вопросы, те же ответы. Во всяком случае, никто ни о чем не догадывался и ничего не предчувствовал. А потом вот так, новость вышибает слезы.

Он солжет, если скажет, что никогда об этом не думал. Стучалась такая мысль, по редкому приглашению, или сама по себе, всплывала из недр, так сказать, подсознательного страха, рациональное зерно, рациональное ядро, не важное, но холодное и бескомпромиссное, и жестокое.

Шептала: сам подумай, такой возраст, такое настроение.

Устать от жизни. Единственное, что у нас есть — наша собственная, но временная, такая хрупкая и очень сложная жизнь. Ты меня знаешь, я богу не молился, свечи не ставил, ибо не верую, отвергаю и не воспринимаю, и от этого любая жизнь для меня так ценна. И ты отвергала, по учено-коммунистически, но крестик никогда не снимала, до самого конца. Мы здесь временно, кто

на короткий срок, кому повезет, больше. Тебе повезло, и ты устала. Могу вообразить себе: жаркий полдень, во рту пересохло, клонит в сон, в липком воздухе звенят мухи, ты уже четвертый час в очереди, конца которой не видать, и злиться уже бессмысленно, и никуда не уйти, и ничего уже не сделать. Похоже? Ты говорила, что стала заложником собственного ветхого тела. Тебе отвечали: радуйся — не прикована к постели. И врач на последнем осмотре сказал, что все в порядке, в рамках почтенного возраста.

Ты рассказывала, что после пышного празднования твоего шестидесятилетия, оставшись наедине со своим возрастом, среди пустых тарелок и остатков еды, ты заплакала. Тебе показалось, что твоя жизнь кончилась. Ведь какая может быть жизнь на пенсии? Тридцать лет спустя, вспоминая тогдашние слезы, назвала себя дурой.

А как же, конечно, все будет хорошо. Так все говорили и хотели верить, но слышался шепот. Глубоко внутри скрывалось предчувствие. И опять: такой возраст, такое настроение, такой инфаркт. Приехала скорая, осмотрела и поставила диагноз, увезли. Этой же ночью должны делать операцию, убрать тромб. Сердце стойко переносило все удары, но какой-то там тромб его сломал.

Он был на похоронах всего два раза, но за один год. Ему было лет тринадцать, когда под моросящим осенним дождем он шел за своим дедом в сторону крематория. Его попросили быть рядом с ним, на всякий случай. Он чувствовал себя значимым и даже незаменимым на протяжении нескольких шагов, ведь ему доверили такое ответственное задание. А потом он почувствовал себя совсем уж крошечным и немощным, потому что ничего он не мог изменить. Ни утешить деда, ни воскресить бабушку, ни отмотать время на несколько лет назад, чтобы задушить болезнь в самом зачатке. Через полгода он шел вслед за своим отцом в сторону крематория. Ему показалось, что все вокруг знают несколько больше о случившемся, обо всем, а с ним никакими знаниями пока не делятся, не объясняют. Как тут объяснить? Сколько раз он сам будет идти впереди?

Знаешь, какой эпизод так и не выветрился из моей памяти, несмотря на дыхание времени? Мне было около пяти лет, ты меня моешь в ванной, хотел написать «стираешь», а я вдруг ни с того ни с сего спрашиваю:

— Если я вдруг умру, что ты будешь делать?

Ты ответила спокойно и без всяких раздумий, словно бы вопрос был таким простым и естественным:

— Сама бы умерла.

Вздыхает время, проносятся годы, опять он в ванной комнате. Теперь справляется сам, пытается помыть голову. Завтра он пойдет следом за матерью, чтобы поддержать и быть рядом в томной бюрократической суете. Завтра будет жарко и душно. А сейчас вода из крана, слезы из глаз, хочется кричать, чтобы вся боль испарилась вместе с криком, умом не понимает, а внутри чувствует пустоту. Такую локальную пустоту, дырку в сердце. Его самого стало меньше. Шепот: такой возраст, такой инфаркт, так быстро и безболезненно. Но как же так? Был человек и теперь его нет, и не будет. Останутся только воспоминания, фотографии, этот пепел, тающий след в небе от пролетевшего самолета.

— Как он умер?

— Я тебе лучше расскажу, как он жил.

Подслушанные мною строки, блестящие строки, надо признать, из какого-то фильма. Возможно, лучшая форма для рассказа об ушедшем человеке. Возможно, еще лучше будет рассказать об оставшихся.

Ты знаешь, я раньше думал, что можно понять все о стране по спичкам. Никакой магии. Купить обычные спички в магазине, открыть коробок и внимательно их изучить. Помнишь, какие там были спички, в нашем городе, где под окнами росли березы? С зеленой головкой, зажигались о стекло. Здешние оставляют занозы в нежных руках. Но спички — слишком мелко. Вероятно, больше подробностей мы обнаружим в прощании с ушедшими. Здесь очень грубо, и грубость оставляет занозы в скорби.

Ты умерла ночью. И уже через несколько часов, как раз к открытию справочного кабинета, нам предлагают помощь в оформлении всех необходимых бумаг. Молодой парень — агент

ритуальных услуг, заросший настоящей броней к чужому горю, может быть. и к своему собственному, бегло объясняет все аспекты. За тысячу рублей, говорит, сам стоит в очереди. Я сорвался тогда, тоже бегло, не горжусь порванной цепью. Сказал ему, что твое тело даже не остыло, а он уже принялся закапывать могилу.

Мы из одной очереди мигрируем в другую, вторую справку меняем на третью, позволяющую простоять в четвертой очереди. С агентом все, действительно, проходит быстрее. Мы разделяемся, чтобы одновременно успеть несколько дел. Я захожу в комнату, уже не в твою и в не мою, чтобы забрать блузу с юбкой и платком, и минут двадцать я пытаюсь аккуратно сложить одежду в пакет. Мнется одежда, мнется пакет. Нужно ли оставлять вешалку? Ничего не чувствую, просто хочу разобраться с дурацкой вешалкой. А потом мы вновь едем в автомобиле, за агентом, в какой-то кирпичный закуток города — там его офис, там можно выбрать гроб. Там на лестнице стоят миски для кошек, а сами кошки распластались на подоконнике. Мы пьем черный кофе и выбираем белый гроб. Агент одобряет выбор и уточняет наличие гроба на складе. Новые гробы пахнут сосной и лаком. Черт возьми, сосной и лаком, заклеенные полиэтиленом, итальянские, потому что отечественные плохо окрашены, глянцевые. Кто-то же делает гробы, кто-то же должен их делать?

Рутин, вот о чем он подумал. Они вторые в очереди. Все в черном и он в черном, по мере сил, и курит одну за другой. Он держит красные розы; шипы красных роз впиваются в руки. Надежда Петровна приходит одна из первых, в сопровождении женщин. Он их видит впервые, но судя по слезам на их лицах, они были хорошо знакомы с ушедшей. Рутин. Провожающие подходили тонкой вереницей. Одни скорбящие смешивались с другими. Перед ними только что вынесли гроб, за гробом семья покойного садится в автобус. Автобус пыхтит и уезжает за ворота больницы.

Тебя было не узнать. Скорее тень, твое бездыханное тело — тень твоей жизни. Такое странное впечатление оставляют мертвые тела. Уже не человек, никогда не вещь, не оболочка — так слишком грубо... Видимо, мифический двадцать один грамм — масса всей разницы. Как это, умереть? Это похоже на сон без сновидений? Умереть — это значит уснуть?

Белый гроб лежит среди черных туфель. В автобусе есть шторы, на дороге — небольшие пробки и колдобины. И треклятая жара вокруг всего и в каждой клетке, и в каждом вздохе, стало быть живы, он думает.

У крематория столько автобусов было... как на концерте. Столько венков, столько гробов, столько скорбящих, слез, беготни, очередей. Опять нужно брать справки, кто здесь крайний, пардон? Вы? Кто у вас? Отец, брат, тетка, сестра, дети были, вот что самое ужасное — маленькие гробы. Кто-то же делает, я спрашиваю, маленькие гробы? А среди надгробий бегала бродячая собака, справляла нужду. Я же бегал от одной очереди, за справкой, к другой на оплату кремации, к третьей за выбором урны, а оттуда к нашему водителю, спросить не повлияет ли жара на твое тело. Я тогда вспомнил, что ты очень плохо переносила жару. Он профессионально улыбнулся, и сказал, что количества химии хватит на несколько часов, могу не переживать. Я хотел быть полезным, поинтересовался самочувствием Надежды Петровны. Она бойко ответила, что самочувствие в порядке, могу не переживать. Она была на твоей свадьбе, лет семьдесят назад, на свадьбе твоей дочери и сына, на свадьбе твоего внука. Теперь вот она на похоронах. Иногда мне хочется, чтобы вся боль осталась в детстве, чтобы ничего плохого в осознанном возрасте не было. Оставить там, до пятнадцати, зубных врачей, краснуху, этот день. Но сейчас истинно все чувствуешь, боль ведь часть жизни, не так ли? Все в одном комплекте, по отдельности не приобрести. Потом мы вошли в зал. Огромные двери отворились перед нами — так настала наша очередь. Сколько раз я здесь бываю, в роли провожающего, на своих ногах, прежде чем меня сюда внесут? Я держал гроб и больше всего на свете и во тьме боялся его уронить. Священник пил чай, клавишник за синтезатором смиренно ждал. Еще там женщина была, не представляю, как называется ее должность. Она руководит процессом и произносит речь. Она попросила снять крышку с твоего гроба... Мы с братом так и сделали, поставили ее у стенки на специальный коврик... я очень боялся ее уронить. Затем женщина неизвестной профессии произнесла речь, несколько сухих и затертых предложений. Совершенно не помню, что она говорила. Запомнил только, что она заглянула в бумажку с твоим именем, а еще, что она была похожа на проводницу. Может быть, от того, как она читала, с определенным темпом, как отстукивают колеса. Думаю, ты бы со мной согласилась (как часто мы с тобой ездили на поездах?). Так это было противно. Подобное читают во время бракосочетания, перед подписью: заученные речи, рутин, очереди, занозы в душах. Главное, что это такие события. Пусть свадьбы может и не быть, или быть несколько раз, но похороны только однажды. Хотя ты и говорила, что похороны — это то, что случается с другими. После она попросила кого-нибудь

из присутствующих произнести краткую речь. Произнесла Надежда Петровна, которая знала тебя если уж и не лучше всех, то определенно дольше. Начала с начала, с года рождения... Когда рассказывала про поступление в институт, у меня зазвонил телефон. Чуть было не разбил его со злобы, до сих пор не знаю, кто звонил.

Настала пора прощаться. Очередь, понимаешь? Сколько раз в день проводница отстукивает тленные речи, заглядывая в бумажку? Они с братом закрыли крышку гроба, это было самое страшное из того, что он когда-либо делал.

Я, он... словно бы рассеиваюсь в этой истории. Словно бы что-то из описанного происходило не со мной.

Знаешь, что остается после того, как гроб исчезает из твоей видимости, опускаясь в специальном лифте куда-то вниз? Конечно, знаешь.

Я вспоминаю, как мы встречали тебя на вокзале. Подъехал поезд, все пассажиры сошли на перрон, все, кроме тебя. Мы забеспокоились. Зашли в вагон. Ты сидела в своем купе, красила ресницы. Ты проспала. Всегда жаловалась на бессонницу, а тут проспала без всяких снотворных. Ты успела тогда накрасить один глаз и надеть кофту наизнанку. А еще я помню, как ты всегда была рядом. Я помню наши пустые обиды, которые теперь не имеют никакого смысла и никогда не имели. Помню, как ты говорила, что лучшая поза для сна — на правом боку. Помню бутерброды с черным хлебом с семечками, без корочек, на дощечке. Помню желтые яблоки в вазе, фруктовый сок и как ты выключала телевизор, чтобы услышать каждое мое слово. Эти крошечные воспоминания, такие личные, особенные, странные, абсурдные, смешные и грустные... это все, что остается.

Не представляю, как дальше. Я должен прожить еще столько же, хотя бы на один год больше, чтобы представить, каково это — жить без тебя.

Идет четвертый месяц.

У кого галоперидол?

— Да хоть поймай ее, подмани. Пожрать ей, может, чего дадим, хоть что-нибудь.

— Подмани ее, она заебала. Прикинь, вот люди в том доме, блядь, они просто охуевают уже наверно.

— Никса, Никса!

— Подмани ее!

Никса бегают по участку и звонко лает на всех и все. Поди разбери, что у нее там на уме.

— Иди сюда, Никса, ко мне! Кис-кис-кис.

— Блядь, я проебал, короче, пачку сигарет!

— На столе вон лежат...

— Ребята, все — плохо резко стало.

— Никса, поди сюда. Поди сюда, кое-что скажу.

— Ебте, она что, видит воображаемого белого медведя и загоняет его, что ли?

— Да она ничего не видит, вот и лает. Паника у нее.

— Какая паника? Паника — это когда гидропоники хапанул и упал в люк, который, бля, — открыт на дороге. Блядь, приманку подмани, где эта хуйня?

— Да все, замолчала.

— Вот эта ебень. Никса, Никса, Никса! Иди сюда, тут все есть — и хлеб, и водка. Никса! Где галоперидол?

— Никса, Никса! Сидеть, ко мне, лежать, вокруг, руки на бок. На пол, на пол...

- Ха-ха-ха, руки в гору, епть.
- Так, тихо, команда «Тихо», молодец. Какая умная собака!
- У-у, а ты говорил.

Я и представить себе никогда не мог, что можно так много выпить в одну глотку, затем еще и накуриться. Сверх того — после активно участвовать в разговоре и просить добавки. Стоик этот парень.

— Блядь, вот ты смотри. Ты живешь в доме, вы что-то делаете, и собака гав-гав-гав-гав!.. Как вы прекращаете эту хуйню? А, легко достать ее в доме? Да, не подумал.

— Да не орет она у нас.

— Как это не орет? А почему здесь она орет, а вы такие: заебись, давай натрем ей соски красным перцем. Да ладно, блин, я гоню, что за херня? Иди сюда, вот молодец, молодец.

Все красные от смеха набираются сил. У меня болят мышцы, точно я только что вернулся с полосы препятствий.

В самом центре стола, в угрюмом окружении пустых стаканов и грязных пластиковых тарелок, светит самодельная лампа. Впрочем, тут все самодельное. Подаренная имениннику пятилитровая бутылка виски переходит из рук в руки.

После взрыва смеха разговоры рассеиваются шепотом за столом. Напоминает стаю испуганных птиц, дробью слетевших с ветвей дерева, а после каждая по одиночке ищет себе место. Главный стучит кулаком по лавке:

— Я требую сатисфакции. Никса, Никса... По-моему, она хакает угли и тащится. Вот на тебя смотришь, знаешь, — главный обращается ко мне, — как будто ты обмазан медом, бородатый... Пьешь спирт и затягиваешь гайку огромным ключом, и весь в меду, думаешь, как же, блядь, хорошо жить.

На той стороне пытаются накурить вновь прибывшего. Все лезут с советами. Он интересуется устройством самодельного бульбюлятора.

— А почему, а почему... Так нужно, — говорит именинник.

Стоик просит плюшку. Он уже не может до конца озвучить свою просьбу, поэтому «пожалуйста» говорит своим честным взглядом.

— А мне двадцать пять лет, — говорит именинник, напоминая всем присутствующим утраченный смысл происходящего.

— Тебе же двадцать, сука, пять.

— Двадцать пять, двадцать пять, Дима ягодка опять.

— Ты самый главный солнечный волос на теле нашего нового города. Ты вот солнечный парень, а расходуешь себя на всякое говно. Вот сколько я на тебя ни посмотрю: и радостно, и зло берет, бля. Ты вот как эта собака: бегаешь, бегаешь, бля. Сконцентрируйся! Ты можешь сконцентрироваться? Сконцентрируйся, ебте.

— Вообще пипец, — не ожидал именинник.

— Я тебе дело говорю, послушай меня хоть раз, блядь. Я тебе сколько раз говорил, а тебе все до пизды. Мне инженер сказал: вот Артем, блядь, ты все ходишь и ходишь — за все хватаешься... Нехуй! Возьмись за одно и делай. Достичь максимума! Потом переключайся на другое. Ты вот как автомобилисты, я не автомобилист. Вот как идет передача, одна, пум, отсечка, другая идет, так и ты, Диман. Вот я охуеваю, у меня был бы мозг как у тебя, ёпте, я бы уже инженером стал давно, ёп твою мать. Ты все мозги ебешь...

— Прорвемся, — говорит именинник.

Стоик от смеха едва удержался на лавке.

— Я тебе чего желаю роста, роста! И морального удовлетворения.

— О-о! — заорал стоик.

— О-о! — его поддержали все присутствующие.

— С собой займись, ты умный парень, бля. Если бы у меня такой интеллект бы, я бы, в натуре, хуй знает, уже бы инженером стал бы, епть. Ну и пиздюлян ты. Твой батька с мамой сделали буран, прикинь? Родители сделали буран.

Никса опять начинает лаять.

Мне знаком взгляд именинника.

Несколько лет назад я работал продавцом в огромном торговом центре. Как и всегда, за десять минут до открытия я курил перед входом, пытаюсь настроиться на очередной долгий рабочий день. Настроиться никогда не удавалось. Ко мне обратился молодой человек: как сейчас понимаю, он был чуть старше меня теперешнего. Просил он десять рублей на пиво. На нем была громоздкая кожаная куртка — косуха, как их называют. Прядь сальных волос прилипала к обгоревшему от солнца лицу. Он был немного пьян, или, сказать лучше, немного трезв. В принципе, обычный парень в обычное утро, если бы только не его запах. Алкоголь, моча, затхлость и пот, казалось, что даже от его трехдневной щетины исходил тошнотворный запах. Я удовлетворил его просьбу, даже старался поддержать начатую им беседу. Скорее всего, он увидел во мне единомышленника — в ту пору у меня были длинные волосы. Кожаная куртка, длинные волосы — все это приметы левой стороны. Он клялся вернуть мне деньги. Сам не знаю почему, но я сказал ему, где именно работаю. Его звали Димой.

С тех пор он часто заходил ко мне в магазин. Всегда с наполовину пустой бутылкой. Иногда он просил мелочь, иногда играл на электрогитаре, смотрел музыкальные альбомы. Он мне рассказывал что-то о своих любимых группах, пока его не выгоняли охранники, звал выпить с ним после работы, но я каждый раз придумывал какую-нибудь новую отговорку. Со временем, его присутствие становилось все назойливее. Он приходил почти каждый день, отпугивал хрустальных клиентов, и я нередко получал от начальства за такую «дружбу». В разговорах он почти никогда не упоминал о своей жизни. О чем мы говорим, когда говорим о жизни? О работе и доме, семье и друзьях, увлечениях и проблемах, о чем же еще. Если у человека нет ничего из перечисленного, то разве он не живет? Я никогда и не спрашивал у него об этих главных симптомах. Разве что однажды он рассказал, что наконец-то принял душ в квартире своего отца. «Купаться в речке стало холодно», — заключил он.

Как-то раз ко мне в магазин пришел давний товарищ. Мы решили с ним отобедать в ресторанном дворике. Неожиданно к нам подсел Дима. С полупустой бутылкой, полутрезвый, вонючий. Он попросил мелочь и принялся рассказывать о злом охраннике, который дежурил на этаже. Мой товарищ спросил у него:

— Ты учишься, или работаешь?

Он ничего не ответил. Я помню его глаза. В них я разглядел то осуждающее презрение к заданному вопросу и непосильную усталость от него. Он сам презирал себя и осуждал. Симптомы жизни. Я понял, почему он ко мне приходил и почему с того раза перестал. Он ушел и больше я его никогда не видел. Мой товарищ недоумевал:

— Молодой парень, — говорил он, — не инвалид и не урод, вроде бы с головой.

Вот и несколько лет спустя, поздним летним вечером, в свете самодельной лампы, я увидел тот же взгляд. Он принадлежал совсем другому человеку, не утратившему всех пресловутых симптомов, но уже бесконечно уставшего от посторонних сослагательных. Не впервые у него спрашивали: чего ты делаешь, мне бы такую голову, что ты горишь себя на все эту дребедень. Спрашивали за столом, полутрезвые.

У всех нас есть жизнь, но никто толком не знает, что это такое и что с ней делать. В полутьме дешевого смеха, мы смотрим в глаза друг друга, и видим, как нам кажется, индивидуальные инструкции. «Как наладить симптомы». Мне бы твою голову, он сказал. Будь она твоей, сидел бы ты сейчас и слушал: мне бы твою голову, я бы...

Мне бы зрение орлиное, мне бы парочку ответов, мне бы завистливую тишину. Мои симптомы переменчивы, но я точно знаю, что и у меня бывает такой взгляд.

ГИМН ЧЕЛОВЕКА

Вопрос:

Что есть жизнь твоя? Жалкая участь — ты был здоров, но вот теперь ты болен. С момента рождения твоего смерть твой спутник, и болезнь ее дыхание. Пока ты совершаешь свой первый шаг, смерть — на шаг впереди, ждет тебя, чтобы заключить тебя в объятьях своих, как мать обнимает ребенка своего.

Что будет дальше? Трепет пустоты. И нет никого рядом, чтобы засвидетельствовать беспроедную мглу, и нет тебя. Ты засыпаешь, чтобы уже не проснуться, никаких снов, и нет более тебя.

Что есть дела твои и поступки, творимые под солнцем, как не серая пыль? Пылинки кружат вокруг солнечных лучей, но только тогда они заметны. А когда солнце покинет небосклон, где они будут? Где будет все, что делал ты, где все то, за что проливал кровь, пот и слезы?

Что слышишь ты и видишь подле себя? Крики ли о помощи и пожарища до самого горизонта, или музыку и смех? Кровь смешается с вином, а стоны печали сольются с песнями радости так, что не отличить одно от другого; и где будешь ты во время пира среди чумы? Способен ли ты отличить дурное от хорошего, эти две стороны одной монеты? Ты вкусил запретный плод, но не распробовал.

Готов ли ты взять в руки свои оружие и погибнуть на поле брани, готов ли ты убить? Но кто истинный твой враг?

Разве не все мы окружены холодной пустотой, неужели разные вопросы и страхи терзают наши сердца, и не одни ли силы, куда большие нас, сокрушают все величие человека? Если мы разделяем друг с другом пищу и ложе, и время старит нас одинаково, вправе ли ты или всякий другой решать, кто достоин жизни, а кто нет?

Что истинно твое?

Даже тело — лишь временное пристанище души, и мысли твои, опыт и чувства погибнут вместе с телом, они растворятся в земле. С гибелью твоей станет ли меньше Европа?

На обочинах своей жизни напрасно ты взываешь Господа Бога своего. Своими устами ты угрожал и лгал, но теперь просишь не оставлять тебя. Почему тогда он существовал для тебя, и не было в твоём сердце частицы сомнений, но в остальное время — Его нет?

В твоих ли глазах сверкает завораживающее отраженье вчерашнего дня?

Ответ:

Возможно

Ноги мои для шага вперед,
Но не для побега.
Мои руки для созидания,
Не разрушать!
Уши, чтобы слышать каждый шепот звука,
Но не игнорировать.
Глаза для того мне даны, чтобы смотреть и видеть,
И не закрывать!
А уста мои одни...
Я должен мудро выбирать слова.
Одна голова у меня — для собственных мыслей,
Отвечать за себя.
Жизнь моя одна...
Она не для смерти.



Поэт и художник. Родился в Красноярском крае. Окончил филологический факультет Ульяновского педагогического университета имени И.Н. Ульянова. С 2006 года живет в Финляндии. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Автор книги стихов «Русская тоска» (2003) и монографии «“Будут все как дети Божи...”: Традиции житийной литературы в романе Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”» (2011).

Алексей Ланцов *Aleksey Lantsov*

ИЗ-ЗА БАРРИКАД

I.

Прооперированный стих переходит вброд
пересыхающую реку вдохновения.
Робкое участие тишины раздражает.
У стиха болят швы.

Поэту снится открытая Троя.
Из нее выходят трое –
один из них Шлиман.

У нас тут сухие дожди,
сезон неприятных встреч:
речь непрестанно нарывается на молчанье,
а молчанье на речь.

Не юли в июле,
не пиши триолет.
Скелет Дон Кихота
седлает коня скелет.

Есть чудачества странного качества,
одинокость зодчего.
Россия видит меня чаще,
чем ей, пожалуй, этого хочется.

О, Россия, мой лоб горяч,
ты – о, виденья какие! –
подошла ко мне, словно врач,
смерить уровень ностальгии.

На ветру шелушится береза,
ствол – кривой позвоночник.
Живи, покуда живется,
покуда везет извозчик.

Прооперированный стих
переходит вброд тишину.
Проходит сквозь лето, зиму, весну.

У него все хорошо, швы не болят,
он пишет домой.

И река вдохновения вновь наполняется
свежей водой.



II.

Прооперированный стих переходит вброд
лунной ряской зятанутый водоем.
Рифмы, ритм, тропы — все при нем.
Он говорит: «Я не стих, я стихотворение».

Любовь встает на цыпочки,
замирает на одно мгновение.

Любовь — это отказ от защиты своей территории
по периметру сердца, разрушенная баррикада.

Плоскостопие мысли для поэзии не преграда.
Холодные слова согревая в гортани,
брожу в тумане.

Шум берез — допинг в наших краях,
и расчеты, как и встарь, в рублях.

Не имея глобуса,
с ума сходя от тоски,
изучаю арбузные полосы:
темные — это реки, светлые — материки.

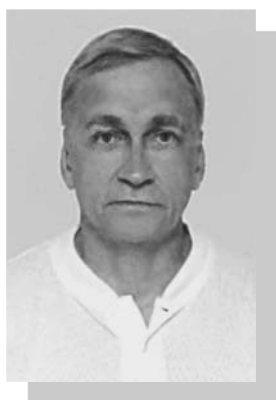
«Любовь — вдохновение плоти», — говорит поэт.
В Философском словаре такого определения нет.
Но еда приходит всегда во время аппетита.
Люби до конца либидо — и тема закрыта.

Стою на мосту, внимательно слушаю реку,
как генерала рекрут.
Река огибает город, уходит в лес.

«Занятие литературой — проигранная жизнь» —
читаю в ЖЖ Кутенкова.
Спешка нужна при ловле букв,
сноровка при ловле слова.

Разговевшись разговором,
прохожу мимо лунной воды.
В темноте что-то белеет:
не то парус, не то писсуар Дюшана,
такой нелепый вне привычной ему музейной среды.

2014



Сергей Криворотов

Sergey Krivorotov

ВОСЬМОЕ МАРТА ОЧЕНЬ БЛИЗКО

Странный отвратительный сон привиделся ночью Алие: черная большая крыса с длинным розоватым хвостом все время мельтешила перед глазами, что-то без устали грызла, мерзко скреблась о пол. Она проснулась, когда на светящемся циферблате будильника светилось «02.40».

Действительно, среди полной тишины слышался непонятный звук, напоминавший царапанье чьих-то коготков. Не зажигая свет, Алия осторожно встала, приблизилась к входной двери, откуда доносился осторожный и одновременно настойчивый скрежет. До нее не сразу дошло, что кто-то упорно пытается открыть снаружи замок. Такое случилось впервые. Когда она осознала происходящее, сердце учащенно забилось, подкатывая к самому горлу. Ей стоило большого труда не вскрикнуть, но она быстро взяла себя в руки. Вставленный изнутри и повернутый вполоборота ключ не дал возможности злоумышленнику (а кому же еще!) добиться своего. Через минуту-другую, незнакомец, видимо, убедился в тщетности попыток: послышались вороватые удаляющиеся шаги. Аляшка не выглянула наружу, — не полная же она дура, в конце концов! К тому же в коридоре не было света. Но заснуть до утра так и не смогла.

Алия работала в отделе снабжения труднопроизносимого газпромовского филиала, — не начальницей, но и не последней штатной единицей. Неплохо зарабатывала, к тому же, как научили добрые люди, имела шашки, ежемесячно «камаз»-другой щепенки определенной фракции для фундаментов частных гаражей без накладных, но так, что комар носа не подточит, и все довольны, включая водителей. Жила Алия в ведомственной гостинке на девятом этаже с коридорной системой, ожидая повышения по службе и полноценную однокомнатную квартиру, светившую по официальной очереди года через три-четыре. Так что светлые перспективы очень даже имелись.

Удавалось откладывать понемногу на сберкнижку. Но, вот с личной жизнью оказалось не так хорошо. Собственно, она вообще

По профессии врач-кардиолог. Рассказы и повести публиковались в российских и зарубежных изданиях: «Энергия», «Техника — молодежи», «Четвертое измерение», «Чудеса и приключения», «Слово», «Работница», «Знание — сила. Фантастика», «Полдень. XXI век», «Аврора», «Вокзал», «Ковчег», «Дон», «Луч», «Южная звезда», «Литературный Башкортостан», «Алтай», «Урал», «Идель», «Странник», «Огни Кузбасса», «Истоки», «Врата Сибири», «Иван-да-Марья», «Студия» (Германия, Берлин), «Меридиан» (Германия, Ганновер), «Зарубежные задворки» (Германия, Дюссельдорф), «Процесс» (Чехия, Прага), «Жемчужина» (Австралия, Брисбен), «Свой круг» (Канада, Монреаль), «Наша Канада» (Канада, Торонто), «Флорида» (США, Халландейл), «Наш Техас» (США, Хьюстон), «Русский калейдоскоп» (США, Чикаго), «Русский свет» (Финляндия, Тампере), «Иные берега Vieraat rannat» (Финляндия, Хельсинки) и многих других.

Книжные публикации: в коллективных сборниках «Фантастика-86», (1986, Москва), «Unzensiert» (2011, Германия), «Место встречи — «Флорида»!» (2012, Красноярск) «Место под звездами» (2013, Москва). Автор сборника повестей и рассказов «Корзинка с именами» (2014, Германия).

В 2006 году стал серебряным лауреатом Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка» (2006); второе место литературного конкурса на лучший короткий рассказ журнала «Нива» (2010, Казахстан). Живет в Астрахани.

последнее время у Алии отсутствовала. Прошлогоднее курортное знакомство по путевке от производства развития не получило и осталось в ее воспоминаниях не самыми неудачными днями.

Утром, после проведенной в тревоге ночи, совершенно невыспавшаяся, добралась она на служебном автобусе до работы, где поделилась с сослуживицами свежими переживаниями. Ей посочувствовали, поохали, поахали. Подошедшая начальница присоединилась к обсуждению и даже заметила в шутку, что стоило, мол, пустить незнакомого мужчину, явно знавшего, что хозяйка незамужняя и проживает одна. Но Алия продолжала находиться под впечатлением ночного ужаса, не успевшего рассеяться, и не приняла бесцеремонной шутки старшей по должности, — вовсе не до смеху ей было. Впрочем, та и не стала развивать тему, тем более что остальные отнеслись к происшествию вполне серьезно и заявили даже, что Алия недооценила степень угрозы. Все дружно советовали немедленно заявить в полицию, иначе будет поздно. Пусть примут, в конце концов, какие-то меры, за что налоги платим? Именно это непонятное «поздно» показалось самой потерпевшей наиболее устрашающим.

Ближайшее отделение находилось, кстати, недалеко от ее дома. Когда она начала сбивчиво излагать ситуацию дежурному, тот, не дослушав, попытался отмахнуться. Работы, мол, и без тебя завал. Ну никак не хотел он принимать заявление о попытке взлома квартиры с возможной угрозой для жизни владелицы... Алия начала отчаиваться: угроза пожаловаться в областное управление не оказала никакого воздействия на упертого полицейного. Но на ее счастье в дежурную часть заглянули два офицера и, то ли посочувствовав молодой женщине, то ли оценив ее неброскую, но симпатичную внешность, пригласили к себе в кабинет, даже кофе предложили. Совместно рожденный документ оформили, как положено, и завели новое дело.

Всего-то, вроде, формальность, но на время Алия успокоилась. Впрочем, при свете дня, да еще в присутствии проявивших человечность офицеров, вчерашнее происшествие воспринималось совершенно иначе. Они обменялись номерами телефонов, полицейские пообещали созвониться и подойти в удобное для хозяйки время.

— А сегодня не получится? — робко заикнулась заявительница напоследок, не ожидая ничего хорошего от близкой ночи.

— Нет, не выйдет, уезжаем на задание. Завтра постараемся позвонить. Да вы не беспокойтесь, — авторитетно заметил улыбчивый старший лейтенант, довольно симпатичный, на взгляд потерпевшей, татарин. — Один день роли никак не играет. Только вы обязательно оставьте ключ в скважине изнутри, чтоб его не вытолкнули с другой стороны.

— А вы думаете, может и сегодня повториться? — упавшим голосом пролепетала испуганная Алия.

— Ну, вряд ли, на всякий случай, знаете ли. Если что, не теряйтесь, звоните дежурному, наши быстро приедут.

— Хорошо... тогда, до свидания? Я могу идти?

— Конечно, конечно, всего хорошего, мы обязательно позвоним. Ничего с вами не случится! Не тревожьтесь так, до скорого!

Хотя и не полностью, но Алия снова успокоилась. Ничего другого ей просто не оставалось.

Однако вечером тревога выросла, к тому же, как назло, в коридоре на этаже вторую ночь не горели лампочки. Где-то, квартир за шесть, гуляла шумная компания, а совсем близко происходила семейная разборка.

Алия заперла дверь, слегка повернула ключ, чтобы его не выбили снаружи, как подсказали в полиции. Впрочем, она знала это и без них. Накинула цепочку, но безопасности не ощутила. Как может защитить несерьезное сплетение хлипких звеньев, которые для мужчины наверняка не составит труда разогнуть или порвать в два счета? Сколько раз она смотрела ужастики по видео, где маньяки с мощными тесаками в момент расправлялись с гораздо более прочными на вид преградами!

Поэтому в дополнение к сделанному Алия подперла дверь столом, полочкой для обуви, да еще наложила сверху книг и попавшихся под руку вещей потяжелее. Притащить из ванной стиральную машину, хотя и называвшуюся «Малютка», ей не хватило сил.

Но даже после этого она долго не могла заставить себя улечься спать. Попыталась смотреть телевизор, но вскоре выключила – на нескольких каналах шли фильмы с кровавыми разборками, взломами квартир, убийствами и погонями. Развлечь, тем более, успокоить ее в теперешнем состоянии они никак не сумели. Она не могла остаться в полной темноте, разбавленной лишь бледным отсветом далекого уличного фонаря внизу, который к тому же имел обыкновение гаснуть время от времени. Включила слабый ночник, наверняка предназначавшийся, по замыслу изготовителей, для создания интимной обстановки, но и он нисколько не успокоил, хотя с ним показалось все же лучше, чем без него. Алия прилегла сегодня, не раздеваясь, и не раскладывая дивана, готовая вскочить при первой тревоге.

Как ни старалась она держаться начеку, чутко прислушиваясь к каждому шороху и звуку сна-ружи, но дневная усталость взяла свое, и довольно поздновато, но ей удалось задремать.

И вот опять посреди ночи черная крыса подобралась к ней, намереваясь тяпнуть за ногу. Алия подскочила на неразобранной постели, быстро стряхивая остатки нехорошего сна: от входа, точнее, от замочной скважины, доносились те же пугающие осторожные звуки. Снова кто-то пытался открыть замок. На цыпочках, чтобы за дверью не услышали, она прокралась в свой кукольный совмещенный санузел, закрылась там и уж тогда трясущимися пальцами набрала на мобильнике номер полиции.

Наряд прибыл минут через двадцать, но в коридоре уже никого не застал. Только после повторных звонков и стуков в дверь, убедившись, что это действительно полицейские, Алия разобрала баррикаду и впустила стражей порядка, двух молодых сержантов, чей патруль оказался поблизости. После ее сбивчивого рассказа и упоминаний о вчерашнем визите в местное отделение быстро составили протокол, дали подписать и заверили, что завтра же с утра к ней придут из отдела. Успокоили, что второй раз ночью сюда никто теперь не вломится, но посоветовали закрыть, как прежде, и в случае чего снова звонить дежурному.

Утром Алия отпросилась у начальницы до обеда и принялась ждать полицию. На этот раз уже знакомый офицер тщательно обследовал замок, помазал какой-то серой пастой стены и дверь снаружи, снова подробно расспросил хозяйку и занес на бланк ее слова. После того как она подписала все, что от нее требовалось, полицейский пообещал, что сегодня же, согласно повторному заявлению, у нее в квартире будет установлен временный пост, и попросил быть дома после 19.00.

На первое дежурство старший лейтенант Рафаэль Равильевич прибыл в двадцать ноль-ноль в полной парадной форме. Что ж, подумала Алия, не рядовой, не сержант какой-нибудь и вроде даже симпатичный. К тому же он оказался уже знакомым: одним из тех двоих, по-человечески отнесшихся к ней в первый день.

– Мы внимательно рассмотрели ваше обращение и решили установить засаду. Понимаете? Так будет безопаснее для вас. Надо поймать этого негодяя на месте. Поэтому мне придется поде-журить здесь. Вы не возражаете?

– Да, конечно, спасибо. Я же сама просила... Проходите.

– Да вы не стесняйтесь, занимайтесь своими делами, я посижу в сторонке и не буду мешать. Мне еще кучу своих бумаг надо дооформить.

Легко сказать, но как такое возможно в двенадцатиметровой гостинке? Она включила для него телевизор, за компанию сама посмотрела совершенно неинтересную политическую передачу и, только минут через двадцать спохватившись, предложила охраннику попить чаю.

Рафаэль Равильевич не возражал. На кухне они впервые разговорились: как ни старался полицейский напускать на себя строго официальный вид, было заметно, что таким способом он просто пытается скрыть некоторое замешательство.

– А у вас... уже были такие случаи в практике?

– Не совсем, но похоже, конечно...

Ей вовсе не хотелось говорить сейчас о ночном происшествии, да и он не возвращался к подробностям, прекрасно известным ему из прошлого разговора и письменного заявления. Видя, что и хозяйка испытывает неловкость, офицер попытался ее развеселить.

Шутки его оказались «неахтевые», как частенько выражалась Аляшкина подруга Регина,

то есть, не ахти какие, на ее взгляд, и анекдоты его она уже слышала не по одному разу. Но этот человек шутил и рассказывал смешные, как считал сам, истории только ей одной, хотя и находился на задании и совсем не обязан был так поступать. Давно никто из мужчин не уделял ей столько внимания, не пытался ее развеселить просто так, и она растаяла.

Поэтому как бы само собой случилось, что стелить постель на полу для присланного охранщика не пришлось. Никто в эту ночь не пытался подобрать ключ к замку входной двери, а может, они того не услышали.

На второе дежурство следующим вечером Рафик пришел уже в штатском, но при кобуре с пистолетом. Алия заранее приготовила ужин и выставила на стол бутылку импортного сухого вина, которой им хватило аж на целых два часа. По внешнему виду полицейского, находящегося при исполнении своих обязанностей, она так и не поняла, сумела ли угодить, но спросить о том не решилась. Рафаэль все больше нравился ей: такому телохранителю она, не задумываясь, доверила бы хранить и квартиру, и свое тело, что, впрочем, уже и сделала.

Каждый вечер регулярно в девятнадцать часов старший лейтенант заявлялся на очередное дежурство. Ночной злоумышленник пока не давал о себе знать. На конец недели пришлось и двадцать третье февраля, день защитников Родины. Алия приготовила роскошное угощение, а на десерт нарезанный ананас, шампанское и бутылку дорогой водки. Но главное, припасла подарок для своего личного защитника. Лимонного цвета воздушная сорочка оказалась тому в самую пору и в шею, и в плечи; атласный галстук в коричневую полоску выглядел роскошным дополнением, требующим, чтобы его немедленно «обмыли». Ожидаемый целую неделю преступник так и не объявился, но эта ночь стала для хозяйки самой запомнившейся.

Ближе к концу второй недели Рафик сообщил, что его отзывают с дежурств, пост в квартире Алии снимается, и посоветовал побыстрее вставить другой замок. Своих услуг при этом, естественно, не предложил: не слесарь же он, в конце концов! Она приняла известие спокойно, хотя уже привыкла к постоянному присутствию собственного полицейского, ставшего ей вовсе не чужим человеком. Да что там не чужим! Она с ума сходила, ожидая приближения каждого вечера и прихода дежурного. Но Алия почему-то совершенно не сомневалась, что он по-прежнему продолжит навещать ее, пусть, уже не «по долгу службы». Между тем, она так и не узнала ничего конкретного про Рафаэля: женат ли, сколько ему точно лет, где живет. Ей было хорошо и спокойно с ним, поэтому она решила «не докапываться»: никаких слов про любовь и прочее между ними никогда не произносилось. Никто ничего другому не обещал и ни в чем не клялся, все шло так, как шло. Она знала, что и ему неплохо с ней, и этого ей вполне хватало. Все же снятие охраны застало ее врасплох: она втайне надеялась, что хотя бы еще с недельку будет находиться под надежной защитой личного телохранителя.

Всего через две, проведенные уже в одиночестве, ночи Алия решила снова сходить в отделение милиции: ей позарез хотелось увидеть своего временного защитника. Разумеется, она его не застала; попытка узнать адрес Рафаэля Равильевича тоже ничего не дала, хотя она уверила полицейских, что никаких претензий к старшему лейтенанту не имеет и даже расписалась в каких-то подsunутых бумагах. На прощание ей порекомендовали заменить полностью дверь и заключить договор на охранную сигнализацию. Она поблагодарила и, не откладывая в долгий ящик, решила в ближайшие дни воспользоваться первой частью совета.

Несколько дней Алия еще пыталась звонить в милицию, но Рафаэль Равильевич постоянно находился на задании. Его сотовый не отвечал: абонент находился вне зоны доступа. Алия начала понемногу сходить с ума, ей стало ясно, что старший лейтенант нарушил ее покой гораздо в большей степени, чем неизвестный ночной злоумышленник, от которого полицейский столь доблестно ее охранял. Лекарство оказалось хуже болезни.

Где-то через неделю Аляшка столкнулась у магазина нос к носу с пропавшим Рафаэлем Равильевичем. В форменном плаще и фуражке тот нес увесистый пакет с продуктами, на другой руке лейтенанта повисла оживленно щебечущая молодая женщина с вызывающе яркой помадой на губах. Он сделал вид, что не узнал бывшую подопечную, не поздоровался и отвернулся в сторону. Рядом с ними на мокром от мелкого дождя асфальте вприпрыжку вихлялся очень похожий на своего отца подвижный мальчик в нахлобученной по самые глаза вязаной шапочке.

Хмурое небо не обрушилось, и колени не подогнулись, но на душе у Алии стало так же пасмурно, как и вокруг. Она не очень-то и удивилась этой встрече, хотя, не удержавшись, пошла сле-

дом за веселой компанией, убедившись, что старший лейтенант со своим семейством проживал совсем недалеко, всего за три дома от ее девятиэтажки.

Она позвала к себе подружку Регинку: больше некому оказалось излить душу в обмен на безоговорочную поддержку. К тому же до восьмого марта оставалось всего два дня. Если никто, не считая рабочей обязаловки, не устраивал им ежедневных праздников и не дарил цветов и подарков, то уж к официальному для всей страны единственному женскому они справедливо посчитали, что могут сами поздравить друг друга и с полным правом расслабиться.

Долго сидели на кухоньке и болтали о жизни под негромкое звучание «Русского Радио» с часто повторяемым оптимистичным слоганом «Все будет хорошо». И уже к середине бутылки водки, которую, кстати, так и не закончили за целый вечер, подружки согласились на том, «что все мужики – козлы, а менты в особенности».

А назавтра она сделала сама себе подарок: купила входную дверь китайского производства, — в предпраздничные дни женщинам полагалась значительная скидка. В этот же день заказ привезли и установили. Зарубежная поделка хотя бы с виду внушала уважение, по крайней мере, никто по ночам больше не пытался подбирать ключи. Может, и стало спокойнее на душе, но какая-то горечь все-таки оставалась.

Вскоре Алия убедилась, что беременна: два повторных теста подтвердили ее запоздалую догадку. Разумеется, снова искать Рафаэля ей и в голову не пришло. Регинка все равно назвала подружку безмозглой дурой и помогла найти хорошего гинеколога. А потом они вдвоем отметили сразу и новую дверь, и начало новой жизни уже без помощи силовых структур.



Малькольм Лунке.
Портрет девушки.



Врач, кандидат медицинских наук. Работала в Ленинграде научным сотрудником в одном из ведущих медицинских НИИ, автор более сотни научных статей и книг. В 1991 году с семьей переехала в Хельсинки. В настоящее время является секретарем Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Рассказы и переводы публиковались в журналах «Иные берега Vieraat rannat», «Родная Ладога», альманахе «Царьцынские подмошки», малотиражной газете «Yhdessä». Автор книг «Человек, утративший надежду. Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим» (2008), «Записки дамы элегантного возраста» (2009), «Моих странствий ветер...» (2010), «Три цвета времени. Дороги, которые нас выбирают» (2013), «Судьбы моей калейдоскоп» (2014), «Ветер странствий» (2016).

Людмила Яковлева

Ludmila Jakovleva

* * *

Моя корреспондентка написала мне:
«По вашему письму я поняла,
К какому классу людей вы принадлежите»,
Имея в виду, конечно, нечто плохое.
Она не поняла мою шутку и хотела обидеть

меня.

Я не стала задумываться над ее словами,
А тем более обижаться на нее.
На самом деле, я не принадлежу ни к какому

классу.

Я, невесомая, обитаю где-то в четвертом,
А может быть, и в пятом измерении,
Никому не видимая и ни от кого не зависящая.
Но, чем больше наблюдаю я за песиком моего

сына,

Тем больше я хочу принадлежать к классу
Маленьких собачек, лохматых, не очень умных,
Веселых, бесшабашных, добрых и преданных,
Готовых продать свою маленькую
Душу за вкусную печенку
Или за чашечку капучино.

2015, 18 ноября



ТЯЖЕЛАЯ НА НОГУ СОСЕДКА

Ты целый день оглушительно топаешь у меня над головой,
Тяжелая на ногу соседка.
Я знаю про тебя все или почти все,
Тяжелая на ногу соседка.
Я знаю, когда ты встаешь и когда ложишься спать,
Тяжелая на ногу соседка.
Я слышу, когда ты с грохотом уронила на пол кастрюльку,
Тяжелая на ногу соседка.
Я знаю, когда ты ночью идешь в туалет,
Тяжелая на ногу соседка.
Ты несешься по лестнице, ни с кем не здороваясь
И не замечая ни детей, ни стариков,
Тяжелая на ногу соседка.
Ты занимаешься дома аэробикой,
Прыгаешь с грацией молодой слонихи
И с грохотом бросаешь на пол гантели,
Тяжелая на ногу соседка.
Но никакие занятия не делают тебя легче и грациознее,
Тяжелая на ногу соседка.
Обедаю ли я, пытаюсь ли отдохнуть после трудного дня,
Смотрю ли телевизор или слушаю музыку,
Всегда над головой не в такт звучат шаги
Тяжелой на ногу соседки.
Я знаю про тебя все, тяжелая на ногу соседка.
Ты же не знаешь про меня ничего
И даже не подозреваешь о моем существовании,
Тяжелая на ногу соседка.
Я не уверена, что ты догадываешься о том,
Что в нашем доме живет еще кто-то, кроме тебя,
Тяжелая на ногу соседка.

2015, 17 июня





Живет в Хельсинки с 1992 года. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии с 2000 года. Автор поэтического сборника «Я – везде, я – нигде», сборника стихов и рассказов «Лабиринт» (2014). Публикации: журнал «Иные берега Vieraat rannat» (Хельсинки), альманах «...На каменистых финских берегах» (Тампере), подписное издание «Личность и культура» (Санкт-Петербург), статьи об истории и значении православных икон, опубликованные в газетах «Katreri», «Kirkko ja kaupunki» на финском языке.



Наталья Мери

Natalia Meri

БУДАПЕШТ

В античном полукруге, на ступенях,
В купальне с заживляющей водой
Сидели люди. И блаженной лени
Предались и старик, и молодой.

Вода бурлила сказочным бальзамом,
Лечила, грела, в долгий сон звала,
И все, поддавшись сладкому туману,
Лечили души, чувства и тела.

Возник какой-то свет, по кругу
Задвигался, искрится в куполах...
Мужчина за руку подвел подругу –
И жарко стало в водяных парах.

В ее глазах была такая нежность,
Что затопила весь огромный дом,
Оплавленную жарким днем окрестность,
И разлилась в Дунае голубом.

В ее глазах была седая вечность,
В ее глазах был межпланетный свет,
Ее любовь – отнюдь не быстротечность,
Ее любовь – цветок, не пустоцвет.

Мужчина был и сдержанным, и рьяным,
Имел, как видно, над рассудком власть,
Но пробивалась яростным вулканом
Наружу обжигающая страсть.

Слились их взгляды. И потоком – в Буду,
И по мосту Цепному – через Пешт...
Он лился в никуда из ниоткуда,
Все затопляя – горы, Будапешт

В потоке этом прошлое дремало:
Был виден Рим и кельтские слои,
И турки, и вторая мировая,
Здесь Ленин, Сталин и опять – свои...

А в городе таинственном соборы
Все к небу дивным пламенем рвались,
Дворец в приливе светского задора
Посматривал с холма на город, вниз.

Плыла любовь над городом весенним
И лодку нес Дунай в волнах своих
А нежность, обретая размер вселенной,
Перетекала в Вечность для двоих.

Критика и публицистика



Нина Гейдэ

Nina Gade

НАДЗЕМНЫЙ ЛАБИРИНТ

(О книге Натальи Мери «Лабиринт»)

В монстровом чреве, по плацу Бродвея
Девочка смуглая шла
И неуверенно, словно робея
Тачку с цветами везла.
Как же ты, девочка, яркая птица —
в каменный этот капкан?
В дальние дали уж не возвратиться,
в рай, где шумит океан...

Когда Наталья Мэри читает эти строки из своего стихотворения «Нью-Йорк», меня не покидает чувство, что она читает о себе. Казалось бы, какая связь? О других странах речь, других эпохах. Но чем глубже знакомимся с творчеством этой русской писательницы из Финляндии, тем яснее понимаешь: это именно ее вырвала жизнь из счастливого детства на Родине и забросила — вот прямо так — с букетиком полевых цветов в «каместеклянный мир» взрослой жизни в чужих городах и странах. Дочь военного, Наталья с детства не единожды меняла страны обитания. Конечно, в этом тоже была своя неповторимая романтика, свой уникальный жизненный опыт, возможность знакомиться с разными культурами, пересекать знаковые исторические перекрестки планеты и все же — возможно, уже тогда, в детстве, с первым непростым опытом эмиграции (для ребенка нет понятия «временный»: все, что происходит здесь и сейчас — и есть единственно возможная жизнь) пришла к Наталье потребность выражать себя в слове, переплавлять в поэтические образы многоликую череду внешних впечатлений и таким образом познавать себя в мире — столь неисчерпаемом, но, увы, далеко не всегда созвучном душевному настроению. «Яркий зрачок первобытного взгляда» ребенка-поэта — девушки «из рая, где шумит океан» — не радуется окружающему пейзажу «в ловушках больших городов», где «быстродвижения ритм постоянный пьет естество, как упырь!»

Она и потом, годы спустя, будет предпочитать «капканам больших городов», их «монстровому чреву» пейзажи тихой природы, дышащей простотой и естественностью. И будет изящной «словесной кистью» зарисовывать их с натуры:

Родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, работала журналистом и искусствоведом. В 1994 году переехала в Данию. Занималась радиожурналистикой, сотрудничала с русскоязычными радиостанциями BBC, «Свобода», «Свободная Европа». Возглавляла Русское общество в Дании. Была главным редактором русскоязычного литературно-публицистического журнала «Берег» (теперь «Новый Берег»). Параллельно с журналистикой и культурологией всегда занималась литературным творчеством. Стихи и проза публиковались в разных российских и зарубежных журналах: «Звезда» (Россия), «Иные берега Vieraat kannat» и «LiteraruS» (Финляндия), «Роза ветров» (Израиль), «Берег» и «Новый берег» (Дания), «Рукопись» (Ростов-на-Дону), в итоговых сборниках фестивалей «Славянские традиции» и «Эмигрантская лира», а также в сборнике «Нам не дано предугадать...» (Нью-Йорк 2014). Лауреат литературных фестивалей и конкурсов: «Русский стиль — 2009» (проза), «Под небом Балтики — 2013» (поэзия), «Русский стиль — 2014» (поэзия). Автор сборника стихов и переводов датской лирики «Тень незабудки» (2013), видео-книги «В чужом раю» (2015).

*Я плыву, я плыву сквозь туманы,
серой мягкостью стелется дым,
Наполняя пахучим дурманом
тихий вечер. Он — неповторим!*
*В нежном шелесте частой осоки
колыбелькою — птичье гнездо.
Писк пушистый на жалобной ноте
повторяет печальное «до»...*
*Защемило о прошлом... Так быстро
пронеслось — не успела догнать...
Уж стемнело... За озером чистым —
чаща леса, луны — не видать...*

Это раннее стихотворение Натальи Мэри из новой книги стихов и рассказов «Лабиринт» — на мой взгляд, одно из лучших из серии «поэтических акварелей» поэтессы, где она так тонко улавливает миг слияния своего душевного настроения с состоянием природы. Радостно отметить, что такая пейзажно-философская лирика навсегда останется в творчестве Натальи Мэри, несмотря на то, что пейзажи окружающего мира и взрослеющей — через радость и боль бытия — души будут постоянно меняться. А интересный поэтический прием гармонично развиваться и совершенствоваться:

*Отгорает вечернее солнце,
кружевами теней вышивая
занавески на светлых оконцах
соловьино-древесного рая.
Сердце бьется, как иволга в клетке
о бескрайних просторах мечтая:
«Эх, взлететь бы с березовой ветки,
воле ветра себя отдавая!»*
(«Отгорает вечернее солнце...»)

Прислушаемся и отметим неизменный мотив в поэзии Натальи Мэри — взлететь бы, оторваться от ежедневной суеты, где через силу проживается «размеренность дней», наполнить «по зову беспредельности» свою жизнь высоким смыслом. Ведь уже сполна заплачен «оброк за счастливого детства беспечность» и, хотя «отдалилось на тысячу весен, на тяжелый клубок километров беззаботное юное лето», душа поэта не теряет надежду и в измерении взрослой жизни хотя бы на прекрасный звездный миг покинуть «дни без размера, без веса и цвета» — и отправиться в путешествие по просторам романтики.

*А по ночам луна слезинки льет,
высвечивая множество залысин
на мраморе. И хочется в полет,
и — затеряться в темной, звездной выси...*
(«Пантеон»)

Стоит ли и удивляться, что «Лабиринт» — это прежде всего книга о путешествиях, своеобразный дневник странствий и по поэтическим просторам, и по реальным городам и странам. Тем более судьба с детства подарила Наталье Мэри и ее лирической героине эту уникальную возможность. Перед взором читателя пройдут образы и облики Новой

Гвинеи, Уругвая, Аргентины, Филадельфии, Португалии, Тбилиси, Бельгии, Болгарии, Нью-Йорка, Касабланки, Майямы, Лондона, Парижа, Зальцбурга, Барселоны, Лиссабона, Рима, Родоса, Сочи...

И что очень примечательно — путешествия эти протекают не только в измерении сегодняшнего дня. Наталья Мэри тесно «на пятке» современной исторической реальности. Она ведет читателя лабиринтами разных эпох, архитектурных шедевров («не умаляет старение красок силу волшебную их»), оживляет в стихах и прозе известных исторических персонажей, если их мысли и чувства ей созвучны. Так, например, пишет она о двух королевах — Елизавете Первой и Марии Стюарт:

*Одна возшла на трон в сиянии власти и славы.
А другая была казнена, как заговорщица.
Одна любила и была любима, другая — отвергла любовь, предпочтя ей власть.
Мне ближе та, что была казнена.
Она прожила короткую жизнь, но слушала
только голос своего сердца...»*
(«Стены, хранящие тайну»)

Лирической героине ближе опальная королева — ведь она умела слушать голос своего сердца. В этом, наверное, главный ключик к творчеству и личности самой Натальи Мэри — она тоже не разучилась слушать голос сердца, она умеет жить любовью, она на любовь — в самом высоком смысле слова — обречена:

*Как зерно прорастает зеленым ростком
на весеннем распаханном поле —
так любовь просыпается в сердце моем
против воли моей, против воли...*
(«Как зерно прорастает...»)

Почему против воли? Потому что не всегда любовь приносит безмятежное счастье. Дать согласие на любовь — значит согласиться и на страдания, на потери, на боль, на возможные жертвы. Но сердце не может по-другому. Потому что любовь для Натальи Мэри и ее лирической героини — не экзотическое «комнатное растение», не часть быта. Любовь — это стихия. Любовь является себя через самые разные явления природы, объемлет собой весь мир. И главное, любовь — и есть то главное «топливо» для полетов, без которого ни стихи, ни сама жизнь невозможны:

*Любимый мой. Мы станем солью
лениво дышащих морей,
мы станем криком, станем болью
на юг летящих журавлей...*
*Летящих над осенней Русью,
где золотые купола,
наполненной пьянящей грустью,
что по-особому тела.*
*Мы станем пламенным закатом,
ласкающим отвесы скал,
под грохот позднего раската
откроешь то, что не сказал...*

*И день вчерашний станет былью,
и слов вчерашних не найти...
Мы унесем млечной пылью
по крупнозвездному пути...
(«Любимому»)*

И еще об одной лирической теме в творчестве Натальи Мери невозможно не упомянуть — духовной связи с двумя близкими ее сердцу странами, Россией и Финляндией. Несмотря на то, что книга написана мастером, умеющим легко парить на «философских крыльях» над странами и эпохами, и даже порой над скоротечным мигом своей собственной судьбы — все-таки в этой книге явственно слышны ностальгические нотки, неизбежно сопутствующие творчеству в эмиграции.

Порой траектория поэтического полета Натальи Мери сокращается до важнейшего маршрута души: Россия — Финляндия. Во скольких бы иных странах ни побывала писательница — именно эти два места на планете ей особенно дороги. Россия — исток бытия, никогда не растающая в памяти тропинка в счастливое детство, вторая половинка души, «зеленая травинка», в которой «прорастает вся нежность к дальней Отчизне...»

*Я с собою возьму только цвет
лепестков белых яблонь России,
только лунный мерцающий свет,
запах хлеба, что в детстве вкусила,
жемчуг сказок, что из века в век —
в ожерелье народных преданий.
Я тебя не забуду навек...
Ночь... Последнее из расставаний...
(«Последнее расставанье»)*

Финляндия — страна, подарившая любовь и семью, новую судьбу, новый дом:

*Финляндия весной.
Голубоглазость подснежников,
их терпкий аромат...
Тяжелой глыбой каменной казалась
Финляндия мне много лет назад.
Растаял снег... И льются переливы,
и пляшут блики в утренней строке...
Финляндия и ты... Такой счастливый,
с букетом одуванчиков в руке.
(«Финляндия весной»)*

Диалектика любви к двум странам, диалектика радостей и печалей бытия. «Рысцою, налегке проходят годы мимо, и уж не разберешь, что в шутку, что всерьез...» Все в мире взаимосвязано, одно не существует без другого. В относительности всех явлений — живой росток без условности любви. Жизнь скоротечна — время бесконечно: «центы дней текут в копилку Вечности, гремя...»

У Натальи Мери есть удивительный талант сказать просто об очень глубинном, сутьевом в жизни — о том, на что профессиональные фи-

лософы тратят сотни страниц мудреных изречений. А не проще и не понятней ли — так:

*Зеркальность моря отражала
полулиловый летний тон,
и стадо облачков бежало,
гонимо ветром-пастухом.*

*Под ними, черны и огромны,
висели сгустки черноты...
Казалось, Зло мирское грозно
на нас смотрело с высоты.*

*А рядом с ним, белее снега,
струилось облако Добра,
оно казалось горным снегом,
под ним синела ночь-гора.*

*Белее чистого листа,
А черное — чернее тени.
Полутонов переплетенье,
полумиров полуигра...*

*так мирно сосуществовали,
совсем не ведая о том,
что этим грани нарушали
меж светом — тьмой, Добром и Злом.
(«Небо»)*

Поэзия Натальи Мери при всей отточенной ясности — многоуровневая. За очевидной простотой открываются новые и новые пласты смыслов и образов. Это поэзия-лабиринт, приглашающая читателей самим поискать в ней скрытые пути толкований. Это приглашение к сотворчеству. А вот и Ариаднина нить на этом пути:

*Через страны, пространство и время,
из ловушек больших городов
в небо, к звездам — посеять семя
невзошедших еще стихов.
Мы певцов и поэтов племя,
и бумага под словом горит...
И настало, настало время
сквозь надземный пройти Лабиринт.
(«Лабиринт»)*

Главная суть в том, что поэтический лабиринт Натальи Мери — отнюдь не подземный. Он воздушный. Надземный. Небесный. Туда и устремляйтесь. Там и ищите с ней встречи.

*В безмятежно текущее небо
я готова часами смотреть.
Не хочу ни просить, ни требовать,
просто жить, просто быть, просто петь...*

Копенгаген-Москва



Наталия Редозубова Natalia Redozubova

НА РОДИНУ ЛЕТЯЩАЯ ЛЮБОВЬ...

В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве, а затем в Сопоте на международных литературно-образовательных чтениях прошли творческие вечера писателя, журналиста, переводчика с датского Нины Гейдэ — москвички, живущей в настоящее время в Копенгагене. Многожанровая литературная программа знакомила слушателей с творческой мастерской писателя, много лет живущего в эмиграции. Зрителей также ждала встреча с новой работой Нины Гейдэ — видео-диском или, точнее сказать, видео-книгой «В чужом раю», где собраны стихотворения, посвященные опыту эмиграции и жизни в чужой языковой и ментальной среде. Особенность диска в том, что стихотворения Н. Гейдэ читает профессиональный чтец, лауреат Всероссийского конкурса художественного слова, руководитель клуба тульских православных писателей «Родник» Владимир Алешин. Между Копенгагеном и Тулой протянулся мостик русского поэтического слова.

Родилась и живет в Туле. Окончила филологический факультет Тульского педагогического института и факультет психологии Академии психологии, предпринимательства и менеджмента в Санкт-Петербурге. Работала библиотекарем, учителем русского языка и литературы. Занимается журналистикой, пишет стихи, сценарии, рецензии. Публиковалась в региональных изданиях: журналах «Приокские зори», «Контрабанда», газете «Нет проблем», хрестоматии «Три века тульской поэзии» и др. Член творческой группы развития искусства и кинематографии «Преображение», литературный редактор документальных фильмов «Тяжелые времена тяжелого рока» и «Западный Пелопоннес: из пещер к небесам».

ПОСТИЖЕНИЕ СУТИ

Ведь нынче не так, как когда-то
в тумане военного ада,
родную страну покидаем.
Тогда почему погибает
в чужом безвоздушном пространстве?..
Нина Гейдэ. Эмигранство.

Восторг чужеземным вполне в духе нашей творческой и иной элиты всех времен, но постижение его сути, как и любой сути — прозрение — это удел избранных: Цветаева с ее «давно разоблаченной морокой», неизбежно возникающей вновь; Ахматова, запечатлевшая помрачение духа европейским высокомерием; младший Тарковский, гениально и зри-

мо явивший лик ностальгии... Представленная на диске видео-композиция продолжает тему, традиционную для русской эмиграции, ее философии, культуры.

Поэт и чтец — выпускница Московского Университета, ныне волею судеб жительница Копенгагена, Нина Гейдэ и, в прошлом — летчик, основатель тульского клуба православных писателей «Родник» Владимир Алешин — пронзительно искренне рассказывают об эмиграции с двух берегов — из Дании и из России.

Только так и стоит беседовать с собой, только так и стоит рассказывать другим, если хочешь рассказать о настоящем, о стоящем, о драгоценном, которое за семью печатями,

за дальними далями, которое так далеко, но всегда с тобой, которое не дается просто так, ради забавы, как простое увлечение. Это всегда из ряда «проклятых вопросов». Это требует всего себя и всерьез.

Движение же тропой эмигранта к себе самому, устремление мысли, чувства к исконным «ключикам», родникам, сокровищам — это путь. Путь очарований и зыбких миражей в пустыне, путь фееричных карнавалов и неожиданного срывания масок, путь жажды и горечи, заставляющий извлекать нужную ноту.

Бредем, как верблюды, продеты
в ушко назиданий игольных,
мы — стадо чужих, неугодных,
из милости взятых к кормушке,
теперь нам поведать кому же
что золото, коим прельстились,
давно в черепки превратилось?

(«Эмигранство»)

Пролезешь в игольное ушко — может, и будешь в раю. На видеодиске «В чужом раю» евангельская притчевость, метафоричность задана поэтом изначально темой рая и усилена Владимиром Алешиным — автором композиции, который безошибочным исполнительским слухом вынес эту контрастную метафору в основу художественного повествования.

Постигается это пространство многоуровневой антитезой рая истинного и кажущегося, искусственного, чужого и родного; памятью о целостном бытии, о счастье как о Божественной общности, а не «вылепленном из теста». Речь идет об объективно значимых категориях — тех, которыми и характеризуется бытие: доме, друзьях, сыне, языке, природе, чувстве. Через тоску о родном приоткрывается дверь и в мир чужой, «который нам ни по запахам, ни по замыслам не знаком».

И на языковом уровне здесь привлечены указательные местоимения — вместо имени, говорящие об отсутствии своего, родного, определенного, раз и навсегда заданного и названного. В таких эмигрантских краях — преимущественно замещение, неимение, невладение:

Не те дома, соседский дух не тот.
И праздники не те, застолья, песни.
Не те друзья, не тот уже полет
в расчерченном на клетки поднебесье.

(«В чужом раю»)

Так оказываются потрясены основы бытия. Теперь и задача переселенцев из родного в чужое — «весь мир перетряхнуть, переназвать». Именно этого требует «мисс железная Эмиграция». Автор выдыхает в максималистском порыве то, что не в силах утаить:

И кажется, что нет меня
на свете, где сердца, как зимы,
где жизнь расходится по шву —
как тот кафтан нелепый Тришкин;
где все, чем с юности живу —
уже обманывало трижды.

(«Датская метель»)

СВЯТО МЕСТО

Есть такая вещь, как менталитет, укорененный в сознательном и бессознательном образ мысли, есть национальный характер, и мы рискуем прослыть профанами, если пустимся в рассуждения, чей же лучше — русский или датский, и кто первый придумал кататься на санках. Скандинавские писатели и поэты рассказали немало удивительных историй о настоящем в том краю, где им суждено было родиться и сглотиться; сочинили свою сказку о были. И лучше прочитать ее в подлиннике, поскольку родной язык запечатлеет то, что не сможет потом передать самый умелый переводчик.

Речь о другом — о нарастающей экзистенциальной пустоте, которая и заставляет писать обратное — быть о сказке. И здесь острее взгляд чужестранца, тоскующего по родине. Он видит чужое и странное для самого существования человеческого, когда природа «светлых лишается сил», а главная задача эмиграции

лукавое являя естество,
заманивать в ловушку в роли дичи —
с охотничьим бесстрастным
мастерством.

И души разорять, как гнезда птичьи.
(«Ловушка»)

Страшная штука, ловко пойманная в русской пословице «свято место пусто не бывает». Это евангельский перифраз. Помните, на опустевшее святое место «придут злейшие семь бесов». И приходят все более охотно. Оттого, впечатление такое, как будто выключили свет, как будто льет дождь-одиночка и ему не будет конца. И только голос лирической героини — новой Герды — Гейдэ, да сказочника, не оставляющего никогда свою героиню — Ан-

дерсена — Алешина вселяет надежду. Их перекличка, диалог, унисон, созвучие — и вот, мы уже верим в благополучный исход — в то, что снова «по-русски назовется на родину летящая любовь».

Слушая композицию, невольно делаешь открытие. Неслучайно в этом раю, который и не рай вовсе, так много тоски по детству. Потерянный мир детства — это у всех — у эмигрантов и у тех, кто никогда не покидал своей страны. Это лишение гражданства или, часто, добровольный отказ от него; это всегда эмиграция во взрослый мир. Условие возвращения в ту страну прописано в той же книге о родном рае: «Будьте как дети».

В детстве чудеса происходят просто так — из обыденного. Это взрослость делает умный вид и ничего не может. Здесь «гадают чужбины суровые маги» и лгут, конечно. Детские книги, в которых «застыл мамин голос», «запеклось медовым пряником безмятежное детство», когда-то задали точные координаты во времени и в пространстве, они знали, где находится чудесная страна, и знали ее законы:

*Они когда-то учили меня любить,
не бояться чудовищ и верить в чудо.
Они назвали первыми словами мир,
наполнили его красками и чувствами —
и он навсегда остался таким.*

(«Детские книги»)

Детство всегда «там, где на елке зимней зажгут звезду» — рождественскую, Вифлеемскую, даже не подозревая о том, что она такая. Там же и бессмертие, и рай, и любовь. Поэт с детским упорством произносит слово «любовь» на родном языке, именно так, как хочет сердце; говорит и говорит о любви.

МНОГОГОЛОСЬЕ ЧУВСТВ

В композиции особая роль отведена языку. Есть, конечно, и непосредственно, любовно, бережно подобранный В. Алешиным видеоряд, создающий трамплин — простор для собственных ассоциаций. И все же роль первой скрипки принадлежит голосу, тоскующему с поэтом, восторгающемуся, сострадающему, расставляющему свои, идущие от сердца, акценты. Голосу вообще как точнейшей психофизиологической характеристике личности почти невозможно

скрыть фальшь, инородство. Идея озвучивания языка-слова-поэзии речью, музыкой особенно насущна в данном контексте. Мастерство художественного слова помогает именно услышать, распознать на слух, идентифицировать с забытым, но заложенным в генетический и культурный код звучанием, смыслом.

Исполнение стихотворений русскоязычной датской эмигрантки русским православным провинциальным интеллигентом утверждает и единение посредством родного языка, и универсальность поэзии и истинных чувств. Созданная таким образом видео-композиция не оставляет ни единого шанса обусловленности художественных образов и поэтического стиля Нины Гейдэ женской сентиментальностью или капризами датской природы.

*И есть еще волшебный язык, в меня
вошедший*

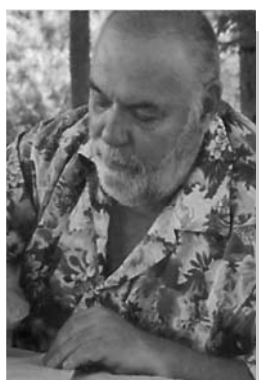
*Господним повеленьем — так, как вошла
душа.*

(«Русскому языку»)

И это после того, как датский почти приручен, а с ним и английский, и немецкий, и французский... Вот он, ответ и ключик к образам, стилю, рифмам стиха; к редкостной, озаренной внутренним светом интонации исполнителя.

Слушателя ждет эстетическое наслаждение особой звукописью стиха Нины Гейдэ и вдохновенным чтением Владимира Алешина. И поэт, и чтец знают толк в слове-звуче и заставляют нас резонировать абсолютно в такт.

Вообще, цель такого жанра, как видеодиск — это усиление, что-то сродни эху в горах — услышал, придал звучание, передал другому; умножил, придал силу. Теперь это уже не одинокий голос, затерявшийся в чужих краях. Обретено практически главное для поэта — прочтение. Вне напечатанного слова — звучание. На Родине.



Родился в Беломорске. Учился в Литературном институте им. А.М. Горького и Петрозаводском государственном университете. Защитил кандидатскую («Объективность красоты в органической природе», 1970) и докторскую («Эстетика космоса», 1988) диссертации. Работал в Карельской государственной педагогической академии (1970–2013), с 2014 года профессор кафедры философии Петрозаводского государственного университета. Член Союза писателей РФ, заслуженный деятель науки РФ. Автор 64-х книг стихов, 623-х венков сонетов. Вышло в свет 167 выпусков «Альманаха Юрия Линника». Как прозаик работает в жанре философская фантастика, развивая идеи русского космизма. Большая серия богословских работ Ю.В. Линника посвящена догмату Святой Троицы в его проекции на жизнь социума. Им разработана концепция дополнительности различных религиозных систем. Ряд исследований Ю.В. Линника посвящен философскому осмыслению наследия Рерихов, в частности, космизму Живой Этики, идее Всевещения, мифологеме Матери Мира. Исследователь духовно-культурного наследия Русского Севера, автор четырех монографий на эту тему. Автор нескольких книг по естествознанию («Русская биология», «Эйнштейниана», «Русская фитосоциология», «Русская геоботаника», «Русское лесоведение», «Однодольные»), книги для детей «Космос детства».

Юрий Линник

Juri Linnik

КАВКАЗ НАДО МНОЮ

(Философские этюды)

1. К ЭТИМОЛОГИИ

Кавказ! Это гулкое слово — как пушечный залп и его эхо. Фонетический раскат захватывает, увлекает. Для Александра Пушкина оно — своего рода камертон: по нему он настраивал акустику своего стиха.

*Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.*

Впервые с изумительным оронимом — **Καύκασος** — мы встречаемся у Эсхила (VI–V века до н.э.). Где конкретно? И почему? Вестимо, в трагедии «Прометей прикованный»: титан претерпевал наказание на Кавказе. Осип Мандельштам писал:

*Где связанный и пригвожденный
стон?
Где Прометей — скалы подспорье
и пособие?*

А все там же. История буквально пригвоздила к горному хребту великие муки. Анестезия работает плохо. Постоянно прорывается жуткая боль. Рецидив титанических страданий мы совсем недавно наблюдали в Чечне.

Откуда слово пришло в Элладу? Лингвисты указывают на древнеиндийское **kācatē** — «блестит, светит». Слово запечатлело сверкание ледяных вершин? Имеются и другие этимологии. В русском языке это новое заимствование или из французского *Caucase*, или из немецкого *Kaukasus*. Однако в «Повести временных лет» (XII век) *Кавкасийскыѣ горы* восходят к среднегреческому **Καυκάσια ὄρη**. А через них к эсхиловскому **Καύκασος**.

*Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...*

Кавказ — внизу. Эта позиция имеет не только пейзажный, но и геополитиче-



Илья Ефимович Репин.

Прием волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. 1885–1886.

(Православный – в центре. Мусульманин – с края.

Ныне можно прочесть о возможной рокировке этих позиций.)

ский смысл: поэт мечтал о том, что Россия возьмет верх в кавказской войне – покорит горцев себе под руку. Финал «Кавказского пленника» звучит жестко и непреложно:

*К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы.*

Кровавый правед: без этого нельзя? Соотнесем процитированное со «Стансами»:

*В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.*

Повторяется рифма. И состояние – тоже: страх. Но источник его разный: своеправные племена – и своеправный царь. Казни позади – и казни впереди. Так смотрится – и в ретроспективе, и в перспективе – наш русский путь. Хочу изменить привычную для нас точку зрения. Посмотрю на Кавказ не сверху вниз, а снизу вверх: попытаюсь оценить его не только физические, но и нравственные высоты. Отсюда – как принцип и метод: Кавказ – надо мною.

2. ТАЗИТ И КЪОНАХАЛЛА.

Кавказ порождает антиномии. Александр Пушкин чувствовал их – он далек от однозначности. Сказанное в «Кавказском пленнике» – как тезис. Антитезис – «Тазит». Таинственная, бездонная в своих смыслах поэма! Адыгский юноша воспитывается чеченцем. Вот он воссоединяется с отцом.

*Прошло тому тринадцать лет,
Как ты, в аул чужой пришед,*

*Вручил мне слабого младенца.
Чтоб воспитаньем из него
Я сделал храброго чеченца.*

Как не радоваться встрече? Но между отцом и сыном вырастает пропасть непонимания.

*Отец
Кого ты встретил?
Сын
На кургане
От нас бежавшего раба.
Отец
О милосердная судьба!
Где ж он? Ужели на аркане
Ты беглеца не притащил? —
Тазит опять главу склонил.*

Тазит не от мира сего? Мстительность, кровожадность: этого он лишен начисто. Натура созерцательная и мечтательная, Тазит бескорыстен — добросердечен — даже где-то сентиментален. Ну никак не вписывается в парадигму родового поведения! Печать абсолютного благородства лежит на всем его облике. Это результат воспитания? Самоочевидно, что основа здесь — добротные начала гуманизма. Причем в их максималистской форме. И к тому же в своеобразном романтическом преломлении! Откуда это в горах? Сегодня комментаторы скажут: пестун Тазита действовал в духе Къонахаллы — чеченского кодекса этики. Утверждаю со всей ответственностью — без всяких преувеличений: Къонахалла — пик нравственного самосознания. Не в границах этноса, нет — говорю убежденно: в масштабах всего вида *Homo sapiens*. Предельная вершина чести в Ойкумене! Экстремум совести! Не достичь. Альтиметры зашкаливают. Где еще человек так строго спрашивает с себя? В осмыслении наших нравственных устоев Къонахалла пошла дальше Декалога. «Критика практического разума» Иммануила Канта звучит ей в унисон: и там, и здесь главенствует категорический императив — у философа он декларируется, у горцев пропитывает их экзистенцию.

Вот некоторые положения Къонахаллы:

- *Будь снисходителен к другим — и требователен к себе.*
- *Не только благодарствуй за добро, но и возмещай его многократно.*
- *Проявляй по отношению к врагу такое же благородство, как и по отношению ко всем другим людям.*
- *Умей выслушивать противоположную сторону и безоглядно переходить на нее, если осознал свою неправоту.*
- *Избегай поединка с тем, кто слабее тебя; когда боя избежать нельзя, то дай противнику возможность выбрать оружие и будь милосердным к нему.*

В чем новизна этих установок? В их принципиальном альтроцентризме! Твое «я» не претендует на исключительность — «другие» принимаются им на условиях паритета. Сегодня этого так не хватает человечеству! Оно должно прочесть Къонахаллу.

3. ПАМЯТИ БЕЙБУЛАТА ТАЙМИЕВА.

Этот упрек нынче стал банальностью: мол, вчера ты был с Дудаевым — сегодня идешь за Путиным. Переметчивость? Беспринципность? Все в энное число раз и сложнее, и трагичней.

Одна из максим Къонахаллы гласит: «Любовь к отечеству превыше всего — другие интересы ничто перед нею». Эта альтернатива часто вставала перед народами: победить противника — покориться ему. Но вот совсем другая дилемма — другой развил: полное искоренение, испепеление — или все-таки выживание ценой горестных уступок.

Какой еще народ оказывался перед лицом реального геноцида? *Евреи*: Третий Рейх замахнулся на них в целом — но зло свое мог творить лишь локально. *Армяне*: безумная резня 1915 года — все же единичный прецедент. *Чеченцы*: вообще-то их могло уже и не быть на планете Земля.

Император Николай I предоставил генералу Ивану Паскевичу такой выбор: «Усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных». Новый главнокомандующий сменил Алексея Ермолова, заподозренного — вероятно, не без оснований — в симпатиях к декабристам. Что думал по поводу Кавказа повешенный за год до этого Павел Пестель? В «Русской Правде» он предлагал: «Разделить все сии Кавказские народы на два разряда: мирные и буйные. Первых оставить в их жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям». Рассредоточение — растворение — распыление народа: по сути это мягкая — растянутая на несколько поколений — форма его геноцида. Что монархисты — что республиканцы: в склонности запросто играть судьбами горцев они конвергируют. Как вести себя в ситуации, когда твой народ оказывается на краю гибели?

Замечательную параллель к нынешним коллизиям дает легендарный Бейбулат Таймиев (1779–1832). Откроем пушкинский очерк «Путешествие в Арзрум». О нашем герое там сказано так: «Гроза Кавказа». Симпатия поэта к нему несомненна: «Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду». У Михаила Лермонтова читаем:

*И часто, отгоняя сон,
В глухую полночь смотрит он,
Как иногда черкес чрез Терек
Плывет на верном тулуке,
Бушуют волны на реке,
В тумане виден дальний берег...*

Тулук — это кожаный мешок: важнейший элемент кавказского быта.

Так вот: осенью 1802 года Бейбулат со товарищами переплыл Терек на надутых козлиных тулуках — и на левом его берегу учинил грозный самосуд. Это была месть за убийство друга. Погибло одиннадцать казачьих дозорных. Оружие захватили. Кордон сожгли. За Бейбулатом утвердилось слава первого абрека. Можно ли поверить, что вскоре Таймиев станет капитаном русской армии? Ему определяют годовое жалование в 250 рублей серебром. Подкупили парня? Да нет, он был из богатого рода. Бейбулат почувствовал: нарастающий имперский пригнет раздавит Чечню. Он встал на путь мудрого и достойного компромисса:

- Чечня формально признает российский протекторат.
- При этом добывается для себя права на внутреннее самоуправление.

Знакомые лозунги?

Натиск Алексея Ермолова стер мирные наметки Бейбулата. Да тут еще и газават подоспел: всю его опасность для Кавказа первым осознал Таймиев. Стучался в Россию как добрый сосед — не достучался. В 1832 году был убит аксаевским князем Салат-Гиреем. Отдадим должное благожелателю Александра Пушкина.

4. АМБИВАЛЕНТНОСТЬ АЛЕКСЕЯ ЕРМОЛОВА.

У Гаврилы Державина есть стихи «На возвращение графа Зубова из Персии», написанные в 1797 году — там находим такие строки:

*По быстром Персов покореньи
В тебе я Александра чтил!*

Имеется в виду Александр Македонский. К этой мощной фигуре примеривался и Алек-

сей Ермолов (1777–1861). Вот его золотая геополитическая мечта: покорить Персию — превратить ее в российскую губернию. Кавказ на пути к этой цели стоял как неодолимый заслон. Пробриться через него генералу не позволил бездарный Николай I. Остановил на скаку! Война затянулась до 1864 года. Однако ермоловская эпоха на Кавказе — одиннадцать лет, с 1816 по 1827 год — заложила фундамент будущего мира.

Генерал был вольнодумцем. В 1798 году целый месяц он просидел в Алексеевском равелине. Якобы участвовал в создании политического кружка. Будто бы там вынашивался заговор против Павла I. Прелюдия к декабристскому движению? Время опалы юный Ермолов употребил на образование. У костромского протоиерея брал уроки латыни. «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря стали его любимым чтением. Библиофил! В 1855 году продал Московскому университету 7800 томов своего уникального собрания. Вся европейская философия там представлена. Книги одевал в роскошные переплеты. Культурнейший был вояка.

Проведем сравнение: Алексей Ермолов, генерал старого пошиба — Виктор Казанцев, генерал нового извода. Первый — человек чести; второй — грязный мафиози. Первый — слуга отечества; второй — данник Мамоны. Ужели деградация необратима?

Для горцев Алексей Ермолов до сих пор является жупелом. Показательна судьба его памятника в Грозном. Поставили в 1881-м — снесли в 1922-м: при Советах. Восстановили в 1949-м по личному указанию Л.П. Берии — отыскиали шаблон головы в запасниках музея. Чеченцы той порой были далече.

В дизайн памятника входили три плиты. Говорят, что на одной была выбита такая надпись: «Народа сего под солнцем нет подлее и коварней. Ермолов о чеченцах». Неужели правда? Или провокационная утка? С трудом верится, что такая глупость могла иметь место.

116

В 1989 году вайнахи демонтировали памятник. До этого его несколько раз пытались взорвать. Впрочем, это лишь одна из версий, отражающих историю монумента. Есть и другие — с иными датами и подробностями. Перед нами своеобразный мифогенез? Он дает вариации. Однако при всех раскладах сохранно естественное неприятие покорителя. Крепость *Бурная!* Крепость *Грозная!* Крепость *Внезапная!* Эти форпосты воздвигал — и давал им яркие названия — Алексей Ермолов. В глазах горцев он был воплощением зла. А вы чего хотите? Низкопоклонства? У горцев самая прямая осанка среди всех племен планеты. Пригнать невозможно. Если переломить — то ведь насмерть.

Алексей Ермолов не хотел ни того, ни другого. В отношении к умиряемым народам генерал обнаруживает характерную амбивалентность. Карал — но и щадил. Преследовал — но и пекся о будущем. Начинается внезапное наступление. Аульчане не всегда имеют возможность вынести из-под огня детей. Генерал приказал — и это неукоснительно: собирать малышню — всемерно оберегать ее — а потом передавать матерям. Чечня — и Россия: конечной целью генерала был их паритет — симбиоз на условиях равноправия. Не те средства использовал?

Опыт европейской войны генералу пришлось позабыть сразу. Ведено — не Бородино: здесь — тесные горы, там — широкое поле. Какие тебе маневры? Цитируем генерала: «Кавказ — это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо или штурмовать ее, или овладеть траншеями». Траншеи суть окопы. Сугубо оборонная фортификация? Два французских маршала — Антуан де Вилль и Себастьян де Вобан — превратили окопы в наступательное средство. Для Алексея Ермолова это было сущей находкой. Траншеи — те же удавки: они стягивались вокруг вольных аулов. Вместо оружия — измор. Вместо кровопролития — голод. Хрен редьки не слаще. Но убитого не воскресить. А изголодавшегося — если бедняга еще не испустил дух — можно поднять на ноги.

В кавказской эпопее Алексея Ермолова имелся неявный позитив. Причем с далекодействующим эффектом! Плоды мы пожинаем сегодня. Ведь кто пришел на Кавказ вместе с Алексеем Ермоловым? Люди 1812 года — противники деспотии. Они нанесли удар по местным ханствам и княжествам. Скажем в марксистском духе: *освободили массы*. Те не преминули воспользоваться упавшей с неба свободой. Порой во вред освободителям?

Конечно, не без этого. Факт остается фактом: Россия — того не желая — умножила дух свободы на Кавказе.

Сегодня мы понимаем: это немалая историческая заслуга. Польза — обоюдная. Это не апология — это парадокс. Импульсы вольнолюбия к нам и сегодня приходят с кавказских гор. Нельзя исключить, что именно Чечня поможет России преодолеть рецидивы сталинизма — лично я возлагаю на это большие надежды. Меня занесло? Получаю поддержку от самого Алексея Ермолова. Вот цитата из его рапорта Александру I от 12 февраля 1819 года: «Государь! Горские народы примером независимости своей в самих подданных вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости». Так было — так есть — так будет.

Алексей Ермолов любил холостяцкую жизнь. Однако на Кавказе принял брачные узы. Правда, это был так называемый кебинный — временный — брак (тмут'а — араб. *القعدة*). В 1819 году храбрый генерал Алексей Ермолов потерял голову, когда в ауле Акуша увидел девушку Тотай, чей томный облик воплотил восточный идеал красоты. Все по чину! Невеста согласна. Родители довольны. Союз оказался не столь уж эфемерным, если его результат — три сына и дочь. У Тотай были соперницы. Она отлично уживалась с ними. Не переходя в ислам, Алексей Ермолов заимствовал некоторые его элементы, приятственные для любвеобильного мужчины. Завоевание сердец: это тоже путь к международному миру.

В 1860 году на одном из московских балов встретились Алексей Ермолов и имам Шамиль. Они уединились — и долго беседовали. Расстались *кунаками*. Через год Шамиль рвался на похороны генерала. Красивая ретроспектива!

5. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ.

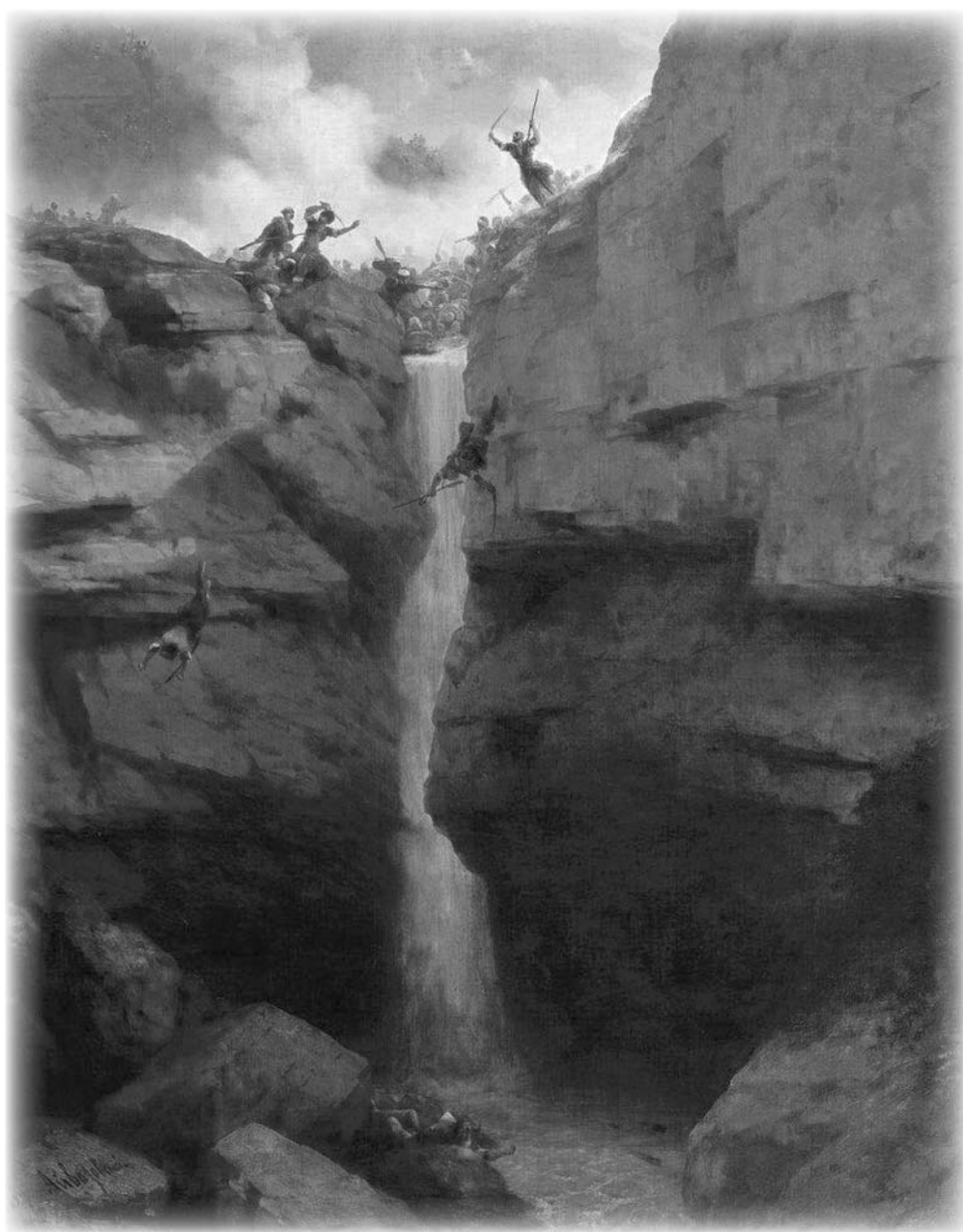
Теоретически имам Шамиль (1797–1871) и св. Серафим Саровский (1754–1833) имели шанс пересечься во времени. Дар соинтуиции не мог изменить им. Они нашли бы общий язык. Первый — *суфий*, второй — *исихаст*. Параллелей между двумя учениями уйма! Целью человека является восхождение к Богу, синергия с ним — образ лестницы одинаково значим в обоих учениях. Вот еще существеннейший инвариант: сердце является более тонким инструментом познания, чем *разум*. Конечно, их надо брать в гармонии. Но приоритет отдается сердцу. Суфизм повлиял на *Кьо-нахаллу*. Завязавшаяся еще в аланскую эпоху, она любовно огранилась веками.

Вдумываясь в категорию *адамалла* — как алмаз поворачиваю: сколько лучистых отсверков! Каждый самоценен. Тут сфокусированы самые светлые интенции человечества: сострадание — сопереживание — бескорыстие — жертвенность — великодушие. И еще сердечность! Это — главное. Это — первенствующее.

Чеченцы — народ *адамаллы*. Какая же боль и досада, что история ожесточила его — довела своей несправедливостью до белого каления. Ведь всему есть мера. Подчеркну: *Кьо-нахалла* сумела и обиду облагородить — чеченцы умеют прощать. *Нагорной проповеди* они вняли чутье иных христиан.

В 1961 году я поступил в Литинститут. Моим сокурсником был Мусбек Кибиев, замечательный чеченский поэт (1937–1996). Господи, прошло всего четыре года с того момента, как народ-изгнанник вернулся на родину. Юность Мусбека прошла на чужбине. Он зацикливался на этом? Сжимал кулаки? Ничего подобного! Мусбек светился добром. Вскоре и другие чеченцы вошли в мою судьбу. Я полюбил их. Они стали в моих глазах воплощением благородства и чести. Быть может, я идеализировал их. По-юношески романтизировал — видел Чечню в ореоле поэзии. Эти ранние ощущения с годами лишь укрепились во мне. Недавние потрясения внесли в них новую мучительную ноту. Столько вопросов к Мусбеку! Теперь их не задашь.

Унизительная депортация 1944 года имела предпосылки в прошлом. Поражающая своим тотальным размахом, она по частям отработывалась с начала XIX века — прецедентов не счесть. Князь Георгий Орбелиани (1880–1883) писал военному министру Дмитрию Милютину (1816–1912): «Во всей Чечне не осталось ни одного аула, ни одного двора, которые



Иван Константинович Айвазовский.
Стычка ширванцев с мюридами на Гунибе. 1869.
(Пропасьт остается?)

по несколько раз не переселялись бы с одного места на другое».

В 1825 году на Кавказе погибли два русских генерала — Дмитрий Лисаневич (1778–1825) и Николай Греков (1785–1825). Трагедия разыгралась в кумыкском селе Аксай — не без участия чеченцев. Хотя и косвенного. Поводом стало этически некорректное поведение русской стороны. Алексей Ермолов констатирует: «Неблагоразумие генерала-лейтенанта Лисаневича привело к ненужной жертве и крупному кровопролитию». Генерал

не стал подслащать горькую правду. Честный был человек. Чем завершились события? *Divide et impera* — разделяй и властвуй! Посчитав, что чеченцы дурно влияют на кумыков, суровый наместник приказал: переселить аксайцев — всех как есть, целокупно — подальше от опасных соседей. С гор их опустили на равнину.

Это наиважнейший алгоритм русской кавказской политики. Или загнать людей ближе к вершинам — отступать оттуда можно разве лишь напрямик в небеса; или выдавить их в речные долины — на плоскость, как тогда говорили. Рельеф становится шкалой, на которую можно откладывать колебания имперских настроений: то вверх — то вниз; то вниз — то вверх. Эти осцилляции вымотали душу чеченского народа. Но ведь и закалили! Витальность только возрастала в вековых испытаниях.

Бритва-разделительница не раз была успешно опробована на Кавказе. Рассекла она и семью Шамиля. Сдача имама в плен — пребывание его в России — внимание к нему императора: тут все достойно — все на высоте. Чтобы русский царь наслаждался демонстрацией вражеских трупов? Нынешней некрофилии тогда не было и в намеке. Кровь лилась — война есть война. Но это не исключало духа благородства в отношении между противниками. Вот горестный казус истории: сыновья Шамиля оказались в разных станах — они могли встать друг против друга в бою.

Гази-Мухаммад (1833–1902), второй сын имама, после смерти отца был отпущен в единственную Турцию. Там он быстро сделал блестящую военную карьеру. Командовал дивизией. Осаждал Баязет. Дослужился до маршальского звания. Умер в Медине. Похоронен в аравийской земле рядом с родителем. Мухаммад-Шефи (1840–1906), четвертый сын Шамиля, уже 8-го апреля 1861 года — не прошло и двух лет после падения Гуниба — стал корнетом лейб-гвардии в Кавказском эскадроне собственного его Величества конвоя. Поручик — штаб-ротмистр — ротмистр — полковник — генерал-майор: погоны Мухаммад-Шефи меняет быстро. Является *выездным*: командировается во Францию, Англию, Германию, Турцию, Италию. Ведь мог стать *невозвращенцем*! Ан нет: прирос к России. Доверие к нему — абсолютное. Командует взводом горцев в царской охране. Была возможность для покушения? Эти дурные мысли — от сегодняшней порчи. Начинается русско-турецкая война. Мухаммад-Шефи рвется в действующую армию. Однако его обращение смущает Александра II. И вовсе не потому, что царь боится измены. Мотив отказа — совсем другой: война для сыновей Шамиля может оказаться *братоубийственной* — царь не хочет этого.

Где нам до этих тонкостей? Огрубели и отупели. Раскол внутри семейства великого имама сегодня воспроизвелся в охвате всей Чечни.

6. ЧЕЧЕНСКАЯ ПУЛЯ ВЕРНА.

Это Александр Блок:

*Там стелется в пляске и плачет,
Пыль вьется и стонет зурна...
Пусть скачет жених — не доскачет!
Чеченская пуля верна.*

Часто ее траектория направляется кровной местью.

10 июня 2011 года она достала Юрия Буданова. Полковник получил ее за удушение чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Это не по-нашему? *Кровная месть* — реликт средневековья? Подхожу к самому трудному — самому неприятному для меня: сравнению разных народов. Ведь сюда так и лезет *оценочный* момент! А это всегда кончается расизмом и фашизмом.

Буду держаться Осипа Мандельштама: «*Не сравнивай: живущий несравним*». Хочу показать ложность сравнений по схеме: лучше — хуже. *Кровная месть*: у нас нет — у них есть; мы в будущем — они в прошлом. Отсталый народ! На мой взгляд, *кровная месть* — явление всеобщее и вездесущее. Этого своего рода константа истории. Там, где возмездие неосуществимо внутри правового поля — там обязательно сработает самосуд. Это социальная

физика: здесь действуют свои законы сохранения — здесь тоже системы стремятся к симметрии. *Око — за око. Зуб — за зуб.* Эквивалентность налицо!

Да, Христос призывал к асимметрии прощения, но разве адские муки не восстанавливают баланс? Когда злодеи уходят от наказания в этой жизни, то возникает миф о другой жизни — уж там-то от кармы скрыться ты не сможешь. *Кровная месть* — это эволюционно ранняя, самая простая и четкая форма справедливости. Потом появились более совершенные институты. Но ведь мы помним про биогенетический закон — про рекапитуляцию: прошлое живет в нас. И порой прорывается, сокрушая барьеры беззакония! Кто не пойдет на кровную месть, когда в прогнившем обществе нет правосудия? Разве лишь ничтожество!

Вспомним Бориса Пастернака:

*А вдали, где как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, грозней,
Чем бывшие набеги ногойцев,
Стлались цепи китайских теней.*

Набег! Это слово пружинит — будто заряжено энергией денотата.

Набег!! Ужас находит на людей — все врассыпную: часто под копыта вражьей конницы.

Набег!!! Ограбят — возьмут в заложники — продадут в рабство.

Неприятие горцев — из-за их набегов. Борьба с горцами — борьба против *набегов* как системы. *Кавказская линия*: она вибрировала будто тугая тетива — стрелы летели в сторону русских казачьих городков.

Откуда само явление *набега*? В чем его причина? Здесь-то и завязывается самая тягостная для нас *антиномия*. Снова сталкиваются — на крутом повороте истории — *тезис* и *антитезис*. *Тезис*: разбой — в крови горцев; это генетически предзаданный признак; его искоренение равнозначно элиминации данной этнической группы. *Антитезис*: разбой социально обусловлен; эволюция в направлении к гражданскому обществу смягчает нравы — цивилизует людей. Есть ли тут подлинная контрверза? Не совмещаются ли противоположности? Набег — это не только социальный, но и *биологический* феномен. *Биологический* прежде всего! Борьба за существование предполагает *захват чужого*. Н.Я. Данилевский говорил о горцах: «*природные хищники*». Да все мы хищники! Культура уводит это качество в рецессив — заглубляет в бессознательном — всячески блокирует. Но надежности здесь нет и быть не может. Прошлое постоянно кажется зубами. Точнее — клыки.

Думается, что прав М.Н. Покровский, когда пишет про обоюдность набегов: горцы накатывают на русских — русские нападают на горцев. Действие уравнивалось противодействием. Фатальной зависимости от врожденных психологических стереотипов нет.

Интересные мысли относительно генезиса кавказских набегов развивал Ростислав Фадеев (1824–1883). Обращение к его книге «*Шестьдесят лет кавказской войны*» будет полезным. Мы прекрасно знаем, что *изоляция* — важнейший фактор биологической эволюции. Замкнутое пространство — отсутствие внешних помех — предоставленность исключительно самим себе: все это помогает проявить потенциал развития, часто остающийся непочатым. Вспомним открытия Чарльза Дарвина, сделанные им на Галапагосах: островная ситуация привела к появлению новых качеств — и морфологических, и поведенческих. Социальную параллель к этому механизму искал Ростислав Фадеев. Вот его гипотеза: *изоляция* горских племен и друг от друга, и от окружающего мира привела к появлению у них некоторых особенностей. Изоляция имеет свою меру — может быть и сильной, и слабой. Исторически обстоятельства сложились так, что именно у чеченцев она достигает максимума.

1222 год. Навстречу монголам выходит объединенное войско вайнахов, половцев, лезгинов, черкесов, аланов. Кого-то подкупили — кого-то рассеяли. А вайнахи — чеченцы и ингуши — ушли в горы.

1396 год. Армия Тамерлана прочесывает Кавказ. Главное сражение *происходит на плоскости* — в долине Сунжи. Верх берут монголы. Равнинное население укрывается в горах. Чем выше, тем *отдельнее*. Чем *труднее* местность, тем вроде как *безопасней* су-

ществование — но одновременно и ведение хозяйства становится все более сложным. Надо выживать. Экстремальные условия для экономики!

Развивая идеи Ростислава Фадеева, современные исследователи говорят: набеги — *компенсаторный механизм*. С этим можно спорить. Но уже то замечательно, что здесь нет апелляции к врожденному, генетическому — проблема выводится в этнопсихологическое измерение. Такой подход если не снимает вовсе, то минимизирует опасность расизма — а это большой плюс.

Пеня горцев набегами, пристальнее посмотрим на себя. Чем подразверстка времен военного коммунизма отличается от набега? А фактически легализованное рейдерство? А грабительские девальвации и деноминации? Иногда создается ощущение, что ты живешь в бандитском социуме — и нет управы против отымщиков. Чечня в девяностые годы XX века — как линза, положенная на всю Россию: укрупнила черты катастрофы — усилила впечатление распада. Все, что было на кавказской окраине — было и в центре. Работотговля? Но и мы сбывали своих детей на Запад. Взятие заложников? Однако мы и сейчас аманаты: нас беззастенчиво закладывают и перепродают — смешно надеяться, что кто-то выкупит и даст свободу. Сами должны прозреть — и сорвать поводки. Сами!

Нервные срывы бывают и у индивидов, и у народов. Особенно после долго пребывания в камере пыток. Что это такое — Чечня знает на собственной шкуре. Ее вязали — и скручивали, распинали — и жгли, травили — и душили. Когда боль выходит за все пределы, то сознание отключается: в эти моменты не действуют ни *Къонахалла* — ни *Десять заповедей* — ни *Моральный кодекс строителя коммунизма*. Если народ хочет свободы, он ее или добивается, или гибнет.

Великодержавная политика — высокомерная, заносчивая политика. Кавказ у тебя в ногах? Это самообман — это ненадолго. Опыт показал: подданический тип политической культуры непродуктивен. Почему не получается нормальное равноправие? Без него не может быть надежного замирения и примирения. Это было не раз: желание поставить народ на колени. Но вот — новое: своеобразная великодержавная сервильность. Когда власть юлит, заискивает — то ли грехи искупает, то ли трусит. Однако такая модель — паллиатив. Вроде как достигнуто единение. В Грозном не только читают мысли Москвы, но и пытаются упредить их воплощение. Сколь ни верна чеченская пуля, но и она может вести себя по-шаловному: прошила Юрия Буданова — угодила в Бориса Немцова. Попадание здесь по сути обернулось промахом.

Пуля остановила свой полет?

Сегодня этого никто не может сказать.

2016, 3 марта

«...и век минувший...» • "...vuosisata mennytkin..."



Валерий Скобло

Valeri Skoblo

«МНЕ СНИТСЯ ПАРИЖ...»

Если человек доживает до старости и у него есть желание и возможность подумать о прожитой жизни, то он, как мне кажется, неизбежно приходит к мысли, что в чем-то главном люди не меняются с детства и до преклонных лет. Некоторых это приводит к выводу о существовании такой неизменной субстанции, как душа... хотя есть и другие варианты. В противоречии (возможно, кажущемся) с этим скажу, что с юношей, написавшем ниженапечатанные стихи, я нахожу мало общего. Я ему сочувствую... пожалуй что и жалею, зная, что выпадет на его долю, но нельзя сказать, что он мне близок. Он — это я без малого полвека назад.

Представленные стихи относятся к периоду 1967–1973 годов. В 1965 году я поступил на матмех Ленинградского университета. Я чуть ли не в первый день обратил внимание на краснощеку девочку (на девушку она, пожалуй, еще не тянула) с короткой гривкой густых темных волос, попавшую в мою группу... через пять лет Таня стала моей женой (она, собственно, и сейчас моя жена). Да надо признаться, и я не то что до мужчины, но и до «молодого человека» тогда не дотягивал — так... юноша. Взрослел я медленно и как-то рывками. В 1970 году я закончил матмех, поступил на работу, женился на Тане и... вряд ли и тогда ощущал себя взрослым. А в 1971-м умер мой отец, и у нас родилась Ольга. Это два таких обстоятельства, которые, знаете ли, сильно способствуют быстрому взрослению.

Стихи начал писать где-то на первом курсе (это был «второй заход», первые относятся к классу пятому-шестому, и о них был бы нужен особый разговор), они мне кажутся очень слабыми, и не по технике только, а и по эмоциональной насыщенности и заемности переживаний. Да — слабыми, но не безнадежными. Как это у Булгакова: «Если бы с ним поговорить» — с этим мальчиком, но вот этого не могло случиться ни при каких обстоятельствах. Может быть, и к счастью. За эти два-три года, отделяющие первые, сравнительно «сносные» стихи из данной подборки, много чего случилось. Первые «взрослые» влюбленности — с их счастьем и мукой, на которых, собственно, растут и взрослеют. И «роман с городом», в котором мы жили и который незаметно, но жестко и властно приложил свою руку к нашему формированию.

И, конечно, политика... социальное взросление... «пражская весна», так драматично завершившаяся в августе... сознание ответственности и вины. Я помню то отчаянье и ярость, которые испытал, услышав сообщение о «братской помощи»: включил «Спидолу», утром трудно было что-нибудь поймать, бесцельно крутил ручку настройки и вдруг через треск помех услышал слабенькое: «Говорит свободная Чехословакия... Русские братья!..», и через минуту вой обрушившейся «глушилки». Что происходило во мне тогда?.. — отошлю вас, пожалуй, к той главе в «Былом и думах», где Герцен вспоминает свои чувства при сообщении о казни декабристов. В те дни я написал стихотворение, хронологически первое из тех, которые я осмелился включить в свой сборник через без малого четверть века и которое (как и все другие «политические» стихи той поры) лежит вне пределов предлагаемой подборки. Это совсем не лирика...

Тогда я писал много стихов, но еще больше читал: не только изданные, но и перепечатанные на машинке, еле читаемые стихи Пастернака из романа (сам роман прочитал много позже), Бродского (долго ходил как пьяный под их впечатлением), Мандельштама (что-то уже начал чувствовать, но сколь-либо полное их осознание пришло годами двумя позже). Тогда я пришел и в свое первое ЛИТО (ни спросить, ни уточнить мне не у кого: все знакомства той поры не сохранились), кажется, оно называлось «Россия», кажется, первые занятия были в Русском музее, потом мы занимались в каком-то домике в Летнем саду, кажется, в Чайном; что точно — руководителями были Володя и Наташа Боеенко, с ними я как-то пересекался и позже. В кружке я восполнил какие-то зияющие пробелы в своем образовании, хотя вкусы у наших руководителей были специфические, «открывали» для себя мы все же поэтов не первого плана: Киплинга, раннего Тихонова; скорее из разговоров и упоминаний набрел на раннего Заболоцкого, «Столбцы» надолго лишили меня покоя. Уровень ЛИТО был не очень высок (что определялось отчасти уровнем его участников), все же его хватило, чтобы преподать мне чувствительные и полезные уроки при разборе моих стихов, уровень которых, повторю, был невысок, как по технике, так и по идеям, точнее, написать новые... Года через два-три я многое исправил и доработал. Через какое-то время в ЛИТО сменили руководителей, пришли какие-то показавшиеся мне странными люди (совсем не помню имен и фамилий), один, обращаясь ко мне, мягко намекал: «Вы понимаете, в нашем кружке мы хотели бы видеть поэтов, пишущих произведения патриотического плана...», — я искренне не понимал, даже мысли не было, на что он намекает... Ходить все же перестал: там стало совсем скучно; только годы спустя узнал, даже кой-какие документы прочитал, что до Ленинграда докатилась волна «разбор» между «Новым миром» и «Октябрем» с «Молодой гвардией».

Еще в школе (там было ЛИТО, но я туда не зашел ни разу, — «Physik, Physik über alles!» («физика прежде всего», как написал мне один одноклассник в выпускной альбом), — мой школьный (и навсегда) приятель Володя Родионов познакомил меня с Витей Кривулиным и Леной Игнатовой (ставшей впоследствии женой Володи). Ранние стихи Кривулина и стихи Лены всех времен, уже в университетский, правда, период, тоже оказали на меня большое влияние. Уже в конце того периода, о котором идет речь, если не ошибаюсь, в году 1972-м Лена порекомендовала мне посетить ЛИТО, которым руководил Александр Семенович Кушнер. Все три вышедшие к тому времени книжки Кушнера имелись в моей библиотечке, а «Приметы» стояли у меня на полке среди самых «заветных»: рядом с томиками Пастернака, Заболоцкого, Тарковского, «самопальными» Мандельштамом, Бродским; возможность увидеть «живого» Кушнера, а тем более заниматься в его литобъединении казалась чем-то необыкновенным. ЛИТО Кушнера собиралось в библиотеке клуба фабрики «Большевичка» на улице Тюшина. Там начался совсем другой период, говоря высокопарно, в моих жизни и творчестве, но это уже совсем другая история, не относящаяся к данной теме.

Я перечитываю стихи из предлагаемой читателю подборки, не испытывая за них ни стыда, ни гордости, как исповедь когда-то мне знакомого и близкого человека, с которым не виделся много десятилетий и с которым случайно встретился. Что сказать? — вся жизнь прошла, а он не изменился: те же надежды и иллюзии. Мы расстаемся... и я смотрю ему вслед с тайной, невозможной, неосуществимой надеждой: вдруг ему повезет чуть больше чем мне. За окном ноябрь, и я повторю его... свои слова: «Небесный кашевар рассыпал манну...»

Валерий Скобло

* * *

Небесный кашевар
 Рассыпал манну,
 Над снегом словно пар
 Недвижный и туманный.
 На сумрачный простор
 Гранитных лестниц
 Угрюмый и простой
 Петровский крестник
 Выходит и молчит,
 Весь заморожен
 Сияньем льдистых плит
 В тенях прохожих.

1967

* * *

Приходит утро. Звезды побелели
 И падают снежинками к ногам,
 И город, словно в белой колыбели,
 Уже проснулся. Предрассветный гам.
 Трамваи сонные, полупустые
 По белым рекам медленно плывут.
 И памятники черные застыли,
 Не разорвав белесых снежных пут.
 И первые прохожие в сугробах
 Барахтаются, падают, скользят.
 И мы с тобой идем метелью оба,
 И надо бы сказать... И говорить нельзя.

1967

* * *

Был ветер. Словно дирижер,
 Он поднял листья на панели.
 Они, послушные, запели
 И составляли странный хор.
 В него вливался звук травы,
 Газонов шорох, парка трепет.
 Казалось, он сейчас окрепнет
 И станет всплеском синевы,
 Рванется вверх, слезу уронит,
 Рыданьем сломит тишину,
 Но ветер стих и только кроны
 Сумел чуть слышно шевельнуть.
 Они допели тихо, скорбно
 О страсти, о слезах, восторгах,
 И истина была не в спорах,
 А в этом шелесте травы.

1968

* * *

День был кончен. Не хватало вечера,
 Чтобы оценить его иллюзии.

Подмерзали лужицы. Безлюдие.
 Тишина. Чуть вкрадчиво, доверчиво,
 Ошавев от холода, просились кошки в комнаты,
 И шарахались от освещенных окон тени.
 А октябрь шептал: «Молю вас. Вспомните.
 Нет? Не можете? Тогда прошу прощения...»
 Падая снег — лениво, со значением,
 И рукою сонного диспетчера
 Схватывалось льдом реки течение...
 Совершенно не хватало вечера.

1968

* * *

Тем временем, пока рассвет застрял
 На подступах к событиям недели,
 Так рано стало, что почти у цели
 Случился происшествий целый ряд.
 Как например: влюбленные уснули.
 Тела их были вписаны в портрет
 Еще несостоявшихся побед.
 Портрет же был повешен среди улиц.
 Затем: обезголосел город. Он затих
 И снегопад затмил собою. Состоялся
 Посев снежинок на асфальте. Было ясно,
 Что всходы будут осенью. В пути
 Был встречен дворник. Он копал лопатой.
 Должно быть, он разыскивал тайник,
 Бог знает, с чем. Он весь к земле приник
 И не подозревал, что клад был спрятан
 На некоем отдалении, за углом:
 В унылом месте, темном и напрасном
 Спала любимая. Она была прекрасна —
 Ее был недостоин старый дом.
 Мосты были пронзительны. Они
 Сомкнули рельсы. Лыдинки шелестели.
 В наличии отсутствовали цели,
 И в этом было некого винить.
 Потом все повторилось наизнанку:
 По крышам пробежало дуновение.
 Вмиг посветлело. И через мгновение
 Все неизбежно подчинилось знаку
 Рассвета. Ничего не перепутав,
 Мелькнул его волшебный посошок —
 Влюбленные проснулись. Снег пошел.
 Поехали машины. Стало утро.

1969

* * *

Такие холодные ночи,
 Что август не в силах помочь,
 И ветер стихает, упрочив
 Недвижную звездную ночь.
 Теперь и объятие даже
 Цены не имеет. Озноб
 По жилам течет. — Ну, прощай же.
 Прощай же — пусть этой ценой.

И судороге расставанья,
И лицам то профиль, то в фас
Цветы не находят названья,
Украдкой взирая на нас.
И ночи, и августа пленник —
Мгновение — я не солгу:
Вернусь поцелуем последним
К началу — пусть вкось, мимо губ.

* * *

И дом, и сад, и платье среди веток,
И память, отказавшая служить,
Со мною. Болен я, и до рассвета
Бессонница у воспаленных глаз кружит.
Все тянет на свиданье. В парк. Навстречу
Шагам твоим. Сцепления причин
Не доискаться. Не спрошу и не отвечу,
Смолчу о том, о чем сентябрь кричит.
Я так давно живу на этом свете,
Что перепутал, растерял, забыл
Смысл существительных, глаголов, междометий,
Предназначение бумаги и чернил.
Я так нехоти здесь, что даже если
Случись со мной и вправду что-нибудь,
Шуршанье листьев заглушит известье.
И пустяки... Ты тоже позабудь.

1969

* * *

Шагну — и мне станет тревожно,
И слабость прихлынет к ногам.
Уйти от тебя невозможно,
Я пробовал — я убегал.
И, как ни скрывал меня вечер
В сплетенье стволов и ветвей,
Меня выносило навстречу
Незапертой двери твоей.

1969

* * *

Но все: и сверкающий лучик,
Застрявший в стекле, и окно,
Пленившее свет, было лучше,
Чем должно им быть. Суждено
Проснуться, быть может, раз в жизни
Чуть раньше других, и рассвет
В сетчатку, в хрусталик разбрызнет
Весь мир в непросохшей росе.
Но даже и это игрушкой
Казалось — забыв про дела,
Улыбкой прижавшись к подушке,
Любимая рядом спала.

1970

ЗИМНЕЕ УТРО

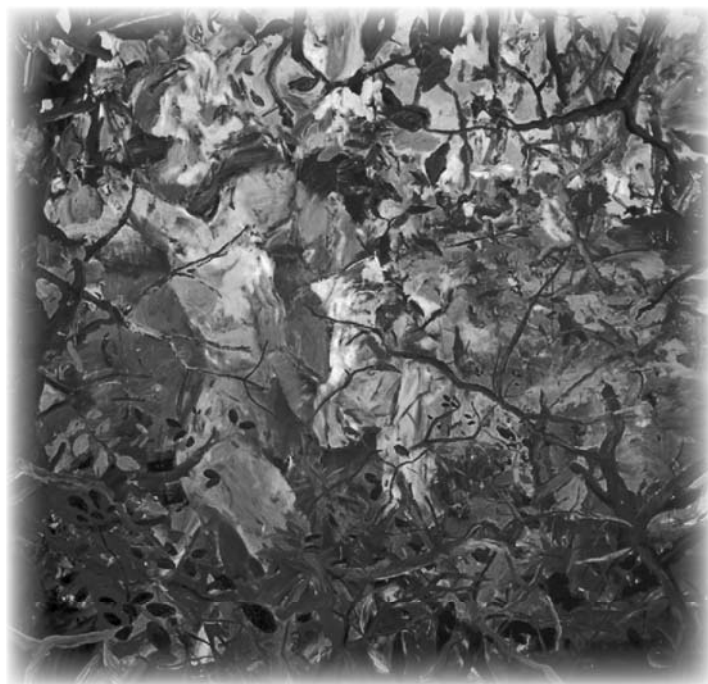
Сон быстротечней, дороже уют,
Страсть мимолетна, и ночь глубока,
По потолку и по небу плывут
Четкие каменные облака.

Полутемно, и упорство в грехе
Стало привычкой, как стыд и безверье,
Утро тревожно, и смерть налегке
Входит в квартиру, таится за дверью...

Кто его знает, куда приведут
Эти тоскливые, долгие ночи?
Даже молитвой накличешь беду,
И для раскаянья нету отсрочек.

Что же, двойник и приятель, ты ждешь? —
Ловишь скольженья и плеск облаков? —
Зеркало об пол и выкинешь нож,
Выйдешь, растаешь и будешь таков...

1971



Сесили Браун.
Дикая жизнь подростков

* * *

В смятении осень встречая,
Он выйдет на старый причал,
Где стаи встревоженных чаек
О чем-то гортанно кричат,

Где пляжа пространство пустынно,
И в сумерках тает залив.
Качаются сосны и стынут,
Поселок от ветра прикрыв.

От холода руки немеют,
Штормит, прибывает вода,
Он сам объяснить не сумеет,
Зачем возвратился сюда.

Он ходит и шепчет невнятно,
Не может припомнить лица,
С сознанием вины непонятной,
В разлуке навек, до конца.

1971

* * *

Ночь задыхается во сне,
Но я в потемках вижу
Звезду колючую в окне
И будущее — ближе.

Рок замер около плеча,
И тьма идет на убыль,
От страсти рифма горяча
И обжигает губы.

И знаю я, что мне пора
Принять, собрав отвагу,
Строку, что с кончика пера
Прольется на бумагу.

Завеса дней в кратчайший миг
Спадает пеленою,
Событий краткий черновик,
Судьбы набросок и двойник
Лежит передо мною.

1971

* * *

Пусть вера, и долготерпенье,
И долг, и труда забытье
Твоею становятся тенью,
Врастают в сознание твое.

Даруется вечность по крохам
В неясных пророчествах снов,
Ты знаешь: и это неплохо,
Пока ты к судьбе не готов.

Пока предстоящее смутно,
И путь твой тебя не увлек,
Белесое смутное утро
Приносит лишь слабый намек,

Намек на удачу и счастье,
И вместе — на горе и страх,
На вечного неба участие
В твоих повседневных делах.

1971

* * *

Эта ночь светла от снега
И тиха была бы, но
Южный ветер бьет с разбега
В запотевшее окно,

Плачет и себя не слышит,
Мучась, бродит по двору.
Мокрый снег летит на крыши
И смерзается к утру.

И с закрытыми глазами
Ты представишь в этот час,
Как невидимая нами
Вечность смотрит мимо нас,

Как оглохшая планета
И безгласная страна
Спят, покуда нету света,
Спят, пока бессмертья нету,
Но надежда им дана.

1972

* * *

Весь вечер и ночь напролет
Он думал о том, как живет,
О том, что любовь мимолетна...
Вливался день завтрашний в окна.
Там ветер крепчал и трудился, пока,
Внезапно сорвав, не унес облака.
Светлее не стало, и сон обнимал
Весь город ночной, за кварталом квартал,

И даже деревьям на плечи легла
Холодная и непроглядная мгла.
Но каждую веткой, листом и стволом
Они устремлялись в ночной небосклон,
Откуда нисходит на землю утрат
Надежда и вера, косой звездопад.

1971

* * *

Что успел ты заметить: прохожих и парк,
Блеск канала и бледные лица.
Желтый лист, над тобой покружившись, пропал,
Но в воде отражение длится.

От озноба, от ветра, от холода плит
Промелькнет ощущение несчастья,
Целый город в затылок упорно глядит,
Расползаясь в тумане на части.

На его островах не гуляют впотьмах,
Только осень горбатые мостики гладит..
Подкатило удушье, и тяжесть в ногах.
Ты плечом прислонился к чугунной ограде.

Полигон

Над зоною воздух густеет,
Читая плакат «Спецрежим»,
Спускают овчарок,
лишь только стемнеет,
И мы на кроватях лежим.

Но в окна и двери, и стены
Свобода и ветер стучат,
Живи, как умеешь,
вскрывай себе вены,
Пей водку и лапай девчат.

Мы скоро уедем отсюда,
Когда повезет, навсегда.
А позже припомним
побег свой, как чудо,
Легко и без краски стыда.

1 января 1972 года

Я в двенадцать проснуться не смог,
Все мне снилась работа, работа..
Словно в ней что-то главное, что-то,
Что важнее всех наших тревог.

Там во сне доставались трудом
Без надежд на успех и удачу
И любовь, и свобода, и дом,
И январское небо в придачу.

И поднявшись назавтра чуть свет,
Было тихо, и все еще спали,
Я взглянул: новый двор, новый снег
В темноте за окном проступали.

1971

1972

* * *

Хлеба и родины мало. Любви —
Мало. И счастья нам мало.
Воздух чужбины губами лови —
Недоставало...

Там, за кордоном, грохочет Париж.
Так ли он весел, беспечен,
Как тебе снилось? Ну, что ты молчишь?
Он бесконечен?

С берега Сены рукою взмахнешь,
Голос в тумане растает.
Это пространства беззвучная дрожь
Нас разделяет.

Ночь над Парижем. Ты снова не спишь,
Видишь мой город все ближе..
Я засыпаю. Мне снится Париж,
Ночь над Парижем.

1972

1973



«С Севера на Восток»-2016 "Pohjoisesta Itään"-2016

Объединение Русскоязычных литераторов Финляндии представляет победителей Третьего международного конкурса переводов финской поэзии «С Севера на Восток»-2015. Мы продолжаем знакомить наших читателей с творчеством нашей современницы, замечательной поэтессы Пяйви Ненонен. На конкурс был выставлен поэтический цикл «Pietari» («Петербург»).



Пяйви Ненонен

Päivi Nenonen

128

Пяйви Ненонен – поэт, прозаик, переводчик русской литературы. Родилась в Финляндии в маленьком городе Китее. В 2000-м году окончила гуманитарный факультет университета города Ювяскюля. Пишет стихи по-фински и прозу на русском и финском языках. Проза печаталась в журналах «Звезда» и «LiteraruS», стихи в журналах «Карелия», «Интер-поэзия», «Северная Аврора». Автор стихотворного сборников «Takatalvi» (2008) и «Maailman sivi» (2015) книги прозы на русском языке «Мелочь, но приятно» (2008), двуязычной книги стихов «Kunttilän räivä День свечи» (2010), написанного в соавторстве с А. Банциковой сборника «Утренние рассказы» (2012). Учредитель издательства «Юолукка». Живет в Финляндии и Санкт-Петербурге.

PIETARI

I.

Jostakin kumman syystä mä en ole yksin täällä
Harmaan taivaan alla ja harmaan kiven päällä.

Pietarin pilvien massa ei ahdista lainkaan mieltä.
Harmaa tuuli ei suista minua harmaalta tieltä.

Kesäisen päivän lasku, sä loistamaan jälleen pistit
Kultaista ruskoa vasten kultaiset tornit ja ristit.

Silti mä sentään yöksi ovet ja ikkunat suljen.
Sinisen kaihtimen lasken sinisen hetken tullen.

II.

Petrogradin puolen keltaiset pihat,
Varhaissyksyn nyt jo viileät yöt,
Villapaidan kovin karheat hihat,
Kansiossa runot, muusani työt.

Tunnelin suu, valo, lämpö ja kaiku.
Metroon yksinäinen kulkuni vie.
Taas on kovin myöhä: riittääkö aika?
Liukuportaat, juna viimeinen lie.

Pitkä tunneli, käy pää vasten rintaa.
Ajatusten kulku sotkuinen on.
Junan vaihto. Sitten nousen taas pintaan.
Väsämyksen tunne voittamaton.

Yölläkin on auki nuhjuinen kauppa.
Siitä aina jotain purtavaa saa.
Niinpä kierrän kotiin taaskin sen kautta,
Ostan mustaa leipää ja makkaraa.

Kotirapussa mä postia kurkkaan.
Laatikko kai tyhjä viikon jo on.
Pulloja on joku jättänyt nurkkaan,
Hissi toimeton ja liikkumaton.

Miksi kynäni taas hiipuu ja vaipuu?
Mitä minä tuolta kaikelta sain?
Miksi iskee taas niin viiltävä kaipuu
Minun tässä tätä kirjoittaessain?

III.

Tämän kaupungin nimi on Kaipaus.
Kyynelkanavan nimi on Moika.
Nämä pihat on houreistaan kaivanut
Orpo pieksetty poika.

Taivaan kaihininen silmä on vettynyt.
Maa on suolaista sohjoa suonaan.
Tämän kaupungin nimi on Pettymys.
Se ei lämmitä luonaan.

Portti reuhottaa, salpa on murtunut.
Minä oikaisen puistikon viertä.
Tämän kaupungin nimi on turtumus.
Enää en jaksa kiertää.

Sumun rippeitä pehmeinä huopina,
Surun rippeitä, kirkasta juomaa.
Tämän kaupungin nimi on juopumus.
Se ei huomistaan huomaa.

Tämän kaupungin nimi... Ei, unohda,
Mitä sanoin, mä vaikka en raakkaa
Yhtään riviä ylitse runosta
Enkä kevennä taakkaa.

Kuljen kaupungin, mieleni, loivia
Minä kujia nyt, kuten aina.
Tämän kaupungin nimi on toivomus.
Se on yksi ja ainut.



По профессии юрист. Лауреат поэтических фестивалей «Сила ветра» (Киев) и «Зеленый Гран-при 2013» (Гродно). Дипломант Золотой Ступени Первого международного конкурса переводов финской поэзии «С Севера на Восток» (2013). Живет в Беларуси.

Максим Шеин

Maksim Shein

*Первое место
(Диплом Золотой ступени)*

ПЕТЕРБУРГ

I.

Чувствовать, будто бы я не одна, непривычно пока мне
В месте, где серое небо на сером покоится камне.

Радуют глаз облаков петербургских гранитные своды,
Путь не испорчен капризами питерской серой погоды.

Словно врасая в закат, поэументами город украшен
Рвущихся к небу крестов и сверкающих
золотом башен.

Все же спешат в моем доме и двери, и окна закрыться:
Синяя штора для сумерек синих закроет границу.

II.

Петроградский двор – по-осеннему желтый,
По ночам сочится холод из арок,
И щекочет руки теплая кофта.
Со стихами папка – музы подарок.

Из тоннеля теплым приветствием – эхо,
Я спешу к метро, со временем споря:
Неужели хватит, чтобы уехать?
Мой последний поезд тронется вскоре.

Нагоняют сны километры, наверно:
Погрузившись в вихри образов, еду.
Я в конце пути вернусь на поверхность,
Но усталость вновь одержит победу.

В магазине – хаос, до боли знакомый.
Голодна, как волк: вот он – то и нужен,
Как фрагмент пути, ведущего к дому:
Колбаса и хлеб – сегодняшний ужин.

Заглянула в ящик почтовый уныло:
Ни следа письма, когда же пришлете?
Но зато в подъезде – груды бутылок,
Неисправен лифт, застывший на взлете.

Карандаш крошащимся тусклым огрызком
Укатился. Хватит портить бумагу.
И грызет тоска. Но слишком уж близко
К пустоте сердечной образы лягут.

III.

Он – Тоска, этот город, обманчиво
Напивавший слезами каналы,
Что по воле упрямого мальчика
Из болот прорастали.

Небеса, как безликое крошево,
На земле – солоней и мокрее.
Он – Фиаско, я странник непрощенный.
Он меня не согреет.

Отмахнувшись калиткой разрушенной,
Ухмыляется окнами в спину.
Называю его Равнодушием,
Но сама не покину.

Из тумана в нем плоды осенние.
И, тоскою чистойшей наполнен,
Опьянение, он – Опьянение,
Что про «завтра» не помнит.

Он... забудь! Не закончу катрена я,
Но ловушку из слов не разрушу,
Птицеобразы стихотворения
Не пуская наружу.

По аллеям брожу, как в тумане, я,
Ускользнуть не пытаюсь из плена.
Он – единственный Город-Желание
Для души во Вселенной.



Алексей Круглов

Aleksey Kruglov

Второе место

(Диплом Серебряной ступени)

ПЕТЕРБУРГ

I.

Кажется, будто бы я не одна, отчего-то
всегда мне
Здесь, в бликах серого неба на сером
истоптанном камне.

Нет, не гнетут меня питерских туч
налитые чертоги,
Серого ветра порыв не собьет с этой
серой дороги.

Летнего дня угасанье наполнит сиянием снова
Золото башен, крестов в ореоле
багрянца златого.

Все же, однако, я на ночь и двери,
и окна закрою,
Синие шторы задерну закатною синей порою.

Родился в Москве, окончил Московский физико-технический институт кандидат физико-математических наук по специальности теоретическая физика (сверхпроводимость). Переводчик и редактор переводов, член Союза писателей России. Награжден премией «Зеркало» за лучший перевод фантастики (2007), премией князей Голицыных за перевод поэзии Филипа Ларкина (2014). Лауреат переводческих конкурсов Британского совета (2005–2015), конкурса переводов поэзии Шинейд Моррисси (2015). Шорт-листер премии Норы Галь за перевод короткой прозы (2015). В переводе А. Круглова опубликовано более тридцати романов (У. Голдинг, П.Г. Вудхауз, У. Берроуз, Д. Керуак, Ф. Дик, Д. Симмонс и др.), его поэтические переводы с 2005 по 2015 год были опубликованы более чем в двадцати сборниках и журналах («Иностранная литература», «Водолей-Publishers», «Новое литературное обозрение», «Дружба народов» и др.). Собственное поэтическое творчество представлено в сборниках «Магическая механика» (2008) и «Мистическая механика» (2010).



II.

Ранний холод в желтых дворах Петроградки,
Шерстяная колкость осенней блузы,
А подмышкой в папке шуршат тетрадки,
Что хранят труды моей верной музыки.

Вниз ступеньки. Светло и тепло в тоннеле.
Одинокое эхо в подземном своде.
На метро успеваю я еле-еле.
Эскалатор, поезд – последний, вроде.

Стук колес унылый, мой путь так долг.
Голова клонится, и в мыслях хаос.
Пересадка, поезд. Ступеньки, холод.
Сил дойти до дому едва осталось.

Даже ночью открыт магазин убогий,
Червячка заморит любой несчастный.
Как всегда, здесь ужин куплю по дороге –
Половинку черного, круг колбасный.

Нету почты в ящике с той недели.
В уголке парадной – бутылок куча.
Мертвый лифт уж год, как чинить хотели.
И опять ступеньки, все круче, круче...

Строки вянут, тускнеют. Перо устало.
Почему я здесь? Не найду ответа.
Отчего так тоски беспощадно жало
В те минуты, когда я пишу все это?

III.

Этот город Тоскою зовется,
В речке Мойке слезами умыты.
Рыл в бреду эти улы-колодцы
Сиротинка забитый.

Смотрит бельмами небо сырыми,
Вместо снега – соленая слякоть.
Здесь всему Безучастие имя –
Не согреться, лишь плакать.

Сбит замок, приоткрыты воротца.
Через садик спрямлю часть дороги.
Онемением город зовется –
Еле двигаю ноги.

Ключев пледисто-мглистых паренье,
Чистой грусти пролитое зелье.
Город этот зовут Опьяненье.
Завтра скрыто в похмелье.

Он зовется... Нет, полно, забудьте.
Только пусть остается все это –
Со строками не вычеркнешь сути,
И не будет просвета.

Пью душой этих улиц дыхание,
Прохожу ими снова и снова.
Он один, его имя – Желанье.
Нет другого такого.





Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Работала преподавателем английского языка и переводчиком с английского и французского языков. Живет в Воронеже.

Вера Соломахина

Vera Solomahina

*Третье место
(Диплом Бронзовой ступени)*

ПЕТЕРБУРГ

I.

Что за причина, не знаю сама, но сейчас не одна я.
Серое небо вокруг, я по серому камню шагаю.

В Питере тучи испортить мое настроенье не могут.
И не сбивает меня серый ветер, я знаю дорогу.

Лето. Закат уходящего дня расцвел
небо снова,
Золотом башни, кресты засияли на фоне
пунцовом.

Но закрываю я на ночь, по-прежнему, окна и двери.
Занавес – синяя штора, я синему часу не верю...

II.

Желтизна дворов стороны Петроградской.
Словно осень, ночь прохладна, мне зябко,
Рукава у кофты – шершавы, не гладки,
Я несу труды своей музыки в папке.

А в тоннеле свет, и ночует там эхо.
Вновь ведет в метро мой путь одинокий.
Мне б успеть на поезд, хотя мне не к спеху...
Эскалатор мчит запоздавших немногих.

Нет тоннелю конца, голова тяжелеет,
И сбиваться нить моих мыслей стала.
Пересадка. Вверх подняться скорее.
И откуда вдруг принесло усталость?

Грязноват магазин, но открыт днем и ночью,
В нем всегда найдется еда любому.
Колбасу и хлеб куплю я там точно,
Заглянув туда по дороге к дому.

Я – в подъезде, почту проверить охота.
Ящик пуст уж неделю, и писем не вижу.
А в углу бутылки оставил кто то,
Лифт притих надолго, совсем бездвижен.

Почему перо споткнулось о слово?
Что же я получаю, какие уроки?
Почему тоска так пронзает снова,
Пока я пишу сейчас эти строки?

III.

Этот город Тоской назвала бы я.
Здесь канал слез с названием Мойка.
Словно в бреднях дворы нашел, лазаю,
Сиротинушка горький.

Неба глаз с бельмом вымок. «Заплевана»
Вся земля – в лужах снежно-соленых.
Имя городу – Разочарованность.
В нем согреться мудрено.

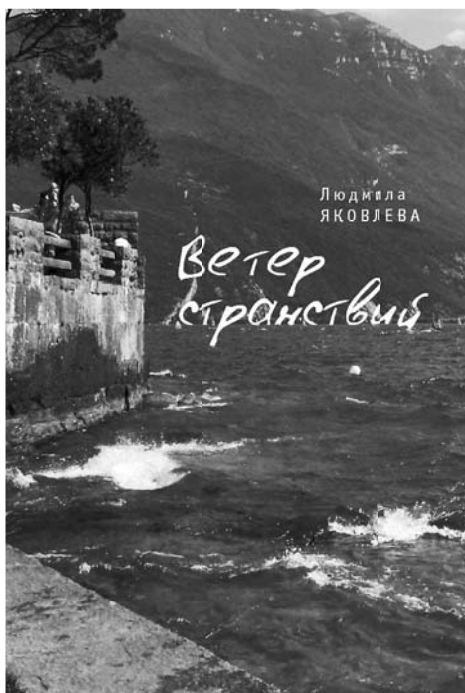
Ветер лязгал задвижкой больших ворот.
Разломал. Я вдоль сада ходила.
Назвала я Бесчувствием город тот, –
Отнял он мои силы.

Завернусь в плед-туман на мгновение,
Как родник, тоска – чище не встретить.
Имя городу дам Опьянение.
«Завтра» он не заметит.

Имя городу этому... Нет, забудь
Все, что я говорю, но не тянет
Меня вычеркнуть строчку какую-нибудь.
Легче бремя не станет.

Этот город – душе ниспослание.
На свиданье спешу к нему снова.
Имя городу сердца – Желание.
Нет такого другого.

Книги наших авторов Meidän jäsenien kirjoja



Людмила Яковлева

Ветер странствий

Алтейя. 2016.

Это вторая (из шести) книга писательницы, в которой она рассказывает о своих путешествиях. Автор не тратит время на описание географического положения тех стран, которые она посещает, не рассказывает о промышленности и населении. Обычно речь идет о событиях и явлениях, которые могут произойти с чрезвычайно любопытной дамой элегантного возраста, которая то опускается в серебряные копи Чехии, то поднимается на вершину действующего вулкана в Италии, то осматривает расположенную в кратере вулкана португальскую деревню. А в некоторых случаях весьма подробно рассказывается о водяных мозолях на ногах или о посещении госпиталя в Израиле, где ей наложили гипс.